

В.Н. Романенко



НОРМА

Санкт-Петербург
2006

ББК-Р₇
Р69

В. Н. Романенко

Р69 Семейные предания. — СПб.: Норма, 2006. — 226 с.,
илл. 16 с.

ISBN 5-87857-108-0

À είεαά δαηηεαϑύαααόηϋ εηοίδηϋ αεϑίε ίαίίαι ίίείεαίεϋ ίαύ÷ίίε δίηηεεήεί ε ηαίυε á τδάαδάαί ερδөίίίύá è ηηεάδάαί ερδөіίίύá áí áú.

Δαηηεαϑύεε — ίεάαδөéé ÷εáί ηαίυε — ηηεδάαόηϋ á ηαίαι εϑεί αεáίεε ίá áείáδá-
δө÷áηεéá δáεδú, á δáεαá ίá áίεοί á ίδáεúίύá ηáεάáδáεúηδáá. ηεáίú ηαίυε, εδ άδó-
ϑύ — δөίε÷ίύá τδááηδááεδáε è ίίáίε εíδáεéεááίδөé, áίϑίεεδáé á ηδδáίá á ηη-
ηεάδááί ερδөіίίύá áí áú. Íáίίδáíá αεϑίε δáδ éáδ áηηήίϑááίáϋ δαηηεαϑύεéé ί ,
ί δááδúáááδ Εáίεíáδáá, ίηεάδ, Εδөсöηé, Íáίϑ, Οεδáεíδ è Οáδεáίδ. Εáíáδίίηδú ηη-
άáηδáί ááίεϋ ίá ίáδááδ τδδáεáίερ ηηίίáίúδ ηίáúδөé è τδίáé áí үίίδө.

ББК-Р₇

© Романенко В. Н. 2006
© Норма 2006

Содержание

Несколько слов, обращенных к читателю	4
Три моих родины	7
Отец	9
Мать	25
Жизнь маминых братьев в 20-е и 30-е годы	40
Жизнь мамы после окончания гимназии и до ее замужества	69
Совместная жизнь родителей в довоенные годы	74
Иркутская командировка отца	95
Военные годы	124
Десять первых послевоенных лет	161
О жизни моих дядей в войну и после нее	196
Последние годы жизни мамы	206
Несколько слов в конце	214
Приложения	219
Памяти Н. Н. Романенко	219
Жизнь, посвященная науке (к столетию со дня рождения Л. Р. Перельмана)	221
Анна Григорьевна Григорьева — в блокаду и после	224

Несколько слов, обращенных к читателю

К старости каждый из нас хочет оставить детям память о виденном, рассказать им о семейных корнях. Поэтому большинство людей, имеющих, кроме желания, и некоторый досуг, стремятся написать воспоминания, прежде всего, о своих родителях и других родственниках старшего поколения.

Прошедшие в России XX века события во многом стерли из памяти потомков историю их родов. Многие представители старшего поколения сознательно недоговаривали или утаивали от своих детей часть информации и о далеких предках, и о здравствующих родственниках, да и о себе самих тоже. Однако главной трагедией времени можно считать утрату традиций, знакомящих молодое поколение с историей их рода. В отличие, скажем, от американских школ, учителя не просили нас и наших детей составлять свое генеалогическое древо и рассказывать о своих родителях. Поэтому те, кто пишут воспоминания, обычно адресуются в будущее, когда более молодые представители семьи достигнут того уровня зрелости, который предполагает активный интерес к своим истокам.

Чтобы вынести свои семейные воспоминания на суд более широкого окружения, надо иметь определенное право на их публикацию. Могут быть разные основания этого права. Интерес может вызвать судьба родителей, их успехи или, наоборот, что так характерно для России, их трагические судьбы. Сюда же можно отнести контакты с людьми, которые внесли значительный вклад в историю, промышленность, науку. Перечень этот можно продолжить.

В данном случае каких-либо особых заслуг у старших членов нашей семьи, людей в общем незаурядных, не было, но типичность их жизненного пути дает представление о переживаниях и судьбах определенного слоя интеллигенции, который был основой культурного общества России в послереволюционный и в послевоенный периоды. Никто из моих близких родственников не был репрессирован; те, кто воевал, вернулись живыми. Тем не менее, жизнь в эпоху репрессий и тяжелой войны не могла не сказаться на быте, привычках и судьбах семьи. Именно некая обыденность, типичность, отсутствие особых потрясений достойны ана-

лиза, так как только они позволяют судить о том, сколь глубоко катаклизмы прошедшей эпохи сказались на судьбах нескольких поколений. Многие, казалось бы, случайные явления, при анализе жизни старших членов семьи в целом повторяются в виде некоего рефрена. Это говорит об их типичности и, возможно, позволяет оценить то влияние на личность, на ее произвольную деформацию, которую вызвали прошедшие бурные годы.

Исходя из этих соображений, я в 2000 году написал небольшую книгу, названную «Воспоминания о родителях». Она предназначалась только для небольшого круга родственников и знакомых. Поэтому и тираж был небольшим — всего 50 экземпляров. Никаких фотографий я в этот текст поместить не смог (у меня тогда просто не было необходимых умений). Мне казалось, что собранные в этой книге материалы должны передавать события так, как они мне запомнились, не претендуя на высокую точность. Я стремился сохранять реалии, соответствующие времени, и одновременно приблизить материал к современным представлениям.

К моему удивлению, книга была с интересом прочитана не только моими друзьями и родственниками и даже активизировала интерес к написанию ими собственных воспоминаний. Появились также некоторые замечания и дополнения к изложенным в ней фактам. Многие, в том числе мои близкие, неоднократно просили меня еще раз ее напечатать. Однако просто переиздавать книгу мне не хотелось. Я считал, что это уже пройденный этап.

За годы, прошедшие после издания книги, я написал и издал научно-популярную книгу, написал вместе с женой много очерков по истории техники. В общем, несколько изменилась ориентация моих интересов. Косвенно я коснулся семейной темы в сборнике очерков, вышедших в свет в 2001 году. Следующей моей работой, близкой к ней по характеру, стала помощь жене по изданию военных дневников и повести ее отца — моего тестя Никитина Василия Ивановича.

В прошлом году я опубликовал стихи, написанные моей матерью главным образом в 20-х годах прошлого столетия, и несколько страничек дневниковых блокадных записей моего отца. Эта книга, так же как и военные дневники моего тестя, были снабжены фотографиями. Посланная в городскую библиотеку города Белая Церковь на Киевщине, откуда родом моя мать, книга стихов (неожиданно для меня) получила доброжелательный отклик, и ко мне обратились с просьбой выслать еще несколько экземпляров этого издания. Я увидел, что эта, в общем, частная тема вызывает определенный интерес.

Когда я писал о моей маме, я затрагивал и судьбу ее братьев, моих дядей. Жизнь их достаточно интересна и во многом поучительна. Мои родные, в особенности моя дочь, много раз просили меня написать о дя-

дах. Это было очень трудно сделать — были некие сдерживающие причины. Теперь большинство причин отпало, но, как выяснилось, реальных сведений о их жизни очень мало, а самое главное о братьях матери я рассказал в книге воспоминаний о родителях. Получалось, что надо просто расширять и дополнять эту книгу.

Приступаю к этому с определенным опасением. Жизненный опыт, особенно опыт знакомства с научной литературой, говорит о том, что дополнения даже хороших книг часто приводит к печальным результатам: материал только ухудшается в результате всяческих переработок. Тем не менее, все же считаю себя обязанным выполнить эту работу, отдать долг памяти моим дядям, кое-что дополнительное рассказать о моих родителях.

Многочисленные семейные обсуждения напечатанных воспоминаний показали, что нельзя писать их без учета среды, в которой выросли мои предки. Многие теперь можно проверить и узнать, не отходя от компьютера — в Интернете.

В прошедшие годы мы с женой успели написать и издать первое пособие по поиску документальной информации в Интернете. Навыки, приобретенные нами при написании этого пособия, ныне выходящего в свет вторым изданием, я использовал при поиске дополнительной информации о родителях в «скрытом Вэбе». Так я вольно перевожу сочетание *Deep Web*, аналога которому в русском языке нет. За это утверждение я ручаюсь. Основная же информация, используемая мною, — это собственные наблюдения и рассказы. Жизнь сложилась так, что возможностей для длительных разговоров с отцом у меня не было, многое из того, что он рассказывал, известно мне от матери. В конце жизни мать кое-что чисто по-женски рассказывала и моей жене. Эти сведения я привожу здесь как ее непосредственные рассказы.

После необходимости, с моей точки зрения, преамбулы я отдаю весь материал на суд читателя.

Три моих родины

Я родился в Петербурге или, лучше сказать, в Ленинграде. Здесь я прожил всю свою жизнь, за исключением трех военных лет. Я искренне люблю и этот город, и его людей. Люблю скромную природу Северо-запада России. Это действительно моя малая родина. Но, кроме малой родины, есть и Родина большая. Раньше это был СССР. Мы его отождествляли с Россией.

Человек чаще всего идентифицирует себя со своим окружением. Если его не принимают в ту среду, с которой он себя связывает, то происходит определенное отторжение. Тайное или явное, существенное или не очень — это уже вопрос второго плана. Конечно, я вырос в России и по воспитанию, знаниям, привычкам и языку всегда считал себя русским. Вопросов бы тут не было, если бы их не выдвигало окружение.

Сначала это было связано с тем, что мама была еврейкой. Очень сильно я этого не чувствовал, но не раз мне об этом напоминали, придерживали меня по работе и т.п. Даже самые лучшие знакомые всегда спрашивают меня, почему я не уехал на историческую родину. Вот и появилась у меня вторая родина. (Никогда всерьез я туда не собирался, хотя все возможности для этого были и есть.) Возникла тонкая стеночка. Эти обстоятельства всем хорошо известны. Сейчас не советские времена, и об этом часто откровенно пишут. Но я не стал бы об этом писать, если бы не другое.

По паспорту, по отцу, я украинец. Украина стала независимой, и стало очевидно, что моя шутка о том, что я в России дважды нежелательный иностранец, имеет под собой основания. Нет, никто не говорит мне об этом, но шуточки и намеки бывают. Один раз меня на этом основании даже «попридержали». Так сказать, есть у меня теперь еще третья, этническая родина. Тем, кто хочет понять истоки этих отторжений в нашем обществе, я советую почитать Александра Янова. Он это достаточно хорошо обосновывает, и не мне его пересказывать.

Я отнюдь не собираюсь «бежать», да и кому мы там нужны без серьезного знания языка. Обстоятельства могут сделать человека апатридом, но далее все зависит от него. Чувства тут сложные, и надо иметь достаточно мудрости, чтобы все понять. Подобную мудрость, чутье породили во мне события «оранжевой революции» на Украине и отношение к ним в России. Мне кажется, что теперь я стал лучше понимать внутренний мир моих родителей, те их чувства, которые они не выплескивали наружу. Что-то мне было известно о них, а об остальном они бы мне сказали, если бы спросил. К сожалению, своего опыта у меня тогда было маловато. Теперь же только остается догадываться и основываться на косвенных фактах. Надеюсь, что в мо-

их осторожных оценках скрытых чувств моих родителей я не допущу больших ошибок.

Родители мои родились и воспитывались на Украине. В гимназии матери и в училище, где учился отец, преподавание велось на русском языке. В этом смысле они были людьми русской культуры. На каком языке говорили в их семьях, я не знаю. Но оба они свободно владели украинским языком. Мать, к тому же, знала и идиш, и польский, а может быть, немного и иврит. На этих языках говорило их окружение. В то же время украинский язык для преподавания и книгопечатания был в царской России запрещен. Этой же участи подверглись фактически и языки прибалтийских народов. На их территории в дореволюционной России официальным языком был немецкий. В то же время многие другие языки в царской России использовались и в преподавании, и в книгопечатании.

В СССР довольно скоро говорить на территории России на украинском языке даже в домашней обстановке стало небезопасно — могли обвинить в буржуазном национализме. Конечно, не это было главным, но дома у нас всегда говорили только по-русски. В то же время шуточки, поговорки, разные истории часто были украинскими. Я так же помню, как где-то в 70-е годы мама на Кировском рынке в Ленинграде услышала украинскую вымову (произношение) торговли и сразу же спросила «Звідкіля Ви будете?» При этом видно было, что она получает удовольствие от украинской речи.

Могу с уверенностью сказать, что любовь к Украине родители воспитали во мне как-то незаметно. Отец, кстати, всегда подчеркивал, что мы с ним козаки (через о), а не казаки (русские казаки пишутся через а). Моя нянечка, о ней я расскажу дальше, говорила со мной по-русски, но всегда любила слушать украинские песни, часто использовала украинские слова в своей речи. И папа, и она происходили из крестьянских семей, жалели крестьян, не могли в душе смириться с событиями на Украине в начале 30-х годов. Нянечка просто была убеждена, что какой-либо украинец убьет Хрущева или кого-либо еще из высокого начальства.

Родители избегали своих родных мест и никогда на моей памяти не ездили на Украину. В тех случаях, когда я по делам бывал в Киеве, мама не просила заехать на ее родину в Белую Церковь, хотя это совсем близко от Киева. В общем, что-то потаенное и печальное было во всем этом. В те годы, когда мы были вместе, я над этими проблемами не задумывался и особенно ни о чем не расспрашивал. Сейчас вспоминаю некоторые мелочи, сопоставляю с тем, что накопилось у меня внутри, и могу только догадываться, о чем могли думать, что могли чувствовать мои родители и мамы братья. Мои догадки строятся на вольных предположениях. Всегда ли они верны, я не знаю.

Во всяком случае, некоторый дискомфорт, не только в связи с анти-семитизмом, но и с другими проявлениями шовинизма, мои родители несомненно испытывали и что-то не до конца мне ясное таили в своей душе. Далее я не буду возвращаться к этому вопросу, но читателям все же советую помнить об этих обстоятельствах.

Перехожу к своим воспоминаниям.

Отец

Дед мой Николай Прокофьевич Романенко родился в 1864 году (по другим сведениям в 1866 году) на станции Круты в Черниговской губернии. Затем он проживал в селении или, может быть, на станции, Бахмач Конотопского уезда Черниговской губернии. Места эти лежат на дороге, связывающей Москву с Киевом. Сейчас здесь идут поезда и машины, а в былые времена здесь проходили войска, разгорались кровавые битвы. Много костей скрывают насыпи железной дороги.

Бахмач — это старинное украинское село. В одном из томов «История Украины» Грушевского приводится опись, сделанная людьми царя Алексея Михайловича после Переяславской рады 1654 года. Опись производилась с целью выяснить, сколько же сел и людей попало «под руку» московского царя. В этой описи говорится о том, что Бахмач — это большое село, окруженное рубленной деревянной оградой, но без башен. На грани XIX-XX веков Бахмач оказался в зоне активного железнодорожного строительства. Вблизи села были проложены две железнодорожные линии. Одна из Москвы через Конотоп к Нежину, а затем до Киева. Другая дорога идет от Белоруссии. В месте пересечения дорог возник железнодорожный узел с несколькими станциями и поселок. В старые годы поселок этот был несколько удален от одноименного села. В нынешние времена Бахмач просто считается пристанционным поселком.

Село Круты расположено в нескольких десятках километров от Бахмача в сторону Нежина. Вблизи этого села в 1918 году на пути наступавших из России большевистских войск был выставлен отряд из 300 почти необученных курсантов, студентов и гимназистов. Большинство из них погибло. Часть погибших была захоронена в Киеве. В 2002 году в память 84-й годовщины их гибели на Киевском кладбище воздвигли памятный крест.

Нынешняя Черниговская область меньше по своим размерам, чем дореволюционная Черниговская губерния. Тем не менее, и Бахмач, и Круты остаются в ее составе. Область и сейчас остается сельскохозяйственным регионом. Она характеризуется постоянным оттоком населения. По современным сведениям в области проживает только

6% русского населения и немного белорусов. Типичные гоголевские места! Недаром рядом находится Нежин, где в гимназии Гоголь получал свое образование.

Во времена моего деда сельское хозяйство естественно было основным занятием местного населения. Его отток, подогретый строительством новых путей сообщения, начался уже тогда. Что толкнуло деда на отъезд, уехал ли он один, или с ним был кто-нибудь из родительской семьи, сохранились ли у него связи с этими местами — все это покрыто мраком времени. Отец никогда на эти темы не говорил. Сами же сведения о месте рождения отца я черпаю из его анкет, которые в сталинские времена требовали подробных ответов на кучу вопросов о живых и скончавшихся родственниках. Соответствующие кадровые органы следили за тем, чтобы в этих пространственных анкетах, заполненных в разное время, не было внутренних противоречий. Больше их ничего не волновало. И вот теперь эти анкеты принесли мне большую пользу. Они сохранились в личном деле отца, которое по неизвестным мне причинам было отдано маме и мне почти сразу же вслед за его смертью. Данные из отцовских анкет дополняются сведениями, найденными мною в его послужном списке. Многие сведения о семье матери я тоже получил из отцовских документов.

Итак, мой дед перебрался в Херсон, где и жил до самой смерти. Переезд был совершен уже взрослым человеком. Бабушка моя — Софья Михайловна, а возможно и Петровна, уроженка Херсона. Она умерла рано: в 1898 году. Поэтому отец ничего никогда не говорил ни об ее девичьей фамилии, ни о родственниках, ни о дате ее рождения. Судя по всему, он ничего об этом и не знал.

В семье деда было трое детей. Старшей была сестра Мария, родившаяся в 1892 году. Про нее известно только то, что в 1911 году она вышла замуж и переехала с мужем в село Снегиревку, недалеко от Херсона. Вероятно, это нынешний поселок Снегиревка Херсонской области. Если это так, то теперь это большой населенный пункт, через который проходит крупный нефтепровод. Ни адрес сестры отца — моей тети, ни ее дальнейшая судьба мне неизвестны. После смерти отца мать думала о возможных поисках тети. Но уже тогда это было нереально. Определить по церковным книгам новую фамилию, а затем отыскать адрес в местах, где прошли гражданская и Отечественная войны, скорее всего, невозможно.

Отец в том же 1911 году, как будет видно из дальнейшего, навсегда покинул Херсон. Соответственно, в своих анкетах он пишет, что с тех пор никаких данных о сестре не имел. Так ли это было на самом деле, я не знаю. В предвоенные и послевоенные годы люди о многом умалчивали.

Херсонские земли расположены недалеко от Екатеринославщины, где воевал Махно. Быть может, зная о чем-то, отец сознательно обхо-

дил этот вопрос. Во всяком случае, когда в 1918 году дед, а может быть, и его вторая жена, умерли от сыпного тифа, кто-то отцу об этом сообщил, несмотря на бушевавшую войну. Смог ли отец посетить могилу деда, я не знаю. Что стало с оставшимся безхозным домом и другим имуществом деда я не имею ни малейшего представления.

Отец мой — Николай Николаевич — был вторым ребенком в семье. Официальной датой его рождения считается 1894 год. Однако мать всегда утверждала, и отец этого не отрицал, что он родился в 1895 году. Скорее всего, лишний год был добавлен для того, чтобы поступить в военно-фельдшерскую школу г. Херсона в 1907 году. День рождения отца всегда отмечался 13 декабря: практически на «Никола зимнего». В то же время в анкетах отец обычно указывает апрель и даже двадцатые числа этого месяца. День рождения моей матери 26 апреля. Почему они, будучи очень дружными, не справляли дни рождения совместно, если оба дня приходились на апрель, непонятно. Поскольку коллизии неверных дат, измененных фамилий и другие подобные факты весьма характерны для того поколения и четко прослеживаются в семье, обсуждать более точно дату рождения отца не стоит. Тем более, что ничего, кроме общих догадок, сейчас уже установить нельзя.

Третьим ребенком в семье был брат отца Семен Николаевич, который родился в 1896 году. Он был убит в 1915 году. Почему-то в памяти сидит, что он погиб в Августовских лесах (Августово — это нкселенный пункт, где в 1915 году шли тяжелые бои — *В.Р.*) хотя никаких подтверждений этому нет. Фронт было много, и на каждом из них убивали.

Дед жил на окраине Херсона, на Овражной улице 4 и занимался крестьянским трудом, «хлебопашеством», как писал на старинный лад в своих документах мой отец. Дед имел дом, лошадей и арендовал землю от городской земельной управы. По рассказам моей матери дед имел бахчу. Во всяком случае, вероятно, поэтому отец всегда замечательно выбирал арбузы. Когда я ознакомился со сведениями об адресе деда и поместил их в книгу, я полагал, что город за 100 лет город изрядно разросся и улицы, на которой стоял дом деда, уже нет. Сев за правку этой книги, я решил с помощью Интернета попытаться узнать, как называется ныне Овражная улица, где был дом деда. Особых надежд на успех у меня не было. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что в списке херсонских улиц Овражная числится до сих пор. На современной карте города видно, что она спускается к реке, то есть и поныне находится в окраинной зоне города. Снимки участков и домов на этой улице, имеющиеся в Сети, говорят о том, что на Овражной улице до сих пор много одно- и двухэтажных домов с большими садами и участками земли, примыкающими к жилым

строениям. Участка, где бы мог находиться дом деда, я в Сети не нашел. Скорее всего, там теперь что-то другое, возможно, похожее. О деде, надо думать, теперь никто и не помнит. Конечно, было бы интересно взглянуть на все своими глазами. Однако, боюсь, не судьба. Мало сроку осталось мне на земле, а посетить надо бы много мест.

Про деда говорилось, что он имел вспыльчивый, «хохлацкий» характер, который по наследству передается в нашей семье по мужской линии. Известен рассказ отца о том, как дед насаживал колесо на ось телеги. Работа не ладилась, и он был страшно взведен. Отец, тогда еще маленький мальчик, подошел к нему со словами: «Папа, ты надеваешь колесо не на ту ось». Очевидно, второпях дед одевал переднее колесо на заднюю ось. Дед, увидев это, страшно обозлился, схватил топор и разрубил на части телегу. Все эти семейные предания сглажены и упрощены, но ничего другого я не знаю.

После смерти бабушки дед привел в дом мачеху. Как складывались у нее отношения с другими детьми, я не имею ни малейшего представления. Отец же мой с ней не поладил. Мачеха была богомольной. Отец пошел на гумно и наловил воробьев. При входе в комнату воробьи выпорхнули из-под рубашки отца и нанесли урон иконам. За это отец был крепко выдран. Было ли это случайно, или он нарочно все подстроил, остается только догадываться. То, что отец был отчаянный озорник и решительный человек, известно. Мама моя рассказывала в качестве апокрифического предания, что в детстве отец, поспорив с приятелями, лег между рельсами, чтобы над ним проехал поезд. При проходе паровоза на спину отцу упал уголек, и он вынужден был терпеть, пока весь поезд не прошел над ним. Это рассказывалось мне в детстве в качестве поучительной истории. Какова в этой истории доля правды, я не могу оценить.

Дед, судя по всему, позволял своим детям учиться. Отец же всегда имел тягу к образованию. В ранние годы он окончил в Херсоне городское училище. Надо думать, что оно было неплохим. Здесь самое место вспомнить про окружение, в котором жил в детстве отец, то есть рассказать немного о самом городе.

Места, где расположен город, обитаемы со времен II—III тысячелетия до нашей эры. Но сам Херсон город относительно молодой. Он расположен на правом берегу Днепра, чуть выше начала Днепровского лимана. Во времена русско-турецких войн в 1737 году на этом месте появилось первое укрепленное поселение. Оно называлось Александер-шанц. Заложил его Румянцев, отец знаменитого екатерининского полководца Румянцева-Задунайского. В ходе военных действий поселение было разрушено.

Всерьез освоение южной Таврии началось после окончания русско-турецкой войны 1768-1774 годов. В результате Кучук-Карнаджийского мира возник так называемый «греческий проект». В соот-

ветствии с ним было решено построить город вблизи устья Днепра. Указ о строительстве города датируют 18 июня 1778 года. Городу дали имя старинного Херсонеса, развалины которого и сейчас можно увидеть вблизи Севастополя. В строительстве города видную роль сыграли многие выдающиеся деятели России. Это, прежде всего, князь Потемкин Таврический и один из Ганнибалов. Потемкин и был похоронен в этом городе. Посещала город и Екатерина II.

Административное устройство причерноморских земель сложилось не сразу. Соответственно и роль Херсона в качестве административного центра в начальные годы его существования часто менялась. В конце концов с 1803 года Херсон стал губернским городом и оставался в этом качестве до 1920 года. Крепость в городе была официально упразднена в 1835 году. Херсонская губерния была богатая. В ее состав входила на особых правах и Одесса, имевшая свой университет. Вспомним известную шутку Леонида Утесова: «Губерния Одесская, а губернатор живет в Херсоне».

К началу XX века в Херсоне было несколько гимназий и разных училищ. Было в городе и несколько библиотек. К 1900 году в городе было 72451 жителей. Многие из них занимались, как и мой дед, крестьянским трудом. Из 43585 десятин (примерно столько же и гектаров) городской земли пашни занимали 29072 десятины, сады 362 десятины. Так что крестьянский образ жизни моего деда хорошо вписывался в окружение. Город был славен и как порт. Казалось бы, эти цифры говорят за то, что Херсон того времени был просто большим крестьянским поселением, наделенным административными функциями. Однако это не так. В городе было много памятников культуры, и сама культурная жизнь была очень активной.

Не надо забывать, что до революции в России было не очень много серьезных учебных заведений. Считается, что в стране было 4 духовных училища и всего около 200 гимназий. Говоря о числе университетов в дореволюционной России, обычно называют цифру 8. Однако это не совсем точно. В 1909 году был открыт новый Саратовский университет. Он по счету был уже десятым. Но это все равно немного. В Херсонской губернии были и университет, и несколько гимназий. Согласитесь, это немало.

Вблизи Херсона находится известный природный заповедник Аскания Нова. Государственным он стал после революции, а в предыдущие десятилетия был частным. Можно полагать, что какое-то влияние на общую культурную обстановку в городе этот заповедник мог оказывать. Я пишу об этом, так как в моей детской библиотеке на русском и немецком языках имелась посвященная заповеднику книга. Она называлась «Остров в степи». Допускаю, что появление у нас этой книги было какой-то реакцией отца на его детские воспоминания.

Летом 2004 года я прочитал книгу французского писателя и историка Ренэ Герра «Они унесли с собой Россию». Книга посвящена российским писателям и художникам, оказавшимся после событий гражданской войны за рубежом. В книге есть много интересных, ранее бывших неизвестными мне фактов. Из нее я узнал, что в 10-х годах XX века Херсон был центром художественной жизни. В частности, в этом городе начинали свою деятельность Меерхольд и брата Бурлюки. Я пишу об этом, для того чтобы подчеркнуть — город, в котором рос отец, жил в то время напряженной культурной жизнью. Это не могло не сказаться на характере отца и его привычках. В общем, культурное окружение, в котором рос отец, было отлично от того, которое можно себе представить, основываясь на формальных данных его биографии.

Отец окончил городское училище в 1907 году. Казалось бы, это образование не могло дать многого, хотя в губернском городе училище вряд ли было плохим. Во всяком случае, отец был абсолютно грамотен, прекрасно писал деловые, а впоследствии и научные бумаги. Только у него я встречал в повседневной жизни старинный деловой стиль написания бумаг и старинную деловую терминологию, которой отец владел в совершенстве. В том же 1907 году отец навсегда покинул родительский дом, поступив в Херсонскую военно-фельдшерскую школу. То, что в Херсоне имелось земское фельдшерское училище с трехлетним сроком обучения, можно прочитать в любом справочнике. Следов же особой военно-фельдшерской школы в Херсоне мне найти не удалось.

Отец окончил эту школу в 1911 году. Все обучение в ней велось на русском языке. Однако, я это уже отмечал, отец мой, так же как и моя мать, свободно владел украинским языком. Тем не менее, в нашей семье по-украински не говорили, о чем я жалею. Трудно сейчас представить, но это, начиная со времени Александра II (соответствующий декрет Валуева был подписан в Эмсе в 1876 г.), было небезопасно. Отец часто в шутку использовал украинские выражения. Так, играя со мной в шахматы, которые он очень любил, и попадая в трудное положение, он нередко говорил: «скрутне становище» (тяжелое положение). Он любил украинские шутки. С его слов я с первых послевоенных лет помню знаменитый кусок из Энеиды Котляревского: «Энеус, ностер, магнус панус». Знал он немного и латынь, как всякий медик. Во взрослом возрасте, практически самостоятельно, он освоил три основных европейских языка: немецкий, английский и французский, и мог свободно читать научную литературу на них. Проверая мое знание английского, он давал мне читать статьи по гриппу и сам свободно переводил их.

В старых наших книгах я нашел его самоучитель, рассчитанный сразу на освоение нескольких языков. Отец никогда не говорил о том, что может общаться на этих языках. Речь шла только о научном переводе.

Наверное, так оно и было. В то же время мать несколько раз рассказывала мне историю о том, как, еще в довоенные годы к отцу неожиданно приехал известный американский ученый, и они встречались в ресторане при гостинице «Астория». В этом рассказе упор делался на то, что отец не смог найти запонки и мучился с засученными рукавами рубашки, брал карманные золотые часы моего второго, покойного уже тогда, деда, чтобы произвести впечатление. Известно было, что американец восхищался экспериментальной техникой отца: внутривенными вливаниями в хвост мыши, которые отец умудрялся делать простой, а не платиновой, как за рубежом, иглой. Я обращаю внимание на то, что как-то они сумели объясниться. Переводчик при этом навряд ли присутствовал.

В военно-фельдшерской школе отец отличался любознательностью и озорством. Взрослым он был высокого — 178 см — роста. В детстве же был невысок. (У меня все было наоборот.) Будучи 113-м «по ранжиру», он позволял товарищам запирать себя в прикроватный шкафчик, откуда кричал «Ку-ку», изводя дежурного. В 1911 он грубо нарушил дисциплину, забравшись ночью на крышу, чтобы наблюдать комету Галлея. Эта любознательность в нем сохранилась навсегда. Как он наблюдал солнечное затмение летом 1936 года, я не помню. Но я хорошо помню, что мы вместе с ним на углу Садовой и Невского стояли и наблюдали солнечное затмение конца 40-х годов.

После смерти отца в 1954 году в одном из номеров «Журнала микробиологии, эпидемиологии и иммунологии» (ЖМЭИ) за 1955 год был напечатан некролог. Его неожиданно прочитал один из папиных соучеников по училищу. Он был военным врачом. Семья его погибла в войну от «холеринки», как он по-старинному называл дизентерию. После демобилизации этот товарищ отца остался без семьи, жилья и работы. Вероятно, были у него проблемы и с пенсией. Он ехал искать какую-то правду в Москве. Все его имущество помещалось в полевой сумке. Невысокого роста, очень чистый и аккуратный, с такой же отличной военной выправкой, как и отец, он нашел нашу семью. Некоторое время он жил у нас, что-то по мелочам рассказывая и об отце. Потом он уехал в Москву искать свою судьбу. Мать отдала ему военную полевую сумку отца, с которой я ранее ходил на занятия. Как многие люди, всю жизнь прошедшие в армии, этот человек был абсолютно не приспособлен к обычной штатской жизни. Вероятнее всего, он погиб где-нибудь вскоре, одинокий и никому не нужный. С такими людьми после войны я сталкивался не один раз.

Как «отличающийся дерзким поведением» отец был направлен в 1911 году в Ташкент. По рассказам матери у меня даже создалось впечатление, что в Ташкенте он доучивался в училище для нарушителей

дисциплины. Однако никаких следов этого в бумагах отца я не обнаружил. Отец работал в Ташкентском окружном военном госпитале в должности фельдшера до октября 1912 года.

В 70-80-е годы я часто бывал в Ташкенте. В одну из таких поездок в страшную июльскую жару я выделил свободный день, чтобы разыскать те места, где служил отец. Меня подталкивало к этому то, что Ташкент пострадал только от землетрясения. Никаких военных катаклизмов город не испытывал. Я полагал, что и документы, и многие памятники культуры дореволюционного периода там хорошо сохранились. Ташкентцы показывают, например, дом отца Керенского. Во дворце губернатора — великого князя — мне довелось быть несколько раз. Бывал я там и в разных музеях. Следы отца я искал неправильно: спрашивал военно-фельдшерскую школу. Во время этих поисков я побывал в дирекции исторического музея, в военно-медицинском архиве, который частично помещался в госпитале для афганцев. В конце концов я выяснил, где помещались все военно-медицинские заведения до революции. В их числе был и госпиталь, где служил отец. Этот старинный госпиталь так и остался госпиталем. Он расположен недалеко от вокзала, окружен разросшимися деревьями, рядом с ним находятся православные церковь и кладбище. Район мало изменился с дореволюционных времен, и землетрясение его практически не затронуло.

Военные медики до революции носили особую форму. Отец был фельдшером (лекарским помощником — лекпомом) и «чина», то есть офицерского звания, не имел. Он был вольноопределяющимся или, как он на старинный лад писал в анкетах, «кандидатом на классный чин». Коллизии, связанные с этим полуофицерским званием, описал Катаев в одной из своих поздних автобиографических повестей.

Из историй, связанных со званием вольноопределяющегося, мне, в передаче мамы, запомнилась одна. Было ли это до 1912 года или позже, когда отец снова служил в Ташкенте, не знаю. Суть истории такова. Отец с девушкой пошел гулять в городской сад, надев белые перчатки. Белые же перчатки к форме разрешалось носить только офицерам. Обычно на такую вольность «кандидатов на классный чин» не обращали внимания. В этот же день какой-то ревностный офицер остановил отца и в присутствии девушки в грубой форме заставил его снять перчатки. После этого они неожиданно встретились с отцом в полутемной аллее. Отец дал офицеру пощечину перчатками. Офицер по правилам чести должен был немедленно убить отца, но он был без шашки. Конечно, подай офицер в суд, отца бы не пощадили, но разжаловали бы и офицера. Именно на это и рассчитывал отец. История эта осталась без последствий. Я часто сравниваю ее с историей, произошедшей с моим двоюродным братом по материнской линии — Юрой.

Юра учился в Военно-морской медицинской академии, располагавшейся в Ленинграде вблизи Витебского вокзала. Это бывшая Обуховская больница, в 16 номере которой, согласно каноническому тексту «Пиковой дамы» сидел сошедший с ума Герман. В последующие годы эта академия — «Мормедак» — слилась с основной Военно-медицинской академией. В 1945 году после военных испытаний и последующей эвакуации академия вернулась в Ленинград. Брат был в это время на последнем, шестом, курсе. В отличие от классической Военно-медицинской академии, обучающимся в Военно-морской академии на старших курсах офицерские звания не присваивали. Сейчас этого нет и в Военно-медицинской академии. Брат всегда был «разболтанным» курсантом: строевые и другие дисциплинарные дела ему никогда не давались. Надо отдать ему должное, его поведение могло раздражать многих. Это умение он сохранил на всю жизнь. В описываемый период брат каждое утро встречал на улице некоего младшего лейтенанта, который его останавливал и заставлял несколько раз пройти, отдавая правильно честь. Брат с нетерпением ждал присвоения офицерского звания. Став лейтенантом, он первым делом побежал ловить своего недуга, чтобы в отместку «помуштровать» его. Другие времена, другие нравы!

В начале века южным границам Российской империи угрожала серьезная опасность. В соседней Персии полыхала эпидемия чумы, грозившая перекинуться в российские владения. Я пытался найти сведения об этой эпидемии в литературе. Известно, что в эти годы серьезная эпидемия чумы была в Китае и ряде других азиатских стран. Про Персию я сведений не нашел, но это не означает, что эпидемии там не было. Скорее всего, тамошняя эпидемия была не так интенсивна, как в Китае. Резервуаром чумных эпидемий в природе являются грызуны: крысы, суслики, тарбаганы и т. д. Поэтому в южных республиках бывшего СССР всегда оставалась чумная угроза. Здесь же эпидемия могла просто перекинуться через границу и с мигрирующими людьми. Границы, похоже, были достаточно прозрачными.

Российское правительство послало в Персию противочумные отряды. В один из таких отрядов добровольцем в октябре 1912 года пошел и отец. Вспышка чумы была в Хоросанской провинции, где отец пробыл до апреля 1913 года. Судя по всему, такие вспышки и посылка отрядов для борьбы с эпидемиями были довольно распространенным явлением. Недавно моя приятельница, дочь папиного друга проф. А.И. Бронштейна, заинтересовалась вопросом, не встречались ли наши родители в Персии. Оказалось, что и ее отец был в аналогичной экспедиции, но только на пару лет позже.

Противочумная экспедиция была опасной и эмоционально напряженной. Не знаю, как по части оказания чисто медицинской по-

мощи заболевшим, но в отношении противоэпидемических мероприятий задачи экспедиции были ясны. Эти задачи — уничтожение потенциальных источников заражения. За такими словами кроется уничтожение путем сжигания домов и всего имущества заболевших. Не нужно обладать большой фантазией, чтобы понять, как находившееся на невысоком культурном и имущественно уровне население встречало отряд. Когда чума достигает легочной формы, то заразиться можно, вдыхая воздух с капельками заразы, которые выдыхаются заболевшими, а также испускаемой прорвавшимися бубонами (нарывами). Для защиты от такого заражения надо ходить в специальных масках. И все это в страшную жару. Практически все члены экспедиции не выдерживали такой духоты и приподнимали маски, чтобы вдохнуть свежего, чистого воздуха. По этой ли, а может быть, и по другим причинам, но из отряда в 40 человек через несколько месяцев в Россию вернулось только шестеро, включая и начальника отряда. Впоследствии этот начальник стал известным ученым и профессором. К сожалению, его имя я запомнил. Вернулся в Россию и отец.

Существует неверное представление о том, что таких эпидемий сейчас нет. Это не совсем верно. Просто размах поражения и эффективность борьбы теперь иные. Тем не менее, до последних лет существования СССР перед поездкой в глубинку среднеазиатских республик требовалось обязательно пройти противочумную вакцинацию. В Москве, в год смерти моего старшего дяди, была вспышка, если не ошибаюсь, оспы. Поэтому мы с мамой, срочно отправляясь на похороны, вынуждены были исхитриться, так как повторной прививки пройти не успели. Памятна всем и вспышка холеры на юге СССР в 1970 году. В том году мы отдыхали в Крыму и даже перенесли тяжелое желудочно-кишечное заболевание неизвестной природы.

Как у нас борются с такими угрозами, я познал осенью того же 1970 года. В конце октября я неожиданно смог поехать в составе группы Ленинградского отделения «Общества дружбы СССР-Франция» во Францию. О возможности поездки я узнал в среду, а уже в субботу утром мы должны были быть в Париже. Уезжая в четверг вечером в Москву, нам надо было иметь при себе международные сертификаты о прохождении противохолерной вакцинации. Сама прививка неприятна: она вызывает слабость и повышение температуры. Действие прививки начинается через несколько, кажется, через пять дней. С этого же дня должен начинать действовать и сертификат. Тем не менее, нас всех привили в известной петербуржцам поликлинике на Московском проспекте 22, а сертификат выдали с датой на неделю более ранней. Обман был очевиден, и реально мы могли ввезти во Францию эпидемию. Для меня навсегда осталось загадкой то, зачем, выдавая нам фальшивый сертификат, нас привили по-настоящему.

Однако в СССР бывали и более серьезные случаи. Кажется в 1938 году один приезжий из южных республик неожиданно умер в Москве от настоящей чумы. Опасность была страшная. Немедленно соответствующие органы срочно изолировали всех, кто успел войти в контакт с умершим. Их было не очень много. Один из них — парикмахер гостиницы, у которого стригся пострадавший, также заболел и умер от чумы. Больше заболевших, как мне рассказывали, не было. Дело это держалось в страшном секрете. Руководил борьбой с этой вспышкой хороший знакомый моих родителей, профессор Рагозин. Вмешательство «органов» в подобные события естественно, и происходит оно во всех странах мира.

В одном из номеров довоенного журнала «Вокруг света» в художественной форме рассказана подлинная история, случившаяся в Париже перед открытием Первой всемирной выставки. Тогда в Париж на пароходе приехали жена одного из высокопоставленных чиновников индийской администрации и ее молодая родственница. Старшая чувствовала себя очень плохо. Молодая вызвала врача, а сама пошла по магазинам. Когда же она вернулась назад, то в номере, с другими уже обоями, жил неизвестный мужчина. Старшая женщина пропала, и все утверждали, что ее никто и нигде не видел. Через много лет вышедший на пенсию префект парижской полиции признался, что старшая спутница завезла в Париж чуму. Заболевшая была срочно изолирована и умерла. Чтобы не распугать посетителей выставки, полиция приняла беспрецедентные меры. Номер в гостинице срочно оклеили другими обоями, в него за большие деньги вселился отставной офицер. Остальное понятно. О чувствах родственников пропавшей никто и не думал.

Чтобы закончить с воспоминаниями о чуме, скажу, что где-то в конце 40-х годов (я был тогда еще школьником, а школу закончил весной 1948 года) в Ленинграде умер мужчина со всеми признаками чумы. В городе, естественно, есть противочумная станция. Это чудесная синекура: большая доплата за вредность и никаких реальных действий. Работники этой станции никогда чуму в глаза не видели и, как говорил отец, даже не смогли бы ее узнать. Кстати, на этой станции впоследствии трудилась и дочь упомянутого выше профессора Рагозина — Мая. Когда подозрения о чуме стали явными, возникла необходимость провести анализ, то есть взять небольшие участки легких умершего и, вероятно, другие части его тела, исследовать их, попытаться высеять чумную культуру и т. д. Особых желающих на это опасное дело не было. Те, кому это было положено по должности, ссылались на отсутствие опыта и на многое другое. Короче, работу эту взялся делать отец. Он уехал вечером и был заперт в одиночестве в лаборатории, где ему оставили пищу. Он провел там не менее двух

дней. Связь с ним была только по телефону. Поневоле я был посвящен в это дело. Я воспринимал только героическую сторону событий. Что переживала мать, понимавшая реальную опасность и обладавшая большой фантазией, я не знаю. Она со мной этими опасениями не делилась. По счастью, тревога оказалась ложной. Учитывая некую неприглядность этой истории, ее официально замалчивали. Насколько я знаю, отец даже не получил устной благодарности.

Эта история сохранилась и в памяти моего друга детства Саши Перельмана. Дело в том, что мы дружили семьями и жили в одном и том же доме. Вернувшись из лаборатории после этой истории, отец зашел в гости к Перельманам. В то время у них сидели какие-то врачи, которые боялись прикоснуться к отцу. С нынешних позиций все это выглядит забавно.

Из Персии отец вывез любовь к коврам. Он часто рассказывал, как новый ковер для придания ворсу необходимого блеска сразу же после изготовления кладут в грязь перед входом в чайхану. Чем больше ковер на этой стадии топчут, тем лучшие качества он приобретает. После войны, когда в нашей семье наступил период относительного финансового благополучия, отец в первую очередь купил красивый ковер. Он дарил мне маленькие ковры после окончания школы и университета. Мать рассказывала, что из Персии отец вывез несколько хороших ковров, но по молодости лет быстро проиграл и их, и заработанные им деньги в карты. Он был достаточно азартным человеком и всегда остерегал меня от игры и, главное, отыгрывания.

Памятью о Персии осталась и «метка» на его голове. Движимый вечной своей любознательностью, отец решил посетить святой город (или группу мечетей, точно не знаю). Естественно, в это место вход иноверцам был запрещен. Отец переоделся персом и вошел на священную территорию. Благостная обстановка заставила его по привычке перекреститься. Он был избит палками, ему проломили череп, и эта метка на голове осталась у него на всю жизнь.

В месте, где по возвращении служил отец, был военный священник, который очень любил, чтобы ему ставили банки. Он часто вызывал отца и просил выполнить эту процедуру. Отец ставил банки и уходил на некоторое время, а потом приходил их снимать. Ему это страшно надоело. В один прекрасный день он поставил банки и ушел играть в карты. Была азартная игра, и отец забыл о священнике. Бедняга кричал, звал на помощь, но сам банки снять не сумел. После этого вызовы на процедуры закончились. Зная характер отца и его любовь к независимости, мать, от которой я не раз слушал эту историю, предполагала, что заигрался в карты отец не без умысла. Я с этим согласен, так как в обыденной ситуации отец был всегда внимательным и больше всего в жизни ценил хороших товарищей и дружескую поддержку.

По возвращении из Персии отец проработал фельдшером в Ташкентском военном госпитале до весны 1917 года. В мае 1917 года он был переведен в Киевский военный госпиталь. Был ли этот перевод следствием его усилий или был вызван естественным ходом событий, не знаю. В 1918 году отец поступил на естественное отделение Киевского университета, где с интересом изучал столь любимую им всю жизнь биологию. Учась, отец продолжал работать фельдшером, т. к. только эта работа давала ему средства к существованию.

1918 год в Киеве — это немецкая оккупация, гетманщина и дальнейшая смена властей. Во что превратился в этот период военный госпиталь, я не знаю. Поскольку в 1918 году в Херсоне от сыпного тифа умер дед, а возможно, и мачеха, (в одной из анкет отец пишет «родители умерли в 1918 году»), то можно предполагать, что в этот период какая-то связь с домом отцом еще поддерживалась. Но все это только логические умозаключения и догадки. Вроде бы при немцах на Украине было и достаточно регулярное железнодорожное сообщение. Однако я не знаю, как я уже писал выше, сумел ли отец съездить на похороны деда.

Жизнь в Киеве была в то время не простой. Отец рассказывал, что грабили и убивали повсеместно. Ходить вечерами по улицам «зеленого» Киева было страшно: могли из-за ограды неожиданно накинуть на шею веревочную петлю и убить. Отец рассказывал, как он поздно вечером шел по пустынной киевской улице и вдруг услышал быстрые шаги сзади. Он решил, что это грабители, и ускорил шаги. В конечном же итоге оказалось, что это такой же, как и отец, боящийся случайных встреч, прохожий. По словам матери, в этот период отец переболел чем-то очень тяжелым, скорее всего, сыпным тифом, а может быть, и «испанкой» (гриппом). Он лежал практически без сознания и только помнил, как его невеста сидела около него. Кем была эта невеста и как ее звали, уже давно никто вспомнить не может.

Летом 1919 года отец был призван в Красную Армию. Он поступил (может быть, и по доброй воле) лекпомом в Киевский военный клинический госпиталь. В одной из анкет он пишет о том, что был призван в армию. Затем в том же году он был переведен на ту же должность в 81-й стрелковый полк. В этом полку он прослужил до мая 1921 года. Во время быстрого отступления Красной Армии из Киева он, по его рассказам, бежал, держась за хвост лошади. На этом первая попытка отца получить высшее биологическое образование закончилась.

Весь оставшийся период гражданской войны отец провел в составе Красной Армии. Воевал он на Украине и на юге. Я очень хорошо помню, что в раннем детстве я всегда просил отца рассказать, как освобождали г. Изюм. Просьбы были частыми, но содержание рассказов полностью вылетело из моей памяти. Из исторической литературы

известно, что во время боев за Изюм (это старинный город в Харьковской области) произошел разрыв между Н.И. Махно с его «крестьянской армией» и большевиками. Это был не первый союз и не первый разрыв между этими силами в период гражданской войны.

На одной из железнодорожных станций (из пересказов моей матери) отец увидел на платформе мужика, который торговал яйцами. Когда мужик ушел, кто-то из местных сказал, что это был сам Нестор Махно. Помнится и другой рассказ о речи Махно: «Большевики взяли власть и держат, и держат. Нет того, чтобы взял власть, а потом дал поддержать ее другому». Вроде бы, эта тирада вызвала общее восхищение. Говоря о Махно, надо помнить (как я только что сказал): Махно не раз действовал в союзе с Красной армией и помогал Фрунзе освобождать Крым от врангелевцев. Я как-то раз в детстве спросил отца, принимал ли он участие в освобождении Крыма от белых. Отец ответил, что он участвовал в наступлении по Арабатской стрелке. Кстати, относительно недавно, осенью 1999 г., я узнал, что наступление на Крым вброд через Сиваш не относится к достижениям Фрунзе. Во времена фельдмаршала Миниха его сподвижник фельдмаршал Ласси дважды, в 1737 и 1738 годах, входил в Крым этим же способом.

В какой-то период времени отец был на Черноморском побережье Кавказа и, похоже, принимал участие в тех событиях, которые описаны в повести Серафимовича «Железный поток». Однако вполне возможно, что это были просто внешне схожие события, происходившие в другой отрезок времени.

Уже в студенческие годы в тогдашнем Ленинграде (а может быть, еще Петрограде) на отца, студента медицинского вуза, поступил военный выправкой. После стольких лет прохождения службы в должности военного фельдшера, окунувшись в военно-фельдшерской школе в армейскую дисциплину, отец был всегда подтянут, аккуратно одет. Всю жизнь любой костюм и любое пальто сидели на нем как на манекене. Он красиво курил, был, как я уже говорил, высокого — 178 см — роста. Он никогда не позволял себе сидеть развалившись, вставал при разговоре, особенно с женщинами. В послевоенные годы он всегда провожал гостей, особенно женщин, до остановки транспорта, а иногда и до дома.

Речь его никогда не была груба, а иногда в ней бывали и старомодные обороты, возможно сознательные. В 40-е годы он никогда не ездил на работу в трамвае, чтобы никого не толкать, а ходил пешком с Исаакиевской площади на Петроградскую сторону. Правда, тут, вероятно, играли роль и соображения спортивного плана, а может быть, и перенесенные на ногах инфаркты, после которых он подсоз-

нательно избегал транспортной давки. Естественно, что на человека с такими манерами не мог не поступить донос о том, что он скрывающийся белогвардейский офицер.

Чисток и комиссий в то время было предостаточно. Попасть на них было легко, а выйти сухим трудно. Мать мою, а судя по рассказам жены, и тещу, такие комиссии отлучили от комсомола. Когда отца вызвали в эту Санта-Эрмандад, оказалось, что председатель комиссии воевал в те же дни в тех же местах Причерноморья, что и отец. Проверка была простой и азартной: кто был командиром чего-либо, когда и что случилось и т. д. Служба в одних и тех же местах, легко проверяемая при данном совпадении, оказалась решающей для снятия обвинений. Возможно, что подобные, более мелкие неприятности на схожей основе бывали у отца и потом. Спасением его было отторжение того, что называлось «общественной жизнью». Будучи умным человеком, отец понимал суть вещей, относился с презрением к суете трибунных выступлений и карьер и, критически относясь к послереволюционной действительности, старался, по мере возможности, избежать с ней столкновений. Именно по этой причине он долго не хотел иметь ребенка.

Заканчивая с периодом гражданской войны, отмечу, что в 1920 году на Кубани отец участвовал в походе на Улагая, а уже оттуда был, наверное, в составе полка, направлен в Крым. С февраля по сентябрь 1921 года он участвует в военных действиях на Северном Кавказе. Путаю ли я эти события с «Железным потоком» или одним из романов Алексея Толстого, или нет, установить уже невозможно. Как отец относился к большевикам в годы гражданской войны и какой элемент доброй воли был в его службе в Красной Армии, не знаю. Могу сказать только, что при всем своем критическом отношении к действительности он всегда высоко ценил чувство долга. Во всяком случае, несмотря на броню, он пошел добровольно в армию уже в первых числах июля 1941 года. С уверенностью можно сказать, что отец всегда был «крестьянином». Он тяжело переживал трагедию коллективизации, всегда жалел колхозников и бедняков. Полагаю, что эта крестьянская жилка и определяла его позицию в гражданской войне.

Летом 1921 года отец был зачислен в приемный покой штаба Приволжского военного округа в Самаре. Там он перенес первый голод (голод в Поволжье). Второй голод он перенес в заблокированном Ленинграде. Мать всегда считала, что два эти голода сыграли решающую роль в ранней смерти отца. В Самаре отец прослужил до сентября 1923 года. Из послужного списка отца, составленного в 1927 году, известно, что в 1923 году он окончил школу политграмоты комсостава при повторных курсах штаба Приволжского военного округа. Похоже, что эти курсы были его единственным политическим образо-

вательным учреждением. Такая «безграмотность» по тем временам просто удивительна.

В сентябре 1923 года отец был откомандирован для продолжения образования во Второй ленинградский медицинский институт (Государственный институт медицинских знаний — ГИМЗ), впоследствии ставший Санитарно-гигиеническим институтом им. Мечникова (ныне это уже Академия). Сколько усилий, просьб и других хлопот стоит за этим откомандированием, можно только предполагать. Судя по срокам, отец поступил сразу на второй курс института. Похоже, что ему зачли учебу в Киевском университете или же наличие фельдшерского образования и большого практического опыта.

Отец приехал в Санкт-Петербург (тогда еще просто Петроград) абсолютно одиноким. Никаких родственных связей у него не было. Все его имущество, по рассказам матери, состояло из шинели и желтого армейского одеяла. Я хорошо помню это одеяло. В качестве подстилки оно, благодаря своей прочности, дожило по крайней мере до 1941 года. Чтобы иметь средства к существованию, отец работал ночным сторожем в одном из складов на Лиговке. В те времена это был один из самых криминальных районов города. Выражение «лиговская шпана» просуществовало в повседневном обиходе почти до начала Отечественной войны. Работал отец и в студенческой кассе взаимопомощи — казначеем. В последующие времена — секретарем прививочного комитета при Горздраве, председателем или членом месткома. Такие должности: непочетные, неполитические, но требовавшие внимания и честности, всегда ждали его. Это было то, что в студенческих шутках моей молодости называлось «известностью второго рода». Другими видами «общественной работы» он не занимался никогда. Мать рассказывала, что однажды, придя в банк в качестве казначея, отец на окошке у кассы нашел очень крупную сумму денег, оставленную по забывчивости кем-то из приходивших ранее. Эта пачка денег еще не была замечена кассиром. Отец сказал: «Это мог позабыть какой-то бедняк вроде меня. Ему теперь остается только повеситься». Он принял все меры, чтобы найти хозяина денег, которым оказался некий богатый артельщик, для которого забытая сумма была даже не очень значительной. Отец не дождался от него ни слова благодарности.

На том же курсе, что и отец, училась моя мать, которая была почти на 8 лет моложе отца. Они познакомились и, в конце концов, поженились. Никакой свадьбы не было. Мать говорила, что условно они считали годовщиной брака 7 ноября. Вместе они прожили 29 лет, до смерти отца. Брак по обычаям того времени не регистрировался. Родители оформили брак по настоянию отца только в июле 1941 г., когда отец уходил в действующую армию. Причины регистрации объяснять не надо.

С этого времени начинается другой рассказ — рассказ о совместной жизни родителей. Из предыдущей жизни отец вынес стремление к знаниям, умение работать и большой жизненный опыт. На всю жизнь он сохранил восхищение творческими людьми и уважение к ним. Я помню, как в послевоенные годы, прочитав что-то интересное или глядя понравившуюся ему пьесу, он спрашивал с удивлением: «В чем же все-таки природа гениальности?». Когда в 1947 г. был издан перевод книги Смита о работах по атомной бомбе, отец сумел быстро достать его и прочитать, хотя материал там изложен очень скучно. Отец всегда полагал, что обществом должны управлять не политики, а настоящие ученые.

Он сохранил навыки фельдшерской работы и походя научил меня отлично ставить банки, накладывать самые сложные повязки: до сих пор наложить «Шапку Гиппократата» или сделать перевязку Дезо не представляет для меня никакого труда. Отец умел готовить и делать другую домашнюю работу, но дальнейшая жизнь сложилась так, что в семейном обиходе этого не понадобилось. В то же время в период совместной жизни с матерью отцу часто приходилось жить в одиночку. Проблем это у него не вызывало, но как он реально при этом обходился, я, конечно, не знаю. По молодости лет я об этом не задумывался.

Странствия молодости и последующие многочисленные длительные командировки породили у отца любовь к оседлой жизни. Мать всегда с печалью говорила, что отец успел столько повидать, что поездки даже в простой санаторий или «дикарем» на юг его никогда не привлекали.

Мать

В отличие от отца дата рождения матери сомнений не вызывает. Она родилась 26 апреля 1903 года в г. Белая Церковь, что находится примерно в двух часах езды от Киева. Мать часто говорила, что евреи нередко называли Белую Церковь — Schwarz Timml, что означает Черная грязь. Чем было вызвано такое отношение к названию города, не могу понять.

Город имеет древнюю историю. Он был начат строительством еще в 1032 году при Ярославе Мудром и назывался Юрьевым. После разрушения города в одной из войн был восстановлен под именем Белая Церковь, сохраняя таким образом память об единственном сохранившемся к тому моменту здании.

Белая Церковь стоит на берегу живописной речки Роси, притока Днепра. Город многие годы находился в составе Великого княжества литовского, а затем Речи Посполитой. Бывал он и столицей украинских гетманов, в том числе и Мазепы. Окончательно в состав Россий-

ской империи Белая Церковь перешла после третьего раздела Польши в последние годы XVIII века. До этого она фактически лежала вблизи границы, так как Киев уже давно относился к России.

Население города было достаточно большим. В настоящее время в нем проживает около 200 тысяч человек, и город является вторым по величине в составе Киевской области. В городе сохранилось много исторических памятников, в том числе православный и католический соборы. С Белой Церковью связан живописный парк «Александрия», который был разбит одной из фавориток князя Потемкина графиней Браницкой. Ныне это дендрологический заповедник.

В детские годы мамы город был провинциальным, зеленым и живописным, и всегда многонациональным. В нем жили не только русские и украинцы, но также поляки и евреи. Все говорили на своих языках, исповедывали свои религии. Следует учитывать, что Белая Церковь входила в черту оседлости. Владения графини Браницкой, ее парк во многом определяли быт и жизнь города. В нашей семье до послевоенных лет сохранилась глубокая обеденная тарелка с гербом графини в виде двух рядом расположенных щитов. Что на них было изображено, я уже не могу вспомнить, и как тарелка попала в наш дом, не имею ни малейшего представления. Скорее всего, это связано каким-либо образом с пертурбациями гражданской войны на Украине. Насколько мне помнится, в этот период город перенес 19 смен власти.

Белая Церковь заметна в истории Украины. Вспомним Пушкина:

Луна спокойно с высоты
Над Белой-Церковью сияет.
И пышных гетманов сады,
И старый замок озаряет,

Связана Белая Церковь и с восстанием Черниговского полка в январе 1826 года — последней акции декабристского движения. Мать с большим удовольствием читала описание Белой Церкви на первых страницах «Повести о жизни» К. Г. Паустовского. В этой повести описан предреволюционный Киев, хорошо памятный родителям. Отец же Паустовского умер в селе под Белой Церковью. С описания поездки к умирающему отцу и начинается Паустовский свое повествование.

Здание гимназии, где учился Паустовский в Киеве, сейчас отдано университету. Оно описано у Булгакова в «Белой гвардии». Буквально напротив здания гимназии находится главное здание Киевского университета, где около двух лет проучился отец и, как теперь выяснилось, на юридическом факультете успел поучиться и брат матери Марк. Правда, юридический факультет в годы гражданской войны оказался в Саратове. Я всегда с уважением и интересом осматривал эти места в Киеве. Отца в период моих посещений Киева уже не было в живых, и я пытался получить хоть какие-то представления о его киевской жизни

глядя, в частности, на знаменитый в истории гражданской войны бульвар, о котором часто слышал в рассказах матери об отце.

В памяти хранится и то, что Белая Церковь связана с Богданом Хмельницким. Конечно, это не Желтые воды или Берестечко, но здесь 18 сентября 1651 года, после очередного наступления на Украину Речи Посполитой, Богдан Хмельницкий подписал с поляками договор, который урезал автономию Украины. Известен и Белоцерковский полк в составе козачей армии Хмельницкого.

В годы освобождения Украины от немцев в последнюю войну Белая Церковь прославилась военной операцией. Эта операция была страшно кровавой. С нашей стороны было огромное количество погибших. Оно было столь велико, что хотя в победных наступлениях на потери не очень обращали внимание, на этот раз был издан специальный приказ о наказании виновных. Множество рядовых офицеров было разжаловано и понижено в звании. Были ли расстрелы, я не знаю.

С одним из пострадавших офицеров — Виктором Павловичем Бессоновым — судьба свела меня в 60-70-е годы. Он был ассистентом на кафедре физики в училище им. Макарова. Я заведывал этой кафедрой с 1967 года и не раз слышал от него о крайне жестоких и несправедливых наказаниях после этой операции. Виктор Павлович был честным, принципиальным человеком, и я в этих рассказах ему полностью доверяю. Вообще, те годы были удивительным временем с точки зрения частых встреч с интересными людьми, которые знали войну с самых неожиданных сторон. И не следует думать, что они были чем-то исключительным.

В военные события был вовлечен столь широкий круг людей, что заполучить собеседника — носителя неизвестной информации — было не так уж трудно. В том же училище им. Макарова на соседней (территориально и административно) кафедре химии, бывшей для нас так называемой «дружественной кафедрой», работал инженером НИС не очень старый мужчина. Фамилию его я за давностью лет уже позабыл. Постепенно выяснилось, что перед войной этот человек занимал должность главного химика Черноморского флота. На самом деле, несмотря на громкое название, эта должность была не очень большой. Бывали главные хирурги, инженеры и другие специалисты фронтов и армий. В войну мой отец был главным армейским эпидемиологом, о чем я расскажу далее. Наш хороший знакомый, недавно скончавшийся Яков Михайлович Збарж, был главным фронтовым стоматологом. Эти должности существенно различались по своему весу в зависимости от реальной необходимости той или иной службы. Больших воинских званий они не требовали. Тем не менее, все эти специалисты бывали дежурными по штабу и выполняли другие повседневные военные обязанности. Человек, о котором я говорю, был ответственным дежурным

по штабу в ночь на 22 июня 1941 г. Хорошо известно, что, в отличие от Жукова, министр Военно-морского флота Кузнецов прислушался к разведанным и прочей, буквально висевшей в воздухе информации и перед началом войны отдал приказ о приведении всех флотов в готовность номер один. Об этом он подробно пишет в своих воспоминаниях. Этот-то приказ позволил Военно-морским силам встретить начало войны в готовности и обойтись без трагических потерь.

По рассказам того человека, о котором я говорю, он получил сведения о приближении к Севастополю немецких самолетов и немедленно доложил об этом командующему флотом адмиралу Октябрьскому, сообщив, что он отдает команду об открытии огня по самолетам на основании приказа Кузнецова. Октябрьский, похоже, как и многие наши большие военачальники, был политиком и боялся ответственности. Как протекал этот разговор, обычно в деталях не передавалось, но известно, что Октябрьский пригрозил утром расстрелять дежурного. Тот, несмотря на реальную угрозу его жизни, принял правильное решение. Бомбардировки Севастопольской бухты не было, и Пирл Харбор на Черном море не состоялся. Вот такой человек запросто работал по соседству с нами и занимался самым обыденным трудом. К сожалению, далее жизнь обошлась с ним жестоко. Заведующим кафедрой химии был доцент Вульфсон, крупный специалист в области водной коррозии. Поскольку он был евреем и доцентом, его решили спокойно убрать. Пригласили на должность заведующего только что защитившего докторскую диссертацию специалиста из Технологического института. Этот институт славился как своими научными достижениями, так и сложными взаимоотношениями среди сотрудников. Вновь прибывшему понадобились ставки для своих людей. Короче, и Вульфсон, и мой герой вскоре остались без работы. Чтобы закончить с этим сюжетом, скажу, что по некоему закону высшей справедливости (я в него, кстати, искренне верю) нового заведующего буквально через год после описанных увольнений разбил паралич. Он стал тяжелым инвалидом, подобрел и быстро исчез из моего поля зрения. Его помощник и преемник начал плести новые интриги, но оказался в них неискусен. Его быстро выгнали с работы. Я в то время был на новом месте и встретил этого человека полностью сломленным. Политика командования училища, не поддерживавшего науку на общенаучных кафедрах, привела в конечном итоге к тому, что число докторов на этих кафедрах упало, кафедры помельчали и, в конце концов, были слиты в одну, находящуюся сейчас в не очень хорошем состоянии.

После войны Белая Церковь выросла и изменилась. Появилось ферритовое производство, возник вуз. Но главное изменение, произошедшее после революции — это изменение состава населения.

Мы очень часто говорим об остатках имперского сознания в нынешней России, шовинизме и тому подобных вещах. Тем не менее, мы не задумываемся, во что это выливается в обыденной жизни. Я уже говорил, что у нас в семье никогда не говорили по-украински. А так ли легко было, скажем в послевоенные годы, овладеть этим языком? Ряд лет тому назад мне понадобилось сделать резюме к научной статье на украинском языке. Моих знаний достаточно, чтобы, сверяясь со словарем, выполнить эту не очень сложную работу. Каково же было мое удивление, когда в РНБ («Публичке») мне не смогли помочь с русско-украинским или украинско-русским словарями. Их попросту в общедоступном пользовании не было, как не было и словарей белорусского, например, языка. Какой-нибудь финско-португальский словарь достать было намного проще.

В журнале «Родина» за август 1999 г. есть статья директора Центра украинистики при Институте славяноведения РАН Леонида Горизонтова, который ранее занимался Польшей. Он пишет, что ему с большим трудом удалось найти 6 человек для работы в этом центре и что даже в Московском университете нет специалистов по истории Украины и ее языку. Это не случайность, а плоды сознательной политики, за которую мы так дорого платим, в частности в Прибалтике. Справедливости ради отмечу, что сейчас, в 2005 г., ситуация изменилась, и я недавно приобрел и словарь, и самоучитель украинского языка, рассчитанный на русскоговорящего пользователя.

Еще одним следствием нашего национального высокомерия является курс истории, который мы изучали. Считалось, что мы изучали историю СССР, но на самом деле это была история Российской империи. Что мы знали о Грузии до ее присоединения к России? Да ничего. Мы все думали, что первым университетом на территории СССР был Московский, забывая про Вильнюсский университет, про медресе Улугбека и т. д. Первопечатником для нас был Иван Федоров, а не Франциск Скорина. Соответственно, мы не представляли ни историю возникновения государственности Украины, или, по-старому, Малороссии, ни историю ее народа. Я не хочу всерьез затрагивать эту тему. Желающих получить краткую объективную справку можно отослать к воспоминаниям генерала Григоренко или уже упоминавшемуся специальным выпуску журнала «Родина». Отмечу здесь только, что почти вся правобережная Украина входила ранее в состав Речи Посполитой и многие ее части отошли к России только по разделам Польши. 25% нынешней территории Украины до послевоенных лет никогда в состав России не входили. Еще в 70-е годы в Минске, говоря с простыми людьми, я часто слышал: «У нас в Польше».

Вернусь к своему рассказу. Огромное количество поляков жило в Киеве и вблизи него в дореволюционные годы. Кстати, и евреи в Рос-

сийской империи появились после разделов Польши при Екатерине II. По России же из черты оседлости они по-настоящему расселились в качестве беженцев из западных губерний России только в 1915 г. Соответственно, в Киеве и Белой Церкви было большое количество поляков. Языковой и религиозный раздел совпадал с социальным. Католичество и польский язык характеризовали относительно состоятельные слои населения, беднота говорила по-украински. В любой гимназии было множество поляков. Я пишу об этом потому, что мать, происходя из еврейской семьи и владея этим языком, могла говорить по-украински и, как я выяснил во взрослом возрасте, и по-польски. Братья ее, вероятно, тоже владели этими языками. Тем не менее, я никогда не слышал, чтобы украинский язык употреблялся в семье даже в шутку. Кстати сказать, никто в нашей семье никогда не говорил на так называемом «суржике» — малокультурной смеси украинского и русского, столь характерной для одесситов. «Суржиком» принято называть речь, в которой русская лексика отвечает украинской фонетике. Этот тип речи хорошо прослеживался у раннего Горбачева. Белорусский аналог такой речи — «трасянку» — можно легко уследить в выступлениях нынешнего президента Белоруссии.

Итак, мать родилась в многонациональной зоне Украины в еврейской семье. Отец матери Михаил Моисеевич (в русском произношении) родился в 1867 г. в местечке Мир Минской губернии. В семейном списке семьи деда, который был составлен в 1911 г. на предмет определения воинской повинности второго сына деда, моего дяди Марка, дед так и числится мещанином маленького белорусского поселка, а не Белой Церкви. Очевидно, были некие бюрократические правила, требовавшие этого. В Белоруссии, по-нынешнему в г. Могилеве, родилась и бабушка Мария Львовна, урожденная Певзнер. Эти подробные сведения я нашел в ряде документов — автобиографиях, анкетах отца.

Вероятно, в тех же белорусских местах дед и бабка встретились и поженились. Возможно, однако, что в Белую Церковь они перебрались независимо и поженились там. Настоящая фамилия деда была Матусевич, но при оформлении документов ее где-то в бюрократических инстанциях превратили в более редкую: Пратусевич. Эта фамилия и осталась за ним с бабушкой. Фамилия эта не очень распространенная. Тем не менее, я не раз встречал дедовых однофамильцев. По словам моего двоюродного брата, у нас есть какие-то родственники и с фамилией Матусевич. Я лично их не знаю и никогда с ними не сталкивался. Саму же историю с переменной фамилии я знаю из рассказов моей матери.

Возможно, что дед не возражал по поводу смены фамилии, так как до 20 лет, как рассказывала мама, он вообще не знал русского языка. Выучив его во взрослом состоянии, он очень хорошо им вла-

дел. Тем не менее, опять же по рассказам матери, он говорил по-русски слишком правильно, по-книжному, с очень четким, артикулированным произношением. Из истории деда знаю, что он ездил как-то в Карлсбад (нынешние Карловы Вары) в тогдашней Австрии. Как память об этом в семье остались купленная там масленка и большая немецкая пивная кружка, емкостью не менее двух литров. Когда это было и как там объяснялся дед, я не имею ни малейшего представления. Ныне пытаюсь представить себе, на каком языке дед общался за рубежом, но складной линии не получается. Что-то здесь так и остается для меня не выясненным.

Перед самой свадьбой дед выиграл в лотерею стенные часы с боем. Я хорошо помню эти часы. Они висели в нашей старой квартире на капитальной стене, выходящей на улицу. Деда в живых уже не было. Каждый выходной день — тогда были пятнадцатки и шестидневки, а после войны, точнее с 1940 года, по воскресеньям, отец становился на диван и заводил эти часы. Они спокойно перенесли блокадную зиму. Для меня все детство связано с этими часами и с их боем. После смерти отца обязанность заводить часы перешла ко мне. Часы со временем стали очень капризными, чувствовали любое отклонение от правильного положения, боялись тряски и могли остановиться при проезде по улице тяжелого грузовика. Когда в 1962 г. мы переехали на новую квартиру, запустить часы не удалось: стены были слишком ненадежными. Мать решительно взяла эти часы и, когда мы вместе поехали в Москву, отдала часы маминому брату, который был этим очень доволен. Часы эти, в конце концов, привел в порядок какой-то московский мастер. Эти часы отмерили последний срок моего дяди. Приезжая в Москву, я всегда с грустью смотрел на эти часы — воспоминания моего детства. Теперь часы снова у нас в семье, но привезти их в порядок я никак не собираюсь. В общем же я понял, что, хотя эти часы вернулись назад, у моих детей с ними уже ничего не связано. Семейной реликвией с моим уходом они быть перестанут.

У нас в семье долго хранился старинный альбом для фотографий. Он был подарен бабушке одной из ее пациенток. В этом альбоме было много фотографий родственников деда и бабушки. Со временем мама большинство этих фотографий выбросила. Оставшаяся часть изображает вполне прилично одетых людей, относящихся по виду к среднему сословию. На фотокарточках с задней стороны, по обычаям того времени, указаны адреса фотографов. Поэтому я могу с уверенностью утверждать, что до революции родственники деда и бабушки проживали в Могилевской губернии и в Вильно. Куда их занесла судьба в последующие годы, я не имею ни малейшего понятия.

В 1905 году дед сдал экзамены в Сквирском училище и получил право преподавать, но только среди своих единоверцев. Документ о сданных

дедом экзаменах на право преподавания у меня сохранился. Дед преподавал в женском училище. Какие дисциплины он при этом вел, я не знаю. После революции дед преподавал в обществе по борьбе с неграмотностью («Геть неписменность»). Связано ли было это общество с «Прогресивною», которая в более поздние годы была разогнана за «украинский национализм», сказать не могу. Сохранилась грамота, которую дед получил за работу в этом обществе. Если не ошибаюсь, дед работал среди биндюжников, то есть извозчиков-тяжеловозов, если выражаться на современный лад. Какой грамоте — русской или украинской — учил дед в этом обществе, я не знаю. Да и вообще, я не имею ни малейшего представления о том, насколько хорошо он знал украинский и польский языки.

В детстве я часто играл с большим значком, на котором был изображен Ленин. Это тоже было наградой деда за работу по ликвидации неграмотности на Украине. В моей памяти сохранилось какое-то мифическое звание «Ленинский учитель». С орденом Ленина я никогда в детстве это не отождествлял, просто потому что тогда этого ордена еще не было. Вроде бы, эта награда давала определенные льготы. Известно, что дети учителей со стажем одно время могли поступать в педвузы вне конкурса и без экзаменов. С подобными льготами я столкнулся в училище им. Макарова, но они были уже скромнее и распространялись на детей заслуженных работников морского флота. Возможно, описанный значок позволял и мне, внуку, иметь льготы на вступительных экзаменах в педвуз. Но при окончании школы никто в семье об этом не думал, да и значок деда затерялся в годы войны.

Дед был невысокого роста, имел каштановую шевелюру и носил очки. Судя по имеющемуся портрету, у меня есть с ним определенное сходство, о котором я так мечтал в детстве. Дед хорошо пел. Мать рассказывала, что в молодости он дружил с известным певцом Медведевым и часто пел вместе с ним. Кажется, он был знаком и даже был дружен с Шоломом Алейхемом. Я сомневался в том, что такое знакомство было на самом деле. Однако, ознакомившись с биографией Шолома Алейхема и списком знаменитых белоцерковцев, я убедился, что писатель действительно жил в этом городе. Знакомство же между членами культурной прослойки одной национальности и относительно небольшим городе вещь вполне вероятная.

Я твердо знал, что Шолом Алейхем описывает те места, где происходило детство матери. Мама мне объясняла, какие реальные названия скрываются у Шолома Алейхема под названиями Бобейрик, Егупец и др. Дед был мечтателен, не очень практичен и рассеян. Моя няня (о ней чуть позже), обладавшая наблюдательностью и врожденным юмором, любила рассказывать, как дед, задумавшись, взял с полки вместо меховой шапки свернувшегося в клубок кота и пытался надеть его на голову.

В 1925 или 1926 году бабушка заболела саркомой, и дед повез ее в Москву. После смерти бабушки он остался в семье старшего сына, но затем перебрался к моей матери в Ленинград. По ее рассказам он был страшно удивлен, на каком основании мой отец, который тогда был в Чебоксарах, переводит матери деньги. Мать спокойно ответила: «Потому что он мой муж». То, что она вышла замуж, своему отцу она сказать не удосужилась. Долгие годы после его смерти мать корила себя в разговорах со мной за то, что сумела так его обидеть. Вторым укором было то, что после операции, сделанной деду по поводу рака пищевода в 1934 г., ей предложили ночевать около него, а она, врач, ничего не поняла и ушла домой. В эту ночь дед умер. Увы! И в моей памяти остались такие же укоры, связанные с моей глупостью или неким недомыслим по другим, конечно, но сходным по существу поводам.

Бабушка по характеру была противоположностью деда — подвижна, энергична, являлась организатором и мотором семьи. Она окончила акушерские курсы. Есть снимок ее выпуска. Группа девушек в белых фартуках и мужчины-преподаватели. Преподаватели солидные, с бородами. Есть и портрет бабушки. Гости часто принимают его за портрет моей матери. Сохранилась визитная карточка бабушки, на которой написано «Привилегированная акушерка Мария Львовна Пратусевич». Слово «привилегированная» имело ранее другой смысл. До революции вместо «патента» говорили «привилегия». После получения диплома или другого удостоверения об окончании курсов привилегию надо было приобретать, то есть покупать, наследовать и т. п. Это фактически было правом на получение возможности самостоятельно работать или, иными словами, иметь практику.

О родственниках бабушки известно чуть больше, чем о родственниках деда. Есть ее фото с моим прадедом и даже фото прапрадеда. Кто-то из них был раввином. Дед никогда не был тем, что называют «правоверным евреем». Он считал сионизм глупостью. В то же время часто повторял, что не хочет лежать в могиле рядом с людьми другой веры. После гражданской войны утверждал, что в каждом украинце сидит петлюровец. В те годы это можно было считать криминалом. Сейчас, когда деятели первой свободной Украины реабилитированы в нашем сознании, слова деда можно понимать, как утверждение о том, что на Украине все местное население стремилось к независимости. Однако антисемитизма в гражданскую войну там хватало. Не случайно многие деятели Израиля имеют корни и на Украине, и в самой Белой Церкви.

У нас есть фото времен гражданской войны. На нем изображен младший мамин брат Марк в военной форме рядом с незнакомой девушкой. Мама всегда говорила, рассматривая семейные фото, что он снят с Лизой Черток и что ныне она в Израиле. Лиза Черток была ху-

дожницей. Одно время я даже думал, что она была родственницей одного из премьер-министров Израиля. Он имел ту же фамилию и происходил из тех же мест, что и семья матери. Ничего странного в этом нет. Яркий пример — Голда Меир, которая тоже родом из-под Киева. Так что не лишено вероятия, что Марк водил компанию с дочерью будущего премьер-министра Израиля, хотя, скорее всего, это просто одноклассницы. Сестра этой девушки жила потом в Москве, и дядя Марк иногда с ней общался, а своей приятельнице писал письма в тогда еще Палестину. Возможно, мать знала об этом намного больше, но старалась мне не говорить. Где-то в 70-х годах она вдруг в разговоре сказала: «Если хочешь уехать в Израиль, там можно найти родственников и знакомых». В то время без вызова родственников уехать было трудно, а у меня было что-то связанное с проблемами на работе. Все наши израильские «концы» так и ушли в могилу вместе с ней.

Замечу еще, что в некоем учреждении Петербурга, где трудится один из моих друзей, работала женщина по фамилии Вейцман. Никто на нее не обращал внимания. В постперестроечные годы она поехала в гости к брату, который оказался всего-навсего президентом Израиля. Несмотря на все труды органов, ухватить полностью такие связи оказалось невозможным. Я знаю ряд других схожих случаев, но не затрагиваю их — это уведет слишком далеко в сторону.

Как и в семье отца, у моих деда и бабушки по материнской линии было трое детей. Старшим был сын Иосиф. Он родился в 1894 году. Затем в 1896 г. родился второй сын Марк. Мать была первой и единственной дочерью. Ее звали Рахиль. Родственники звали ее Хилля, а отец — Лиля и в первые годы их знакомства — Лика. Братья были очень разными и по характеру, и по судьбе. Старший — Иосиф — был хорошим администратором, прекрасным организатором. Он заботился обо всех членах семьи, близких и дальних родственниках, как своих, так и его жены тети Нины. Он довольно просто поступил в гимназию и, как все еврейские дети, стремящиеся получить образование, шел на золотую медаль. К моменту окончания гимназии вышел знаменитый приказ министра народного просвещения о том, что евреи поступают в университеты не по успеваемости, а по жеребьевке. В результате дядя оказался в Швейцарии на медицинском факультете. Потом начались войны и революции.

Дядя всегда был шеголем, следил за своей одеждой. Мой двоюродный брат, живший, как и впоследствии дядя, в Москве, говорит, что дядя хорошо танцевал и любил это занятие. По рассказам нянечки, если в гимназические годы у него появлялось хоть немножко денег, то он нанимал извозчика, чтобы с шиком подъехать к гимназии. Это в маленьком-то городе! Как к этому относилось гимназическое начальство и какие по этому поводу ходили в городе сплетни, можно только гадать.

Второй брат матери — Марк — родился в 1896 г. Его характер не был похож на характер старшего брата. Марк был мечтательным, много читал, увлекался литературой. Он также поступил в гимназию. С его поступлением, по рассказам матери, возникли сложности. Процентная норма была в силе. Не помню уж по поводу кого, кажется, все-таки Марка, директор гимназии ответил деду, пришедшему узнать, почему сына не приняли, сказал: «У вас и так уже один сын учится, не слишком ли это много?». Все же Марк, в конце концов, стал гимназистом. Впоследствии непросто было поступить в гимназию и матери.

Все еврейские дети к вступительным экзаменам хорошо готовились, абсолютно грамотно писали, знали арифметику и т. д. Учителя же должны были в рамках строгой программы произвести жесткий, но объективный отсев. Для этого использовались так называемые «ловленные» задачи. Одну из них, которую мать решила на вступительном экзамене, она часто мне пересказывала. Это была задача не на знание арифметики, а, скорее, на психологию. Мать попросили быстро ответить на такой вопрос: «Бутылочка и пробочка вместе стоят 11 копеек. Бутылочка дороже пробочки на 10 копеек. Сколько стоит пробочка, и сколько стоит бутылочка?» Если бы цены были: сумма 12 копеек и та же разница, то ответ был бы прост: 11 копеек и 1 копейка. А здесь, обычно не успев подумать, отвечали: 10 копеек и одна копейка. На самом деле надо было вспомнить про полушку и ответить: 10 с половиной и 1/2 копейки. Мать моментально ответила и была принята в гимназию. Но все это было позже.

В семье деда, кроме троих детей, проживала еще его мать, моя прабабушка и сестра деда, тезка моей матери. Сестра была незамужняя. Скорее всего, она была чем-то больна. Эти две родственницы есть в посемейном списке 1911 года. Никаких воспоминаний о них в послереволюционные годы не сохранилось. Очень смутно помнятся рассказы о неких двоюродных и троюродных сестрах мамы. Кто они были, где проживали, у меня нет ни малейшего представления. В общем же, семья деда была немалой.

Бабушка была очень занятым человеком. В квартире был большой «колокол», который нередко звонил по ночам, когда за бабушкой прибегали из дома роженец. Естественно, что всерьез заниматься хозяйством при обширной практике и трех детях бабушка не могла. Поэтому в доме появилась няня — Марина Павловна Подлесная. Родом она была из большой крестьянской семьи, жившей неподалеку от Белой Церкви в большом селе Острийки. Судя по рассказам и по ее фамилии, она была польского, может быть, даже шляхетского происхождения. Когда она получала документы в волостном управлении, то писарь был пьян и выписал ей документы на имя ее двоюродной сестры Марии Федоровны Подлесной, которая была на два года моложе. Сме-

нить документы не удалось. Так и осталась она по документам Марией Федоровной, хотя никто так ее никогда не называл.

Она была Мариной Павловной или попросту Марикой. Она воспитала не только мать, но и меня, и моих детей. Для нас она была членом семьи и родной. Я и моя жена всегда звали ее нянечкой. В детстве я этого стеснялся, и мать мне часто говорила: «Ведь у Пушкина была тоже няня». В войну, при оформлении каких-то пропусков, ее умудрились оформить в качестве тетки отца. Для малознакомых людей, которых не хотелось посвящать в наши семейные обстоятельства, я, уже будучи взрослым, представлял ее бабушкой, что полностью соответствовало реальной ситуации. Нянечка умерла 5-го сентября 1976 г. в возрасте 87 лет. При заказе надгробного камня официальные чиновники похоронного бюро никак не хотели разрешить написать на могиле Марина Павловна. Но, как говорил Лесков: «Брось, барин, отчаиваться. Отчаяние портит кровь, а на Святой Руси нет невозможности». Мастер, даже без особой доплаты, написал (за пол-литра) так, как его просили. Как видим, сюжеты смены фамилий, неверные даты и прочие подобного рода истории были весьма характерны для жизни того поколения. Однако они встречаются и сейчас.

Нянина внучка Тамара переехала в Ленинград, некоторое время жила у нас, кончила медучилище, вышла замуж и живет сейчас в Колпине. При выдаче ей паспорта милиция взяла ее метрику, заполненную по-украински, и, ничтоже сумняшесь, перевела липень как июнь, омоловив Тамару на один месяц. Так это и осталось на всю жизнь. У Тамары сейчас двое взрослых детей, нянечкиных правнуков. Я всегда считал своим долгом вытащить кого-то из няниных внуков из деревни и очень рад, что это, в конце концов, получилось. Семью Тамары мы все считаем своими родственниками. По возрасту Тамара на пять лет старше моей дочери Кати. Тамара здесь обрусела — в момент приезда она говорила на смеси украинского и русского языков, том самом «суржике». Сейчас же она стала настоящей городской жительницей.

Некоторое время тому назад по телевизору была передача, посвященная 70-летию со дня рождения Ролана Быкова. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что в момент получения им в Москве первого паспорта пьяный милиционер изменил ему имя, сказав, что такого имени, как Быков требует, не бывает. Отчество же ему просто было записано неверно. Так он, несмотря на свое заметное положение, и прожил, не добившись смены документов на правильные. Таким образом, сюжеты с бюрократическими переменами фамилий и имен — это характерная примета нашей не столь давней действительности.

Нянечка росла в большой крестьянской семье, которую по сталинской терминологии, скорее всего, надо бы было отнести к середнякам. Деревня была каким-то образом связана с хозяйством поме-

щика по фамилии Лява. У Лявы в деревне было полно незаконных детей. У самой нянечки была внебрачная дочь Катя. Ее отцом был некий солдат Володя. Больше я о нем ничего не знаю. Возможно, что по этой причине нянечка и уехала из деревни. Дочь ее Катя осталась на попечении одной из нянечкиных сестер Елизаветы. Сестра была горбатая и жила вдвоем с мужем, деревенским портным Денисом Лященко. Она и воспитала Катю. У Кати было несколько детей от мужа Опанаса, который до войны один раз даже приезжал к нам в гости в Ленинград. Двое старших детей — сыновья. Еще один сын Кати погиб в послевоенное время, играя с неразорванным снарядом. Двумя младшими детьми были внуки. Младшей и была Тамара.

Большая нянечкина семья понесла существенные потери во время голода 30-х годов на Украине. Сколько ее родственников, живших на этой богатейшей земле, умерло в это время от недоедания, я не помню, но точно знаю, что их было несколько. Добрая и приветливая нянечка никогда не могла простить этого советской власти. Проявлялось это неожиданно. В послевоенные годы часто ходили слухи о покушениях на Хрущева, Брежнева и других. Эти слухи она нередко приносила из магазинов, с базара и тому подобных мест. Рассказывая об этом, она всегда добавляла, что, наверно, покушение сделали украинцы. Когда по телевизору передали сообщение о знаменитом «выстреле в космонавтов», она сразу же сказала: «Это сделал украинец». Таким образом, она выражала свое простонародное отношение к нашей крестьянской политике.

До войны у нее была какая-то приятельница, скорее всего, тоже с Украины. Они иногда встречались. После войны все ее знакомства и интересы были целиком связаны с нашей семьей и ее окружением. Раз в полтора-два года она ездила погостить в семью дочери. Ее всегда звали остататься, и она всегда возвращалась. Ее дом был там, где мы. Она была верующей, и до войны над ее кроватью висела икона. Потом икона куда-то исчезла. В церковь после войны она уже не ходила. До войны же один раз она завела туда и меня, но я страшно испугался. Когда она умерла, мы ее отпели в церкви, несмотря на то, что мне и моей жене, узнай об этом начальство, грозили неприятности. Мы об этом даже и не думали.

Нянечка очень любила цветы, прекрасно составляла букеты. Она выросла в тех местах, где цветов очень много, и, по словам моей матери, нянечка в молодости всегда считала, что хороший букет — это только тот букет, который тихонько собран в чужом саду. С этим поверьем я столкнулся впоследствии в училище им. Макарова. Курсантов всегда воспитывали так, что помещение для экзамена должно быть красиво убрано. Поэтому они клали на стол преподавателя скатерть, ставили пару бутылок лимонада и огромный букет цветов. Цветов было особенно много в период весенней сессии. То, что при такой подго-

товке они заранее раскладывали по столам шпаргалки, также было хорошо известно. Курсанты считали, что покупать букеты — это обречь группу на плохие отметки. Поэтому весной на столе преподавателя всегда стояли букеты сирени, наломанные на Смоленском кладбище в ночь перед экзаменом. Однако наибольшим шиком считался букет тюльпанов, сорванных в сквере перед Мариинским дворцом, где в те годы помещался Исполком. Сохранился ли этот обычай сейчас, точно не знаю, но полагаю, что сохранился.

Незадолго перед нянечкиной смертью мы приобрели цветной телевизор. В то время перед новостями по телевизору часто показывали «квіти», то есть цветы. С новым телевизором долго что-то не ладилось, и мы его много раз чинили. Потом его сменили, и в тот же день в субботу перед программой «Время» я позвал ее посмотреть цветы. На следующее утро она умерла. Она очень любила украинские песни, и мы всегда звали ее к радио или телевизору, когда их исполняли. Водили ее и в филармонию на какие-то ансамбли с песнями и плясками. Где-то вскоре после смерти отца летом в Ленинград приезжал пару лет украинский театр. Он выступал в Летнем театре на Островах. Я возил ее туда на парходике. Это был классический, незамысловатый репертуар: «Наймичка», «Бесталана», что-то еще. Скорее всего, это были «Наталка-Полтавка», «Запорожець за Дунаєм», но точно уже не помню. Традиционные сентиментальные сюжеты, язык левобережной Украины. Все было просто и понятно, мне тоже. Украинская же классика: пьесы Ивана Франка, Леси Украинки и т. п. в СССР почти никогда не ставились. Как-то не принято было говорить о том, что, за исключением простонародного Тараса Шевченко и Котляревского, основные классики украинской литературы жили и творили на Галичине, то есть на территории Австро-Венгрии. Эти писатели много писали и по-немецки (Леся переводила и с французского), проблематика их пьес была более сложна, а язык Западной Украины, на мой взгляд, несколько отличается от простонародного левобережного языка.

Летом 1998 на даче я несколько раз смотрел серии пьесы Ивана Франка «Путна» (Западня). Текст давался с приглушенным украинским, непрерывно переводившимся на русский. Я думаю, что и некоторые языковые моменты и, в первую очередь, содержание пьесы были бы нянечке непонятны. В то же время я уверен, что она бы смотрела все с неподдельным интересом, так как она, несомненно, скучала по родной речи. Прожив много лет в еврейской семье, нянечка свободно говорила на идиш. Подозреваю, что она понимала и по-польски. Однако возможности убедиться в этом мне никогда не представилось.

Об учебе мамы в гимназии, так же как и об учебе ее братьев, сведений у меня практически нет. Известно, что старший брат учился очень хорошо. О Марке сведения иные. Мама всегда говорила, что он учил-

ся не как еврейский ребенок, не гнался за медалью. Она рассказывала про Марка следующую историю. Увлекающийся учитель биологии (как по-настоящему назывался предмет, я не знаю), рассказывая на уроке о тиграх, вскрикнул: «Тигры прыгают вот так!» и, как было записано в кондудите, прыгнул с кафедры на парту. В ответ на это якобы Марк крикнул: «Нет, они прыгают вот так!» и прыгнул с парты на кафедру. Что в этой истории с годами усилилось, я не знаю, но рассказ этот многократно повторялся мамой. Его помнят и некоторые мои друзья детства, и моя жена Галя. Мама рассказывала, что будто бы Марк в юношеском возрасте ходил по ярмаркам с приятелем и пел.

Нянечка носила маме, а возможно, и братьям, завтраки в гимназию. Волосы у мамы вились, как когда-то и у меня. Классная дама всегда обвиняла мать в том, что она накручивает на висках кольца волос, и часто посылала ее намочить волосы, чтобы кольца распустились. Естественно этого не получалось. Последний класс гимназии мама кончить не успела из-за гражданской войны на Украине. В женской гимназии, в отличие от мужской, старшим был 7-й класс. Таким образом, получается, что мама закончила 6 классов гимназии. До физики она не доучилась и потом испытывала в связи с этим трудности на первом курсе медресы. Были ли в революционные годы какие-нибудь курсы или что-либо иное взамен гимназии, я не знаю.

Мама увлекалась литературой и театром. С ранних лет она писала стихи, и очень неплохие. Сохранившиеся стихи я недавно издал небольшим тиражом (упомянуто мной в предисловии). В отличие от Марка и благодаря старшему брату, о чем я скажу далее, по гуманитарной дороге она не пошла. В старших классах гимназии она принимала участие в драматическом кружке. Этот кружок назывался «Общество любителей сценического искусства» — ОЛСИ. Отец одной из участниц этого кружка имел отношение к типографскому делу. Он напечатал серию афиш. При этом на части из них он специально, шутки ради, поменял порядок букв, чтобы получилось ОСЛИ. По-украински это читается ослы.

В эти же годы мама познакомилась с сыном местного кузнеца Бенционом Вулом — будущим академиком-физиком. У них был роман, и впоследствии на всю жизнь они остались друзьями. В начале тридцатых годов Вул, работавший в Ленинграде и не имевший жилплощади, жил у нас в семье с женой и дочкой Леной. После войны, приезжая в Москву, я часто останавливался у них, дружил с Леной и ее мужем Яшей — ныне известным математиком, академиком РАН и РАЕН Синая. Мама хорошо знала и родственников Яши. У Лены и Яши был хронически больной сын Сашка, которого мама иногда пользовала при своих приездах в Москву. Его заболевание было неизлечимо, и трагедию этой семьи описать трудно.

Вул, так же как и Лена, очень хорошо плавал. Мама рассказывала, что они как-то поссорились, и она пошла домой по берегу реки Рось. Вул же около часа плыл рядом с ней. Мама, кстати, плавать не умела. Про мать Вула, очень простую местечковую женщину, мама рассказывала, что когда Вул стал доктором наук и послал об этом телеграмму своей матери, то та прислала ему ответ, в котором было написано, что она его, конечно, поздравляет, но не понимает, почему он всю жизнь учился на инженера, а стал доктором.

В годы гражданской войны Вул вступил в войска Буденного, но буквально в первую же ночь был жестоко избит своими однополчанами, как еврей. Далее он пошел по партийной линии, был секретарем Солюменского райкома партии в Киеве. В какой-то момент он поддержал оппозицию. Мама говорила, что кроме нее, об этом никто не помнит. Времена в те годы были еще не до конца жестокие и Вула отправили на учебу. Далее о нем забыли. Он довольно рано стал членом-корреспондентом Академии, но в академики прошел после многократных выборов уже через много лет после войны. Злые языки говорили, что по числу предварительных неизбранных он был чемпионом. Старые академики его недолюбливали, как члена партии, а новые как еврея. Он был довольно одинок и очень осторожен. Ему всегда поручали неприятные общественные работы. Так, во время войны, в Казани, он распределял карточки на дополнительное питание среди членов семей академиков. В качестве иллюстрации плохого отношения к нему можно сказать, что его всегда забывали перечислять среди учеников Иоффе и бывших физтеховцев.

Коль скоро мама так много знала о деятельности Вула в годы гражданской войны в Киеве, можно предположить, что она бывала в это время там. Рассказов об этом периоде ее жизни я не помню. Помню только, что она упоминала о приходе поляков (очевидно, это 1920 год). Няня часто рассказывала о погромах в гражданскую войну, о том что деникинцы хотели маму изнасиловать, а она (няня) ее отбила. У нас дома стояла мебель, привезенная из Белой Церкви. Про большой буфет нянечка часто говорила, стремясь подчеркнуть его прочность: «Деникинцы его били и не разбили».

Прежде чем описывать студенческую жизнь мамы, я коротко расскажу то немногое, что сохранила память, о жизни ее братьев в период между гражданской и Отечественной войнами.

Жизнь маминых братьев в 20-е и 30-е годы

Начало первой мировой войны резко изменило жизнь семьи деда. Старший сын Иосиф — дядя Ионя — как его мы все звали, закончил к этому времени гимназию. В дореволюционные времена евреев в уни-

верситет принимали на основе процентной нормы, то есть общее число мест для них должно было соответствовать проценту евреев в общем народонаселении России. Зачисление же в студенты производилось на основе оценок в аттестате зрелости. Попросту говоря, для того чтобы быть принятым в университет, надо было закончить гимназию с золотой медалью, то есть иметь 12/12, как по старинке говаривала мама. Эти 12/12 означали, что из 12 оценок в аттестате зрелости надо было иметь 12 пятерок. Золотую медаль можно было получить и при 11/12, то есть имея одну четверку по некоторым предметам.

Кстати сказать, мало кто знает, что В. И. Ленин получил золотую медаль с 11/12, имея в аттестате четверку по логике. Известно, что медаль ему вначале не давали, как брату казненного незадолго перед этим народовольца Александра Ульянова. Отстоял его медаль директор Симбирской гимназии Керенский. Он был другом отца Ленина. Более того, между его сыном, знаменитым Александром Федоровичем и сестрой Ленина Ольгой Ульяновой намечался роман, прервавшийся только в связи с ранней смертью девушки. Вот какие чудеса иногда творит жизнь!

Но вернемся к маминому брату. К моменту окончания им гимназии в правила приема в университеты было внесено существенное изменение. Евреи должны были поступать в университеты не на основе лучших отметок в аттестате, а по жребию. Это правило продержалось недолго и поэтому малоизвестно. Однако факт остается фактом, в момент окончания гимназии маминим старшим братом реальностью было то, что как ни учишься, надежд на высшее образование, дававшее, кстати, право жить вне черты оседлости, практически не оставалось.

В конечном итоге было решено, что старший сын поедет учиться за границу. Вот и поехал мой дядя учиться в Швейцарию. Кто и как принимал это решение, я не знаю. Почему была выбрана эта страна, можно только гадать. Дядя поступил на медицинский факультет. Университет какого города был выбран, сейчас уже установить нельзя. Сам же выбор медицинской специальности был достаточно очевиден — это была возможность при возвращении в Россию жить практически в любом месте. Думаю, что дед и бабушка имели заработки, которые позволяли поддержать дядю на время учебы. Однако можно полагать, что дядя и сам мог чем-то подработать себе на жизнь.

В дореволюционное время многие российские гимназисты спокойно зарабатывали себе на квартиру и на пропитание репетиторством. Возможно ли было что-либо подобное в Швейцарии, мне неизвестно. Насколько сильны были у дяди склонности к медицинской деятельности, угадать трудно. С уверенностью можно рассуждать лишь об языковой проблеме. Дядя провел в Швейцарии несколько лет. Если обратиться к справочникам, то с удивлением можно узнать, что в этой не-

большой стране четыре государственных языка. Однако подавляющая часть населения говорит на одном из двух — французском или немецком. На одном из этих языков и шло обучение в университете.

В гимназии и оба дяди, и мать изучали, прежде всего, французский язык. Обычно вторым «живым» иностранным языком был немецкий. Кроме того, изучались «мертвые языки» латынь и иногда греческий язык. Изучал ли дядя немецкий и греческий, я толком не знаю. Во всяком случае, в гимназии языкам учили хорошо, и серьезных языковых проблем у дяди в Швейцарии не возникало.

В гимназии учили хорошо не только языкам. Оба мои дяди, так же как и мать, вынесли из гимназии прекрасное знание истории, математики и других предметов. Естественно, это ограничивалось объемами гимназической программы. Все арифметические премудрости, о которых нынешние школьники и не слышали, типа простое и сложное тройное правило, разные вопросы, требуемые при решении арифметических задач, и остальные тонкости моя мать знала досконально и обучила меня им. Оба моих дяди прекрасно владели математикой на уровне гимназического курса.

В восьмом классе наш учитель математики Петр Иванович Бухарин дал каждому из учеников сложное индивидуальное задание по алгебре приблизительно из двух или трех десятков задач. Почти со всеми задачами я справился очень быстро. Однако некоторые из них ни я, ни кто-либо из взрослых знакомых, включая мою мать, решить так и не смогли. Ходили на консультацию к одному инженеру, родственнику знакомых. Заходила речь даже о логарифмической линейке и многих других действиях, явно не школьного плана. Одну из этих двух или трех этих задач я прекрасно помню. Конечно, тут требовалась не столько математика, сколько сообразительность. Задача была такая: надо было извлечь с точностью до единицы корень 37-й степени из какого-то семи- или восьмизначного числа. Эта степень, да к тому же в виде простого числа, всех очень смущала. Все мудрые консультанты здесь пасовали. Назревал скандал. Я хорошо учился, по математике был одним из первых и прийти с нерешенными задачами не мог. В это время в командировку приехали оба дяди. Дядя Ионя взглянул на эту задачу и сказал: «Это все очень просто. Смотри: $1^{37} = 1$, а два в 37-й степени намного больше твоего числа. Значит, корень равен 1 с недостатком и 2 с избытком». Вот так тогда учили в гимназии.

Мать и дядя Марк были практически на том же самом уровне. В отношении литературы и искусства мама и младший брат Марк в силу своих природных склонностей были подготовлены очень хорошо. Они изрядно читали и сверх гимназической программы. Старший же брат, я дальше буду называть его, как и все члены нашей семьи, дядя Ионя, изящной словесностью не увлекался. Однако все, что полагалось знать

по гуманитарным наукам, он знал прекрасно. Это осталось у него на всю жизнь. Проявлялись эти знания не всегда. Знание же иностранных языков в послевоенные годы, когда я активно общался с обоими дядями, было ненужным. В обыденной жизни это знание не проявлялось, и я пишу об этом, опираясь лишь на косвенные сведения.

Первая мировая война застала дядю Ионю в Швейцарии. Он оказался отрезанным от семьи. В семейном архиве есть снимок дяди, датируемый 1915 годом. Изящный молодой человек во фраке с умиротворенным лицом. О жизни дяди за границей в период войны никаких сведений толком нет. Можно лишь пытаться угадать ответы. Но это только догадки. Почтовая связь с домом, хотя бы через Красный Крест, конечно, была. Можно ли было переводить деньги и были ли у семьи деда такие возможности, я не знаю. Не знаю я также, учился ли в это время дядя, или же бросил учебу. Во всяком случае, о том, что у него есть диплом врача, и даже просто о том, что у него есть хотя бы основы медицинского образования, никогда в семье не говорилось.

Швейцария в годы мировой войны была переполнена русскими эмигрантами-революционерами. Тут были социал-демократы разного толка, эсеры и многие другие. Они непрерывно спорили друг с другом, часто меняли свою политическую ориентацию. В то же время все были хорошо знакомы и общались между собой. Кто-то из них жил на партийные средства, кто-то имел иные доходы. Часть из эмигрантов работала для поддержания существования. Несомненно, что дядя был знаком со многими из них. Можно предполагать, что в это время возникли какие-то знакомства, были восприняты некие общие идеи. Как обернется судьба, никто из них особенно не задумывался.

После февральской революции большая часть эмиграции стала возвращаться в Россию. В конечном итоге, вернулся в Россию и дядя. Пересечь линию фронта было невозможно. Оставалось три других принципиальных возможности проехать домой. Первый, самый экзотический путь — это проезд через немецкую территорию под страхом быть интернированным. Этим путем при определенных гарантиях воспользовались только Ленин и ряд его ближайших помощников. Об этом написаны горы литературы. Все спутники Ленина по этой дороге хорошо известны. Дяди среди них не было, да и не могло быть. Надо думать, он обладал определенными принципами. К тому же, его положение в эмигрантской среде, если оно и имелось, было невысоким.

Исключен был и второй путь возвращения — через Америку и Дальний Восток. Долог, сложен и дорог был этот путь. Мало кто сумел им воспользоваться. Я практически уверен в том, что дядя прибыл в Россию стандартным, если так можно выразиться, способом. Для этого ему надо было переехать во Францию, а оттуда пароходом

через Ла-Манш в Англию. Из Англии, скорее всего из Ньюкасла, опять же пароходом надо было переплыть в норвежский город Берген. (Почти через 90 лет мой сын проработал в университете этого города несколько месяцев.) Морские переезды были короткими. Однако это были самые опасные участки пути из-за подводной войны. К 1917 году она пошла на убыль. Вероятно, тут сыграло роль и Ютландское морское сражение 1916 года.

Берген был расположен на территории нейтральной Норвегии, которая стала независимым государством незадолго перед началом войны. От Бергена железной дорогой через тоже нейтральную Швецию добирались до Финляндии. Это уже была территория Российской империи. В 1918 г. в Финляндии началась гражданская война, и проезд через нее в Россию заметен осложнился. Однако в течение почти года после февральской революции перемещаться этой дорогой было в основном безопасно. Именно этот путь использовался во время всей войны для связи между союзниками. Он начинался или кончался, смотря куда ехать, в Петрограде. Кажется, что именно в Петрограде и появился дядя Иона в описываемый период. Это является для меня дополнительным свидетельством в пользу того, что дядя вернулся в Россию через Францию и Скандинавские страны.

Жизнь дяди в революционном Петрограде известна мне отрывочно. Тем не менее, общее представление о ней составить все-таки можно. Дядя занимал, если так можно выразиться, среднее административное положение. Для того чтобы получить должность соответствующего уровня нужно было, чтобы новые власти дяде доверяли. Поскольку такое доверие, очевидно, имелось, то я и допускаю, что здесь сыграли роль швейцарские знакомства дяди. Но, кроме личного знакомства, надо было хотя бы частично проявить свои организаторские способности. У дяди они, несомненно, были. Свидетельство этому вся его дальнейшая жизнь, до самой смерти. Раз эти способности были известны, я допускаю, что уже в Швейцарии дядя каким-то образом был связан с революционной эмиграцией. Это, в свою очередь, позволяет хоть как-то объяснить то, что дядя не получил законченного медицинского образования. Революционная деятельность, если она была, требовала полного отключения от учебы и прочих занятий. Ныне разобравшись в этом уже невозможно. Остается только предполагать.

Как было модно в годы революции, дядя сменил свою фамилию на революционный псевдоним. Псевдоним этот был достаточно прозрачным — Русевич. Так этот псевдоним и остался в качестве фамилии на всю его дальнейшую жизнь. В это период дядя получил комнату, которая впоследствии отошла к матери. Он женился на тете Нине, которая была очень красива. Тетя Нина была дочерью адмирала Дмитриева от второго брака. Адмирал Дмитриев происходил из се-

мьи потомственных судостроителей, занимавшихся этой деятельностью со времен Петра I. Адмирал имел несколько дочерей, за которыми ухаживала гувернантка Эмма Федоровна, скорее всего прибалтийская немка.

После смерти первой жены адмирал вторично женился — на гувернантке. Тетя Нина, ее младшая сестра Леля и брат Миша были детьми от этого брака. Адмирал имел два дома в Павловске (перед войной он назывался Слуцком, в честь Веры Слуцкой). Что-то у него отобрали.

Про тетю могу сказать, что она получила прекрасное образование, характерное для семей того типа, к которому она принадлежала. Она свободно знала три основных европейских языка. Это можно было увидеть, когда я останавливался у нее, уже овдовевшей, в Москве. В те времена появилась возможность открыто слушать иностранные радиопередачи. Тетя тогда частенько слушала новости на французском языке. Она была приучена к аккуратности. Даже живя в одиночку, она, чтобы съесть легкий завтрак, накрывала стол скатертью, использовала салфетки и всю гамму столовых приборов. Каждое ее действие заканчивалось подметанием крошек с пола и прочими схожими операциями.

Дядя с тетей жили сначала в Ленинграде, а потом перебрались в Москву. Вероятно, это было связано и с переездом в Москву правительства, и с дальнейшей деятельностью дяди. Их комната в коммунальной квартире на Мойке осталась впоследствии за мамой. В Москве дядя жил сначала в Леонтьевском переулке, а затем перебрался в Калашный переулок. Всю довоенную жизнь он строил себе кооперативную отдельную квартиру. Тогда был период, когда можно было, внося деньги, построить себе отдельное жилье. Очевидно, это был предшественник и аналог появившихся во времена Хрущева ЖСК. Однако, когда все деньги были выплачены, построенный дом отобрали для каких-то иных нужд. Получили ли пайщики какую-нибудь компенсацию, я не знаю. Дядя и тетя никогда не говорили на эту тему. Так и умерли и он, и его брат, и мой отец в коммунальных квартирах. Всю эту историю я знаю из рассказов мамы, а она подобную информацию выдавала мне с известными только ей цензурными ограничениями. По этому поводу у нее не раз бывали в послевоенные годы серьезные дискуссии с моим отцом, который всегда считал необходимым ничего от меня не скрывать и ни о чем не умалчивать.

Деятельность дяди в Петрограде после окончания гражданской войны была связана с железными дорогами. Как известно, Дзержинский не только был во главе ЧК, но и занимался хозяйственной деятельностью. Одно время он был, если не ошибаюсь, во главе ВСНХ — Всероссийского (или Всесоюзного) совета народного хозяйства. Кро-

ме того, Дзержинский занимал пост руководителя НКПС — Народного комиссариата путей сообщения. Мама не раз говорила, что дядя был секретарем Дзержинского именно в этом наркомате. Скорее всего, это была не должность секретаря в обычном понимании, а работа в секретариате, который в то время являлся чем-то вроде коллегии современных министерств.

В 1921—1922 годах короткое время дядя Ионя был, кажется, начальником Николаевской железной дороги, которая впоследствии была переименована в Октябрьскую. Со временем в ее состав вошли и другие железные дороги, в частности, Ленинградская и Северная. В те же годы Николаевская дорога просто связывала Петербург и Москву. В ее состав входили и некоторые пригородные железнодорожные линии. Управление дороги всегда размещалось в Петербурге, а не в Москве. Ее значение в соответствующих наркоматах и министерствах всегда было велико, и руководить дорогой неспециалисту было очень трудно.

Надо учесть, что работники железных дорог даже на самом низком уровне всегда имели соответствующее образование, а профсоюз работников железных дорог с самого начала оказал больше сопротивление Советской власти. Из деятельности дяди на этом посту, опять же из рассказов мамы, достоверно известно, что дядя принимал (вероятно, он был председателем или активным членом приемочной комиссии) железнодорожный мост в Белоострове. Этот мост, конечно, не раз перестроенный, существует и поныне. Он небольшой и в техническом смысле ничего сложного не представляет. В 1918 г. политическая роль этого сооружения вдруг стала неожиданно огромной. Мост перекинут через неширокую реку Сестру. До революции река эта являлась границей Великого княжества финляндского и основной территории Российской империи. После отделения Финляндии река стала государственной границей. Мост же в Белоострове стал пограничным. Долгое время через него шли основные связи Красной России с Западной Европой.

Железнодорожное сообщение между Петербургом и Финляндией было открыто еще в конце XIX века. В годы первой мировой войны по этой дороге, как я уже писал, шла основная связь России с ее западными союзниками. Значение этой линии резко возросло после завершения строительства железнодорожного моста через Неву в 1916 году, финская линия оказалась напрямую связана со всей железнодорожной сетью России. Вторая железнодорожная линия к Карельскому перешейку в те времена шла от ныне уже не существующего Приморского вокзала через Сестрорецк и Курорт в теперешние Дюны. После отделения Финляндии конечная станция этой линии оказалась за границей, и линию несколько позже замкнули на Белоост-

ров. Таким образом, мост в Белоострове, отделявший эту станцию от такой же пограничной финской станции Райоки (ее ныне уже нет), был важен. Перед въездом на мост производился таможенный и пограничный досмотр, менялась паровозная бригада. Отношения с финнами были плохими, и действия комиссии по приему моста были достаточно важными.

Это лишний раз показывает, что дядя Ионя занимал определенное положение в петроградских железнодорожных и хозяйственных кругах. Связи эти у него сохранились надолго. Возможно, именно этим и объясняется то, что со временем он подтолкнул свою сестру, мою маму, к поступлению в один из петроградских медицинских институтов. В то же время эти связи не были столь прочными и явными, чтобы сгубить дядю во время повальных ленинградских арестов. И то сказать, время было такое — уехал, не на виду, и о тебе забыли. Это «забыли», похоже, не один раз волею случая сыграло свою положительную роль в истории нашей семьи.

Во время гражданской войны дядя занимался чисто организационной деятельностью. Брат мой рассказывал, что до работы на Николаевской дороге дядя был ответственным за снабжение одной из армий. Кажется, это была 16 армия, которой командовал знаменитый Шиловский, прообраз Рощина в «Хождении по мукам» Алексея Толстого. Занимался ли дядя снабжением только одной этой армии, или сразу несколькими армиями, или же они менялись, я сказать не могу. Известно только, что в этот период в качестве ответственного работника дядя имел свой собственный железнодорожный вагон, который можно было прицеплять к разным составам, а по прибытии в тот или иной населенный пункт в этом вагоне можно было жить и работать. Средства связи для подсоединения к общим линиям в вагоне заведомо имелись.

Существовал семейный рассказ о том, что в этом вагоне дядя умудрился вывезти из Одессы в Москву молодого Утесова, с которым успел подружиться. Существует и такая легенда, что при отъезде Утесова какое-то начальство, конфликтовавшее с ведомством, в котором работал дядя, стало проверять, кого дядя везет в своем вагоне. Тогда молодой Утесов залез на крышу вагона с телефонной трубкой в руках и стал кричать в нее: «Барышня, киньте срочный провод на Москву. Лев Давидович! Это Вы? Как здоровье?» Львом Давидовичем, как известно, звали Троцкого. В результате проверявшие тихонько исчезли. Дядя на всю жизнь сохранил приятельские отношения с Утесовым, который стал в последующем знаменитым человеком. Когда сразу же после войны Утесов впервые был на гастролях в Ленинграде, мне очень хотелось пойти на его концерт, а билеты достать было невозможно. В это время приехал в командировку дядя. Он узнал,

где остановился Утесов, созвонился с ним и без особых хлопот достал мне очень хороший билет на концерт. При этом дядя страшно возмущался тем, что это был платный билет, а не бесплатная контрамарка. Дядя считал, что, основываясь на истории их взаимоотношений, Утесов был обязан дать именно контрамарку. Лично мне это, конечно, было безразлично.

В конечном итоге после гражданской войны дядя осел в Москве. Работал он в одном из промышленных наркоматов, то есть министерств. Судя по рассказам, он был на достаточно высокой должности. Скорее всего, это был уровень начальника главного управления или, по крайней мере, большого отдела. На моей памяти, то есть во второй половине 30-х годов, дядя часто приезжал в Ленинград. Иногда он останавливался у нас дома. Но чаще всего у него бывал номер, очень хороший, в какой-либо из главных гостиниц города. Я помню, как дядя останавливался в «Астории». Когда дядя останавливался у нас дома, за ним обычно присылали машину. Однажды он взял меня с собой прокатиться в новой машине М-1. Судя по марке машины, это было приблизительно в 1938 г.

На большой должности удержаться без технического образования было невозможно, и дядя закончил без отрыва от работы МВТУ (Баумановский институт). Как и сколько лет он учился, когда и какой факультет кончал, никто уже не помнит. Я могу только сказать, что в послевоенные годы дядя всегда с удовольствием носил на лацкане своего пиджака значок этого вуза. Очевидно, что почти одновременно с дядей и, скорее всего, таким же способом получила высшее техническое образование и жена дяди — тетя Нина.

В период начавшихся репрессий дядя был на виду, и метла «чисток» приближалась к нему. Кто-то из дядиных знакомых прислал ему из-за границы патефон. В те годы это было большой редкостью. И вот на одном из партсобраний некто из знавших дядю в выступлении сказал, что он слишком хорошо одевается, имеет патефон и слушает зарубежную музыку. Было достаточно очевидно, что это выступление было предисловием к последующему аресту. Но недаром дядя был хорошим организатором и известен в верхах. Он выбрал единственный правильный в этой ситуации путь: обратился непосредственно к Орджоникидзе. Руководящих деятелей промышленности, как в наркоматах, так и на заводах, было в те годы не очень много. Орджоникидзе знал большинство из них лично. Знал он и дядю Ионю. Орджоникидзе посчитал нужным спасти дядю и срочно перевел его на работу в другой наркомат. В этом наркомате, а затем и в соответствующем министерстве дядя проработал до послевоенных лет, когда началась антисемитская кампания и он был вынужден преждевременно уйти на пенсию.

В личной жизни дяди Иони в предвоенные годы особых изменений не было. С тетей Ниной жили они достаточно бурно. Детей у них не было по вине дяди, как говаривала моя мама. Оба были красивы и часто имели романы на стороне. Тем не менее, они не расстались. Дома у дяди часто бывали гости. Они танцевали под патефон, имевшийся у дяди. Я уже писал, что по тем временам это было большой редкостью.

В течение ряда лет дядя Ионя поддерживал отношения с выходцами из Белой Церкви. Потом эти связи постепенно сошли на нет. Такие же отношения поддерживал и второй дядя. В нашей семье нянечка тоже знала ряд белоцерковцев, переехавших в Ленинград. Рядом с нами в Максимилиановском переулке была аптека. В ней провизором работала некая белоцерковка Любарская (или, как говорила няня на украинский лад, Любарська). Няня всегда обращалась с рецептами только к ней и обычно стремилась при этом поговорить с ней о жизни. Мама, так же как и нянечка, знала многих выходцев из Белой Церкви, в частности, академиком Линников — отца и сына. Она никогда не забывала вспомнить о них в рассказах о своем прошлом. То же самое можно сказать и про нянечку, которая даже помнила уличные прозвища Линников в годы их жизни на Украине.

Возвращаясь к рассказу о дяде. У него всегда проявлялось то, что я называю для себя «патриархальностью». Он всегда чувствовал и вел себя, как глава большой семьи, стремился поддерживать всех родственников, заботился даже о самых далеких из них. Дядя всегда хорошо зарабатывал и часто финансово помогал своим родственникам. Если говорить обо мне и о сыновьях второго дяди, то его положительная роль в нашей жизни была несомненной. Об этом я расскажу далее. Но он заботился и об очень далеких родственниках — разных двоюродных и троюродных братьях и сестрах. Кроме него, об их существовании мало кто помнил. В его записной книжке было много соответствующих адресов.

Несмотря на то, что они с тетей жили в одной комнате коммунальной квартиры, у него часто кто-то гостил. Все родственники, приезжавшие в Москву, всегда останавливались именно у него. Такое положение вещей всех устраивало. Ни у кого никогда не возникало сомнений, что именно так все и должно было быть. Вся помощь и забота дяди Иони были абсолютно бескорыстными. Полагаю, что он получал известное наслаждение от этой помощи. Ему взамен хотелось только внимания. Увы! Он не часто получал его в ответ.

Иногда дядина помощь родственникам приводила к серьезным неприятностям. У дяди был двоюродный брат Давид, живший в Риге (до революции это был третий по количеству населения город государства). Дядя в чем-то помог этому брату, но тот допустил ряд серьез-

езных нарушений. В результате дядя попал под кратковременный арест и следствие. Все это кончилось благополучно, но на определенном этапе подорвало его карьеру. Тем не менее, на дядино отношение к родственникам это не повлияло. Скорее, это и ряд других, мало известных мне происшествий сказались на матери. Она на моей памяти обычно старалась избежать контактов с дальней родней, ничем этого не объясняя.

Надо сказать, что, оказывая помощь, и весьма существенную, дядя всегда исходил из прагматических интересов. О том, как реагируют, например, его племянники на его усилия, он не задумывался. В определенном смысле он решал все правильно, и мы все ему благодарны. Отмечу еще, что дядя был хлебосольным, любил принять гостей, но, поскольку я жил в другом городе, мне это известно только по рассказам.

В жизнь родственников дядя вмешивался решительно и по-деловому. Таким же образом решил он и судьбу своей младшей сестры, моей матери. Но об этом далее. Моего старшего двоюродного брата Юру, мечтавшего об истории, он, понимая предвоенные обстоятельства, заставил пойти в Военно-морскую медицинскую академию, которая только-только была создана в Ленинграде.

Брат был среди первых выпускников этой академии. Война затронула его мало, хотя в критические моменты осени 1941 г. курсантов бросили на передовую, а при выводе их из заблокированного Ленинграда по льду Ладожского озера один из курсов, вероятно, после бомбежки, полностью утонул. Тем не менее, академия в войну была достаточно спокойным местом. Брат получил специальность и сохранил жизнь. Ему в этом смысле повезло. После войны он служил в морской авиации на Дальнем Востоке. Однажды он летел на летающей лодке «Каталине». При посадке на воду во время сильного волнения лодка разбилась, ударившись о воду. Брат чудом спасся, так как он находился в хвосте. Однако долгое время после этого он заикался.

Дядя повлиял и на судьбу второго моего двоюродного брата при его поступлении в вуз после войны. Когда я начал заниматься наукой, дядя, связанный с издательской деятельностью, заказал мне популярную брошюру. Я ее быстро и удачно написал. Это издание и новый вид заработка помогли мне на каком-то этапе работы. Подробнее обо всем этом я расскажу несколько позже.

Примерно за год до начала войны дядя каким-то образом сумел забрать к себе мать своей жены и маленького племянника, сына сестры тети Нины. Мать мальчика осталась в Ленинграде, перенесла голод, попала в Пензу, где был ее сын, затем в Москву. Впоследствии все они жили у дяди в Москве, в его комнате. Затем мать мальчика уехала, а дядя с тетей всю жизнь воспитывали этого мальчика. (Об отце ребен-

ка, кроме того, что он был крупным инженером и перед разводом много пил, у меня никаких сведений нет.) Дядя страшно баловал своего племянника, но дотянуть его до конца вуза не успел. Парень бросил учебу и, пристрастившись к вождению на дядиной «Победе», на всю жизнь остался разъездным шофером в гараже Министерства обороны, куда он попал, служа в армии.

Младший мамин брат — дядя Марк — по своему характеру был противоположностью старшему брату. Он был мечтательным и увлекающимся человеком. Моя жена рассказывает, что во время ее бесед с моей матерью, та часто называла Марка «любимым братом». Думаю, это связано с тем, что его характер был более близок к характеру матери. Кроме того, мы все обычно чувствовали «руководящую роль» старшего брата и несколько дистанцировались от него. С Марком же все было проще.

Для меня, когда я стал взрослым, старший брат мамы был всегда «дядя Ионя» и «вы», а младший брат был просто «Марк» и, естественно, «ты». Полагаю, что по своему характеру Марк был ближе к деду, а Ионя к бабушке. Но этот вывод построен на моих рассуждениях, не более того. Рассказы о том, что в гимназии дядя Марк учился плохо, по здравом рассуждении надо воспринимать очень осторожно. Просто он не так рвался к золотой медали, как большинство еврейских детей, но плохого аттестата зрелости он не получил, да и вообще учился с удовольствием. Уже в гимназические годы Марк стал увлекаться написанием стихов и прозы. Сохранились даже некоторые его стихотворные переводы Горация. Для меня эти переводы — прежде всего, подтверждение того, что в гимназии он хорошо овладел латинским языком. Переводил он и других авторов.

Дядя Марк закончил гимназию и в начале первой мировой войны поступил на юридический факультет Киевского университета святого Владимира. Собирался ли он в будущем избрать профессию юриста, установить нельзя. В те годы на юридический факультет часто поступали молодые люди, еще не до конца определившие свое призвание и просто стремившиеся к высшему образованию. В это время начинает прорисовываться его истинное призвание. В 1915 году дядя начинает сотрудничать в газете «Киевская мысль», пишет различные зарисовки по отделу городского хозяйства, по которому он числился в редакции. Газета эта имела субботнее иллюстрированное приложение, в котором дядя печатает свои сатирические и лирические стихи.

Если не считать самсоновской катастрофы, то основные действия мировой войны в 1914 году происходили на западном фронте. 1915 год, наоборот, ознаменовался наступлением немцев на Восточном фронте. Именно в этот период погиб брат моего отца дядя Семен. В этот же период началось бегство населения из районов воен-

ных действий на восток. Особенно много беженцев было из русскоязычной Польши. Еврейское население двигалось на восток, забывая о черте оседлости, которая фактически перестала существовать именно в это время. От Киева до зоны активных военных действий было достаточно далеко. Тем не менее, власти, скорее всего, напуганные прорывом и стремительным наступлением немецких войск на западе в 1914 году, решили эвакуировать Киевский университет. Его перевели в Саратов.

Думается, что этот город был выбран не случайно. В Саратове 6 (19) декабря 1909 года был открыт саратовский Николаевский университет. В его создании важную роль сыграл Столыпин, бывший одно время саратовским губернатором. Для будущего университета было построено пять прекрасных зданий. Однако сам университет, что очень нетипично, состоял всего из одного факультета — медицинского. Поэтому Киевский университет должен был помочь в создании других факультетов. Так и произошло. В 1917 году в Саратовском университете появляется юридический факультет, а затем возникают и другие факультеты. Позволю себе отметить, что создание нового университета только с медицинским факультетом не было новостью для России. Именно так создавался в конце XIX века первый Сибирский университет в г. Томске. До революции в России успел открыться еще один университет. Это было в 1916 году в Перми. Следующие университеты, в том числе и в упоминаемом мною далее Иркутске, были открыты уже в 1918 году.

Итак, дядя Марк вместе со всем университетом оказался в Саратове. Он проживал там в 1915-1916 годах. В этот период он организует выпуск журнала «Звено», в котором активно печатает свои стихи. После революции Киевский университет снова возвращается на Украину. Во всяком случае, как я уже писал, в 1918 году мой отец учился в Киевском университете. Марк тоже в это время жил в Киеве. Продолжал ли он учиться, трудно сказать. Именно в 1917—1918 годах он публикуется в журнале «Киевский коммунист». Журнал имел только три выпуска, затем он был запрещен цензурой. Это и не удивительно, так как власти в Киеве, да и в Саратове тоже, менялись очень быстро.

За давностью лет понять, почему дядя Марк был ориентирован на большевиков, понять не просто. Скорее всего, тут сыграли роль несколько факторов. Конечно, серьезной теоретической базой для выбора своих предпочтений дядя не обладал. Тем не менее, свой выбор он как-то сделал.

Киев был политическим центром Украины в первый период после революции. Затем столица была на некоторое время перенесена в Харьков. Этот город был ближе к России, население было преимущественно русскоязычным и рабочим по социальному составу. Од-

нако еще в бытность властей в Киеве весной 1919 в составе группы заместителя наркома продовольствия Поволоцкого дядя был направлен с каким-то партийным заданием в Мелитополь. Оттуда сравнительно быстро он был отправлен в Крым. В мои взрослые годы мы с дядей жили в разных городах, и душевных разговоров у меня с ним было не очень много. Все, что здесь излагается, это пересказы сведений, полученных от мамы или от младшего сына дяди Марка — Альдика. Они не всегда описывали одни и те же события. Есть некоторые расхождения и в деталях, связанных с совпадающими в их рассказах фактами. И дяди, и мамы давно уже нет в живых. Так что справки навести невозможно. Именно по этой причине я стараюсь быть аккуратным в своем повествовании и опускаю многие не очень существенные подробности.

Итак, по словам мамы, дядя Марк был отправлен на полуостров «для обследования крымских базаров». Эта обтекаемая формулировка должна была скрыть истинные цели поездки. Насколько была правдоподобна эта формулировка, я не знаю. В этой поездке дядя познакомился и подружился с молодым экономистом Сергеем Молчановым. Это была дружба на всю жизнь. Мама всегда подчеркивала, что Сергей был очень талантливым человеком. Папа же мой всегда испытывал по отношению к Сергею дружеские чувства. Дядя Марк со своим новым другом попал в Севастополь. Здесь они были арестованы татарскими властями. Все-таки Севастополь всегда был на особом положении, как база военно-морского флота. Отступающие белые армии вошли в Крым через перешеек, и арестованных должны были передать белым. Наверняка, это кончилось бы трагически. Однако дядя и Сергеем удалось бежать. Они смогли добраться до восточного побережья Крыма, а оттуда летом 1919 года дядя перебрался в Анапу, откуда смог добраться до Новороссийска.

1919 год — это пик гражданской войны. Деникинская армия приближается к Москве. Кажется, совсем немного, и белые переломят ход событий в свою пользу. Однако в решающий момент наступление белых захлебывается. В тыл им ударяет повстанческая армия Махно. Деникин допускает ряд политических просчетов и не находит поддержки у поляков. Что было дальше, хорошо известно. После катастрофической эвакуации Новороссийска Деникин отказывается от командования Добровольческой армией и навсегда уезжает из России.

Останавливаться даже кратко на пересказе этих многократно описанных фактов не имеет никакого смысла. Важно только то, что дядя Марк в критический момент развала белого движения оказался в самой гуще событий. На Черноморском побережье в это время действуют самые разные вооруженные группы. Грузия независима. Есть Причерноморская республика во главе с атаманом кубанцев Чижом. Они

ориентированы на Украину. Абхазия действует независимо от Грузии. Турция разбита в войне, туда вошли войска Антанты. Часть турецкого побережья в районе Трабзона (Трапезунда) была ранее занята русскими войсками в ходе предыдущей войны. Кто-то из русских там застрял. Совсем недалеко были области, где всего пару лет тому назад турки вырезали армян. Путаница в административном делении, намерениях, путаница в головах. В этих местах полно беженцев из России, население устало от войны, белая армия разлагается. И вот в эту мешанину попадает дядя. Его деятельность происходит в местах, ныне хорошо известных всем, кто отдыхал на Кавказе в наши дни. Трудно только представить, что тогда слишком многое выглядело иначе. Сочи еще не был курортным городом. Железной дороги в Краснодарский край не было. До революции в эти места попадали пароходом из Крыма или же из Одессы. Поезд из России на побережье шел обычно круговую через Баку и Тифлис. Названия мест хорошо знакомы современному человеку, но на самом деле многое выглядело иначе, чем сейчас.

Дядя Марк связался с подпольным новороссийским парткомом и вместе с еще двумя товарищами был направлен на подпольную работу в туапсинском и сочинском округах. Они должны были заниматься разложением белых войск. Эта работу, в частности, следовало вести и изнутри. Прибыв морским путем в Адлер, дядя встраивается писарем в штаб одного из полков, затем заново на работу в комендатуру, задачей которой являлась выдача пропусков для отъезда в Грузию и в Турцию.

В близлежащих горах действовали партизанские отряды, и поручик, бывший комендантом, их очень опасался. Поэтому основную работу он свалил на дядю. Дядя воспользовался этой обстановкой для пропаганды среди солдат и установления связи с одним из партизанских отрядов. В результате в ночь на 28 января 1920 года взвод в составе примерно 40 человек вышел на соединение с партизанами. Был занят один из мостов, а затем и захвачено село Молдованка. Все это делалось в согласии с решениями так называемого Комитета освобождения Черноморья — КСЧ. Вслед за этим последовало освобождение Адлера, а затем Хосты и Мацесты и выход на окраины Сочи. Отряды, в действиях которых принимал участие дядя, пополнялись за счет агитации солдат белых полков. Все рассказанные здесь события развивались очень быстро, и уже 2 февраля были освобождены Сочи. К повстанцам для помощи прибыли представители Красной Армии. Со многими из них у дяди устанавливаются дружеские отношения. Не нужно думать, что в этот период были бескровные победы. Среди сотоварищей дяди было достаточное число погибших.

Наступление повстанцев продолжалось вдоль побережья в северном направлении. В воспоминаниях о тех событиях звучат названия

хорошо известных курортных мест. 24 февраля повстанцы входят в Туапсе. Встает вопрос о создании управленческих структур, и в результате проходят выборы бюро окружного комитета партии. Оно начинает создавать гражданскую власть, различные учреждения. В состав избранного бюро входило пять человек, одним из которых был и дядя Марк. На его плечи, что вполне естественно, ложится организация выпуска печатной продукции. Дядя занимается выпуском газеты, которая бесхитростно называлась «Фронтовик». Дядя не только писал статьи и редактировал материалы этой газеты, но и ездил на передовые. Там он черпал новые материалы и распространял выпуски газеты. Естественно, что в этом деле у него было несколько помощников. Были и руководители.

Боевые действия в прибрежном районе сопровождались и отступлениями и повторными наступлениями на оставленные населенные пункты. Детальная хронология этих событий известна ныне достаточно хорошо, так же как и имена большинства их участников. Их описание выходит далеко за рамки истории жизни одного человека, и я позволю себе на этом не останавливаться. Все эти события завершились в последних числах апреля 1920 года, когда произошла капитуляция нескольких десятков тысяч белых войск под командованием генералов Богословского и Морозова. Но дяди в это время в составе действующих частей не было. Еще где-то в середине апреля его вызвали в Новороссийск для отчета о проделанной работе и получения новых заданий.

Я коротко приведу совсем мифическую историю, которая произошла именно в это время и которая всегда с уважением рассказывалась в нашей семье. Естественно, что с годами передача всех этих событий сгладилась и упростилась. Тем не менее, где-то в конце 60-х годов я сам читал очерк дяди с воспоминаниями об этой истории. В какой-то день дядя вместе с двумя своими товарищами, а именно Шевцовым и Саблиным, подошли к Майкопу — место достаточно далекое от основной зоны действия на побережье. В Майкопе стоял большой гарнизон, но повстанцы убедили их сдать, уверяя, что вслед за ними наступают войска Буденного. Так втроем они и приняли капитуляцию большой войсковой группы чуть ли не в 30000 человек. В молодые годы я полагал, что за эти действия дядя был награжден орденом, но, скорее всего, я просто ошибался, самостоятельно давая оценку этим событиям. С упомянутыми боевыми товарищами дядя сохранял добрые отношения в течение всей своей жизни.

Саблин был одним из пяти братьев большой семьи Корш-Саблиных. Семья эта имела отношение к известному театру Корша. Братьев Саблиных гражданская война раскидала по разным лагерям. Один из них — большевик — был убит под Петроградом. В его память одна

из пригородных станций Октябрьской железной дороги была названа Саблино. Это название сохранилось до настоящего времени. Второй брат был или анархистом, или эсером. Он был, кажется, расстрелян красными. Еще один брат, занимавший высокий командный пост в Красной Армии, был расстрелян в 1937 году. Где-то в конце 20-х годов Игоря Саблина, с которым был связан дядя Марк, арестовали за связи с эсерами во время описываемых событий. В общей сложности он просидел в лагерях 29 лет и вышел на свободу после XX съезда партии. После освобождения он часто бывал у дяди, где я его не раз видел. Удивительно, но он вышел на свободу совершенно незлобленным.

Судьба Шевцова была более благополучной. Его не арестовывали и даже наградили орденом. Дядина судьба была более благодарной, чем судьба Саблина. В годы репрессий о нем, похоже, просто забыли. В те годы дядя не очень-то и старался напомнить о себе. Все-таки связи с людьми, сидевшими в тюрьме, были достаточно опасными. Тот же Игорь Саблин то поддерживал эсеров, то колебался в сторону большевиков. У других участников тех событий жизненный путь тоже был достаточно сложным. Однако история действий дяди в Причерноморье имела неожиданное продолжение. Повторяю здесь то, что я слышал не один раз от мамы, которой дядя все это рассказал лично.

После XX съезда партии начался этап восстановления истиной истории гражданской войны. В одном из музеев юга страны в те годы научным сотрудником работала некая женщина, которая исследовала эти события. По ее сведениям все подлинные участники этих событий давно уже ушли в небытие. Муж же этой женщины по своему возрасту и общему характеру биографии вполне годился на одну из ролей в описываемых событиях. Ему и были приписаны те действия, которые на самом деле совершил дядя Марк. Дело начало раскручиваться всерьез. Насколько я знаю, этот случай не был единичным. Самозванцев в России во все времена было очень много. И вот на одном из собраний кто-то из стариков сказал «А ведь это на самом деле сделал наш Марчок». Дело так бы и сошло на нет, но вдруг один из участников собрания вспомнил, что «Марчок» жив и живет в Москве. Что было с самозванцем, я не знаю. Скорее всего, дело, если оно и было, просто спустили на тормозах. Но дядю отыскали и пригласили на какой-то очередной юбилей. Он и поехал туда со своей женой — Лидой.

Дядя был счастлив тем, что его вспомнили. Принимали и его, и его жену очень тепло. Путешествие заканчивалось в Батуми. Там в 50-е годы дядя побывал дважды. О батумских событиях я расскажу далее. Здесь же, чтобы закончить с послевоенной поездкой дяди Марка на юг, скажу только, что сильные эмоции не прошли для него да-

ром. В Батуми с ним случился тяжелейший сердечный приступ. В конечном итоге, по приезду в Москву он был вынужден сделать операцию на сердце. Тогда это было внове, и все таких операций побаивались. Тем не менее, дядя набрался смелости и рискнул. Эта операция подарила ему несколько лет жизни. Результатом же поездки дяди на юг стало признание его заслуг, какие-то пенсионные или иные льготы. Этим деталям я не знаю, а к послевоенным событиям его жизни я перейду дальше.

После вызова дяди в Новороссийск он и Саблин были направлены для подпольной работы в город Батуми или, как тогда говорили на русский лад, в Батум. Их задачей было сорвать снабжение врангелевской армии, находившейся в Крыму, которое шло через Батумский порт.

Во время Грузии была независимым государством, во главе ее стояло правительство Ноя Жордании. Это правительство принято называть меньшевистским. Однако по рассказам дяди, дошедшим до меня через маму, строгого деления социал-демократов на большевиков и меньшевиков в Грузии, в отличие от остальной части России, не было. Во всяком случае в годы репрессий многих из тех, кто стоял в Грузии за большевиков, относили к меньшевикам и преследовали. Это было еще одной причиной, по которой дядя Марк долгое время не афишировал свое революционное прошлое.

Батум в тот период находился под властью грузинского правительства. Впоследствии он был кратковременно оккупирован турками. В Новороссийске после эвакуации белых войск остались помещения польского и греческого консульств. Там можно было найти чистые бланки документов и печати. Для дяди изготовили греческие документы, и он морским путем отправился в Батум. Обстановка в городе с точки зрения революционеров была непростой, так как в первых числах мая большинство членов подпольной партийной организации были арестованы. В Батуме, скорее всего, произошла история, о которой всегда с улыбкой рассказывала мама. Правда, мама считала, что эта история произошла чуть позднее в Турции. Но анализ всех обстоятельств говорит в пользу Батума, что, впрочем, не так уж и важно.

Итак, дядя прибыл в порт с греческим паспортом. На трапе парохода надо было предъявлять документы солдатам оккупационных властей. Один из солдат, одетый в английскую форму, очень внимательно присматривался к дяде, а затем поманил его пальцем и отвел недалеко в сторону. Что пережил дядя, нетрудно догадаться. Однако солдат неожиданно с сильным местечковым акцентом спросил: «Скажите, вы, случайно, не сын акушерки мадам Пратусевич из Белой Церкви? Ах, да. Ну, так я хорошо знал вашу маму!» Куда только не заносила судьба людей в эти годы!

Через г. Батум армия Врангеля снабжалась горючим. Дядя и его товарищи решили взорвать один из баков-хранилищ, располагавшихся в порту. Взрыв, по неопытности, организовали плохо. Он не только ничего не уничтожил, но и насторожил местные власти. После этого было решено взорвать большой танкер «Свет», который являлся основным перевозчиком горючего в Крым. Дяде и его товарищам удалось уговорить одного из членов экипажа пронести вместе с едой на танкер взрывчатку и произвести взрыв. Это и было сделано. Танкер горел около трех недель. Его оттащили на внешний рейд, где англичане пытались его утопить путем обстрела. Говорят, что в батумском музее в свое время висела картина под названием «Взрыв танкера “Свет”». Я в этом музее никогда не был и, соответствует ли это истине, не знаю.

После взрыва танкера дядя Марк пытался добраться до Новороссийска на шхуне, но это не увенчалось успехом. Ехать нужно было сухим путем через Тифлис. Туда отправился Игорь Саблин и исчез. В Батум Саблин так и не вернулся, оставив своих товарищей на произвол судьбы. На остаток денег дядя покупает за бесценок дачу в Махинджаури и пытается вести легальный образ жизни.

В 1951 году я в первый раз побывал на Кавказе. Моя туристская путевка заканчивалась под Батуми — в Зеленом Мысу. Затем в 1957 году мы с Галей, только что поженившись, один день провели в Батуми, приехав и уехав из Сухуми морским путем. Побывали мы и в Махинджаури. Имей я тогда информацию об описываемых событиях, можно было бы поискать их следы. Увы! Я ничего этого тогда не знал.

Вся революционная деятельность дяди и его товарищей велась на средства, выданные еще в Новороссийске. Эти деньги подошли к концу. Английские войска к тому времени из города ушли. В дело вступили местные националисты. Грузинское правительство в это время вело какие-то сложные переговоры, затрагивавшие судьбу города. Дядя Марк тоже сделал попытку самостоятельно вести переговоры с одним из генералов. Для этого были нужны деньги, которых у него уже не было. В это же время охранные службы начали поиск московского большевика Марка Саблина. Они объединили в своем представлении двух реальных людей в одного. Дядя, спасаясь, на полученные у кого-то 10 лир срочно уплыл в Турцию, благо от Батуми до турецкой границы по морю всего около 10 километров.

По прибытию в Трабзон дядю тут же на пристани арестовали. По счастью, невероятное совпадение, рядом случайно оказался Игорь Саблин, который исчез из Батуми за четыре месяца до описываемых событий. Саблин и освободил дядю. Прямо как в детективном романе!

Турецкие власти в этот период времени доброжелательно относились к России. В то время внешняя политика России во многом была направлена на поддержку турецкой революции. Внешняя сто-

рона жизни дяди в Турции была достаточно проста — встречи с товарищами по работе, литературные диспуты и т. п. Чем он еще занимался, неизвестно. В принципе, возможно предположить много вариантов его деятельности, так как в Турции одновременно происходило много событий. Это и продолжение младотурецкой революции, и серия реформ и обмен населением. Греки из Каппадокии в Малой Азии переселялись в Европу, в материковую Грецию, а взамен шел встречный поток турок из Европы.

На Принцевых островах и в ряде других мест в районе Константинополя сосредоточились остатки врангелевских войск. Различных вариантов деятельности для посланцев большевистской Москвы было более чем достаточно. В январе 1921 года группа русских, к которой принадлежал дядя Марк, распалась. Одна часть, к которой принадлежал и Игорь Саблин, решила продолжать заниматься старыми делами и уехала в Константинополь. Оставшимся же грозил арест. Им пришлось морским путем возвращаться в Батум на свои нелегальные квартиры. Оттуда дядя через несколько дней на фелюге добрался до Новороссийска. Его практически сразу же направили в Ростов, а затем и в Москву. Это было в начале 1921 года. На этом гражданская война для дяди закончилась.

Время гражданской и Отечественной войн — это периоды наиболее активной и успешной деятельности дяди. Он проявлял себя в этих исключительных обстоятельствах смелым, решительным, хорошим товарищем. Оказался он и удачливым. Все-таки начало 20-х годов, наверно, остается самым деятельным периодом его жизни. Надо сказать, что даже сейчас не все о деятельности дяди в этот период нам известно. В силу разных очевидных обстоятельств ее подробное описание невозможно. Отмечу только, что, знакомясь с его революционной работой того времени, поневоле замечаешь, как быстро все готовилось, как поверхностно организовывались очень ответственные и опасные мероприятия. Так и хочется сказать, что это был некий дилетантизм. Возможно, что частично это замечание будет справедливым. Но ведь деятелей этого периода никто специально не готовил, многое возникало на ходу, как импровизация. Они учились и набирали опыт по мере выполнения заданий. По счастью, и противоположная сторона особой подготовки не имела. Иными словами, борьба все же шла на равных.

Недавно, зимой 2005 года, по одному из каналов Центрального телевидения была передача, посвященная эсеру Бломкину. Тому самому, который убил в 1918 году немецкого посла Мирбаха. При всей несхожести характеров в его судьбе и судьбе Марка просматриваются четкие параллели. Это заметил не только я, но и мой друг Саша Перельман, который хорошо знал дядю и знаком с историей его жизни.

И Блюмкин, и дядя были евреями, окончившими гимназию. Оба кинулись в революцию. Блюмкин сблизился с московскими поэтами-футуристами. Дядю это после возвращения в Москву тоже не минуло. Оба пошли в Красную Армию. Оба принимали участие в романтических авантюрах. У дяди — это взятие втроем города и взрыв танкера «Свет». У Блюмкина — убийство посла. Зная характер дяди, я не могу допустить даже мысли о том, чтобы он пошел на личный террористический акт, связанный с убийством. Слишком добрым человеком он был. Но это уже разница характеров, а не судеб!

И Марка, и Блюмкина судьба и партийные поручения занесли в Турцию. Правда, занимались они там разными делами и в разное время. В дальнейшем у Марка хватило ума и воли отойти от этой деятельности, Блюмкин же с увлечением ее продолжал и, в конечном итоге, погиб. Сходство это чисто внешнее, но, тем не менее, достаточно очевидное. Энергичная молодежь часто замечала только романтическую сторону революции и окуналась в нее. Способов же реализации революционных порывов было не очень много, и дальнейший путь зависел от характера человека и многочисленных случайностей. Выбор партии во многом тоже был случайностью.

Позволю себе привести еще одну аналогию. В главе, посвященной молодости отца, я писал о том, что один из друзей семьи Аркадий Израилевич Бронштейн, врач по специальности, также побывал в Персии на эпидемии чумы. Брат Аркадия Израилевича пошел в революцию, и, так же как и дядю Марка, судьба занесла его с партийным поручением в белый Крым. Он был пойман и в составе большой группы большевиков повешен в Ялте. В этом городе возле верхней станции канатной дороги есть обелиск с фамилиями казненных во время гражданской войны. Фамилий этих немало. Среди них есть и фамилия Бронштейн, в чем я сам убедился, побывав в этих местах. Таким образом, и личные судьбы и география деятельности молодежи в годы гражданской войны были намного более похожи, чем может показаться на первый взгляд.

Итак, в 1921 году дядя Марк вернулся в Москву и ждал решения своей судьбы в вышестоящих инстанциях. Ему было тогда всего 24 года, но он обладал большим жизненным опытом и вполне сформировавшимся характером. О связях с семьей он, скорее всего, в это время не очень-то и думал. Согласно рассказам моей мамы, ее старший брат — Ионя — шел по Арбатской площади в Москве. Вдруг он увидел в проезжающей мимо открытой машине дядю Марка. Последний, судя по рассказам, ехал на прием к наркому иностранных дел Чичерину с докладом о своих делах. Дядя Ионя буквально выдернул Марка из машины и, как говорится, вернул в лоно семьи. Думаю, что рассказ этот несколько упрощает реальную ситуацию. Выдернуть из

машины и переубедить в короткое время человека задача невыполнимая. Скорее всего, были только случайная встреча и последующие беседы. Ну, а решение младший брат все же принимал самостоятельно и после определенных раздумий.

Дальнейшая судьба дяди Марка была решена создателем службы внешней разведки Я. Берзиным. Он предложил дяде выбор: или работа за рубежом, или же служба в Москве. Дядя выбрал последнее. Восстановить ход его мыслей сейчас уже не представляется возможным. Можно предполагать, что он пресытился подпольной работой. Можно думать, что ему были видны многие ее отрицательные стороны. Может быть, было и что-то иное. Остается только гадать. В любом случае ему было ясно, что военные действия уже закончены и столь острой необходимости в подпольной работе, как было ранее, уже нет. Впоследствии почти все, кто работал с Берзиным, стorerели в пламени репрессий. Иногда они затягивали в эту воронку и всех своих близких. Так что, не предвидя этого, дядя принял поистине судьбоносное решение. Кто знает, может быть, он кое-что предчувствовал или о чем-то догадывался. Поди теперь угадай!

Итак, дядю направили на работу в располагавшуюся в Москве международную организацию. Мама всегда говорила, что это был Коминтерн. Сын же дяди, мой двоюродный брат Альдик, называет эту организацию Профинтерном. Как она называлась на самом деле, неважно. На существо дела и на факты, мною излагаемые, это никакого влияния не оказывает.

Дядю направили работать в пресс-бюро этой организации. Очень скоро на работе дядя познакомился с Софьей Марковной Фрумкиной. Если не ошибаюсь, она была в этой организации переводчиком. Софья Марковна — Софа, как ее всегда за глаза называли в семье — происходила из богатой семьи. Ее отец был фабрикантом, имел собственное издательство. Она была хорошо образована, знала несколько языков. Мама всегда говорила, что Марка и его товарища представили ей как иностранных коммунистов. Марка она считала сербом. Была ли это шутка, или некая конспирация, теперь не установить. Во всяком случае, мама не раз повторяла, что, узнав, кем был дядя на самом деле, она испытала большое разочарование. Их роман был быстротечен и буквально через несколько дней они поженились.

По словам моей матери, дед любил повторять: «Надо же было случиться революции, чтобы один мой сын женился на дворянке, а другой на купчихе!» Сын этой «купчихи», Юра, уехавший перед смертью в Германию, приезжал в Россию в декабре 1998 года. К этому времени его взгляды на собственное происхождение резко изменились. Поэтому, когда эта фраза деда всплыла в нашем разговоре, он вдруг, что называется, «стал на крыло» и начал доказывать, что его мать Со-

фа не из простых купцов, а из очень знатного рода. В общем, что-то здесь есть, так как мама при жизни не раз посмеивалась над гонором Софы, которая считала свой род от царя Давида. Потомки этого еврейского рода не должны были вступать в брак с более низкими по происхождению людьми, даже евреями.

Вскоре, в середине лета 1922 года у Марка и Софы родился сын — мой старший, ныне уже покойный, двоюродный брат Юра. Сняли дачу. На ней бывала и мама. Юра рос не просто, до трех лет не разговаривал. Зато впоследствии он стал очень разговорчивым. Судьба была к нему несправедлива, и жизнь его сложилась очень сложно. Надо думать, что одной из причин этого было его тяжелое детство, о чем я расскажу несколько позже.

Дядя проработал в пресс-бюро с 1921 по 1923 год. Одновременно он поступил учиться на механико-математический факультет Ломоносовского института. Этот образовательный процесс он не закончил. Сколько лет он реально посещал занятия, неизвестно. В это же время он получил комнату в Гусятниковом переулке (позднее это был Большевикский переулок). Комната была в квартире бельэтажа того дома, который принадлежал Фрумкиным. В этой комнате с перерывом на войну он прожил всю жизнь до самой смерти. В 60-70-е годы я часто бывал здесь, и с ней у меня связано множество воспоминаний. После войны, когда надо было рассылать поздравительные телеграммы, мой отец (а обычно это была моя обязанность) по старой памяти послал телеграмму в Гусятников переулок. Естественно, она вернулась обратно, так как этого адреса уже не существовало.

После рождения Юры сняли дачу в Немчиновке. Именно в это время мама стала появляться у своих братьев в Москве. Когда это было в первый раз и сколько было таких приездов, я не знаю. Помню только, что мама много раз, рассказывая о дороге в Киев, упоминала Конотоп как большую станцию на границе Украины и России. Ну, а из Петербурга дорога в Киев через Конотоп не проходит.

Где-то в 60-70-х годах мне довелось ехать из Киева в Москву. Увидел я и Конотоп — большую узловую станцию. Я вспомнил о столе из «Пропавшей грамоты» Гоголя. Этот стол, за которым сидела нечисть, был длиной от Конотопа до Киева. Курьерский поезд на Москву отправлялся из Киева часов в пять вечера и прибывал в Конотоп утром следующего дня. Так что расстояние, упоминаемое Гоголем, немалое.

По рассказам мамы в те времена, о которых идет речь, поезда тратили на дорогу из Киева в Москву по несколько суток. В поезде заводились интересные знакомства. Мама говорила, что в результате такого дорожного знакомства ей предложили выйти замуж. Новый знакомый хорошо рисовал, и мама не раз показывала мне его автопортрет. За несколько лет перед смертью она старательно уничтожила почти весь свой архив, но этот

портрет, как и многие другие памятные мне интересные документы, сохранился. В свое время я был очень огорчен уничтожением маминого архива. Теперь же, понимая правильность такого поступка, я тоже начал постепенно уничтожать ряд своих архивных бумаг. Добавлю к сказанному, что, как я уже писал, недалеко от Конотопа родился и мой дед по отцу Николай Прокофьевич.

Начиная с 1923 года дядя Марк связан с тогдашней новинкой — радио. Он готовил первые радиопередачи, писал частушки, различные агитационные материалы и так далее. Игорь Саблин возвращается в Москву, и дядя вместе с ним печатает в течение года в журнале «Смена» роман «Дело Эрве». Содержание этого романа основывается на событиях, связанных с деятельностью его авторов в Батуме и в Турции. Вскоре, однако, Саблина арестовывают. Я уже говорил, что с небольшими перерывами он провел в разных лагерях и тюрьмах 29 лет, практически основную свою жизнь, вышел на свободу после XX съезда, и я несколько раз встречал его в доме у дяди во время своих приездов в Москву.

Начиная примерно с 1924 года дядя сотрудничает в разных журналах, работает сменным штатным фельетонистом в газете, снова связан с радио. Он печатает рассказы, фельетоны, пишет рецензии на различные, выходящие в свет произведения, такие, как романы Ю. Олеши и Бруно Ясенского. Писал дядя и для спортивной газеты. Оба мои дяди были футбольными болельщиками и всегда традиционно болели за московский «Спартак».

Я знаю, что после смерти дяди Марка его младший сын разыскивал в библиотеках и архивах сочинения дяди, относящиеся, в частности, и к этому периоду его жизни. Личного архива, увы! после дяди не осталось. Попытаться собрать таким образом все произведения дяди — задача в достаточной степени безнадежная. Особенно безнадежной для непрофессионала была бы попытка отыскать сочинения дяди дореволюционного периода, написанные им для газет во время гражданской войны в Причерноморье и многое из того, что было опубликовано во время войны во фронтовых газетах. Приходится смириться с тем, что очень многое из его произведений безнадежно пропало.

Конечно, содержание произведений этого периода, и не только принадлежащих моему дяде, безнадежно устарело. Это касается и газетно-журнальной текучки и произведений крупной формы. Спрашивается, кого ныне взволнуют «Месс Менд» Мариетты Шагинян или «Человек меняет кожу» того же Ясенского. Время ушло! Несколько лет тому назад я прочитал в одном из центральных журналов перевод романа или повести Владимира Виниченко. Сейчас это имя, скорее всего, никому ничего не говорит. А ведь он был не только известным писателем, но и крупным политическим деятелем — чуть ли не главой правительства Украины в

петлюровские времена. Именно по этой причине его и не печатали после революции, хотя в своих пристрастиях он ориентировался на социалистов. После гражданской войны он оказался в эмиграции во Франции, где и опубликовал упомянутое мной произведение, кажется, на украинском языке. Написано крепким профессионалом, тематика по тем временам актуальная, но ныне это уже никого не волнует. Такова судьба огромного числа литературных произведений.

Я уже писал об огромном числе периодических изданий, в которых сотрудничал дядя. Детально перечислять их не имеет смысла. Такая литературная поденщина характерна была в те времена для большинства писателей. Достаточно вспомнить биографии Ильфа, Катаева, Булгакова, Эренбурга, Маяковского и многих, многих других. Чтобы вырваться из этого круга, надо было иметь огромный талант и счастливую судьбу. Некоторые находили и другие пути самореализации. Одни начинали активно заниматься переводческой деятельностью. Через это прошли многие ведущие писатели той эпохи. Переводили не только классиков, что было политически нейтральным занятием. Переводили современных авторов, переводили и «народных писателей» союзных республик. Переводили, часто не зная языка, с подстрочников, сделанных другими людьми. Многие известные произведения писателей малых народов СССР на самом деле творения рук их переводчиков.

Мне довелось услышать по телевидению рассказ об одном известном поэте, имя которого я запомнил. Он переводил на русский язык стихи Джамбула Джамбаева. Этот человек в конце жизни откровенно писал, что все, якобы созданное Джамбулом, это на самом деле творение рук переводчика.

Другой путь был писать за других. Это тоже не новое явление. Хорошо известно, что рукописи 13 или 15 наиболее известных романов Александра Дюма на самом деле написаны Огюстом Марке и куплены у него Дюма. Известно и то, что Николая Островского тоже «подправлял» известный литератор. Такие вещи утаить очень трудно. Недаром имеется даже популярный после войны английский роман «Невидимка за работой». Но там речь идет о политической литературе, о тех людях, кого сейчас называют спичрайтерами.

Дядя знал все эти пути. Помню, как во время одного из своих приездов Ленинград он говорил мне, что в любой редакции должен быть «дегустатор», то есть человек, который по тексту может установить его реальное авторство. Дядя это знал, но таких путей для себя не выбрал. Мама не раз мне говорила, что когда в Москве появился младший брат Валентина Катаева Женя, то сам Катаев, который, как известно, обладал непростым характером, очень опасался, что своими произведениями его младший брат умалит имя Катаева. Поэтому он

запретил ему использовать эту фамилию в качестве автора. Для того же, чтобы «набить руку» в литературном труде, Катаев стал искать своему брату литературного наставника. Его выбор пал на дядю Марка, с которым оба брата Катаева были дружны. Дядя Марк отнесся к этому прохладно, и брат Катаева перешел на обучение к Ильфу. Что вышло из этой пары — Ильф и Петров, знают все. Какова доля истины в этом рассказе, я установить не могу. Скажу только, что мама рассказывала об этом еще в те годы, когда произведения Ильфа и Петрова были под полузапретом. Так что каких-то «корыстных» соображений я в этом ее рассказе не вижу. Более того, контекст рассказов мамы был иным.

Она всегда говорила и мне, и моей жене о сложностях характера дяди, о том, что вспышки энергии чередовались у дяди с периодами пассивности и даже лени. В качестве примера она и приводила случай дядиного отказа работать с братом Катаева. Дяде, по ее словам, просто не хотелось тратить на это свои силы. Рассказ мамы сильно стужен. Это и понятно. Она в таких беседах всегда имела в виду дополнительные воспитательные цели. Ну, а то, что она опасалась того, что младшее поколение (брат, я, наши дети) могут унаследовать такие вспышки «безволия», для меня никогда не было секретом.

Естественно, дядя был лично хорошо знаком с большинством литераторов того времени. У него дома бывали и Пастернак, и Катаев и многие другие. Уже в послевоенные годы во время своих наездов в Ленинград дядя рассказывал о некоторых знакомых из литературного мира. Мне лично запомнились его рассказы о Константине Федине, которого дядя считал очень интеллигентным человеком. Были и рассказы с отрицательными характеристиками, но я о них умолчу. Я писал о прозаической деятельности дяди в довоенные времена. Конечно, он писал в это время и стихи. Кое-что даже печаталось, но далеко не все. С моей точки зрения его писательская трагедия была в том, что он обладал лирическим талантом, а такие стихи те времена были не очень востребованы.

Личная жизнь дяди Марка в предвоенные годы была очень сложной. Очень скоро Софа ушла от него и уехала в Китай с каким-то военным аташе или советником, точно не знаю. Впоследствии она вернулась в СССР и вышла замуж за итальянского коммуниста по имени Маринка. Вот до чего доводит иногда знание языков!

Ее новый муж где-то в 20-х годах совершил террористический акт в Италии. Он застрелил мэра какого-то крупного североитальянского города и был заочно приговорен к смерти. Всю жизнь он скрывался в Москве, работал на российском радио, вещавшим на Италию, страшно тосковал по родине. Когда ему, в конце концов, было позволено вернуться в Италию, он срочно кинулся туда и во время пер-

вой же поездки умер от инфаркта. От нового брака родилась девочка — Фиора, то есть цветущая. Софа в старости неизлечимо заболела и, не желая быть никому обузой, покончила жизнь самоубийством.

Обо всем этом я пишу понаслышке, так как с семьей Софы у нас никогда на моей памяти отношений не было. Мы все знали через моего двоюродного брата Юру. Юру она, кстати, забрала у дяди после своего возвращения в Россию. Так что среднюю школу мой брат заканчивал, живя в семье матери. Однако, когда Софа бросила дядю, она оставила на его попечении малолетнего сына. Впоследствии нянечка рассказывала моей жене, что, когда Юре было полтора года, он уже жил без матери и его вместе с домработницей привозили в Белую Церковь. Однако там он не прижился. В судьбу Юры вмешался старший брат мамы. Он помог Марку найти домработницу, снять дачу и, вообще, сделал максимум возможного и доброго. Чуть позднее, когда безнадежно заболела бабушка, дядя Ионя организовал переезд своих родителей из Белой Церкви в Москву. Бабушку спасти не удалось, но положительная роль старшего маминного брата сказывалась во всем.

Дядя Марк вскоре женился на Розе Марковне Говенман. У них в декабре 1928 года родился сын Роальд — Альдик. Дядя рассказывал, что он и Роза Марковна никак не могли решить, как назвать ребенка. Договорились, что выйдут на улицу и первое услышанное ими имя будет именем их сына. Так и сделали. В те дни погиб Роальд Амундсен. Вот в честь него и назвали моего брата. Была ли эта история на самом деле, или этот рассказ шутка дяди, я могу только гадать. Роза довольно быстро рассталась с моим дядей. И у нее, как и у Софы, был еще один ребенок в последующем браке.

Если первую жену дяди я знал только по рассказам, то с Розой Марковной был знаком. Она хорошо относилась ко мне, была дружна с моей дочкой Катей. Мама, конечно, по-разному относилась к истории этих браков и к обеим женам дяди. Однако она старалась воздерживаться от оценок. То же самое сделаю и я, тем более, что никого из действующих лиц или лиц, их хорошо знавших, уже нет в живых..

Можно обратить внимание на другое, достаточно нетипичное обстоятельство. Как бы ни распалась семья, женщина обычно забирает детей с собой. Случаи, когда дети даже на время остаются на попечении отца, редки. Обе жены дяди Марка, уходя, оставили ему своих сыновей. Наверное, в его характере было что-то такое, что побудило их поступить таким образом. Это только говорит в его пользу.

Для воспитания младшего сына в дядин дом пришла домработница Лида. На ее плечи на долгие годы легло все домашнее хозяйство дяди Марка. Она занималась повседневно бытом его младшего сына, которого очень любила. Со временем она стала третьей женой дяди, и

они долго и счастливо прожили вместе до его смерти. Своих детей у них не было, и Лида очень заботилась не только о детях дяди Марка, но и об его внуке. Семейные перипетии сказались на дяде. Он, как писалось в документах, в эти годы «испытал сильное нервное потрясение». Это и не удивительно. В эти же дни он почти незаметно вышел из партии. В конечном итоге, это осложняющее жизнь обстоятельство на самом деле спасло его жизнь, о нем просто забыли.

Дети Марка росли. Юре было совсем не сладко, но ничего изменить было нельзя. На школьные каникулы, вероятно 1939 года, дядя прислал обоих братьев в гости к нам в Ленинград. Они приехали одни, без сопровождения взрослых. Мне было 8 лет, Альдику, соответственно, 10, а Юре — неполных 17. Помню, мы пошли втроем гулять. Юра пошел вперед, и вдруг мгновенно разгорелась драка между ним и гулявшими на набережной мальчишками из 91 дома. Помню, как Юра выхватил у кого-то лыжную палку и размахивал ею. В конце каникул Юра схватил ангину и лежал на диване. Нянечка была на кухне, а мама на ночном дежурстве. Мы с Альдиком, наскучив играть, стали брать деревянные кубики и кидать ими в Юру. Он, в конце концов, взорвался, схватил кубик и со страшной силой кинул мне в голову. Кубик рассек мне кожу до крови. Я потом гордо говорил, что мне проломили голову. Ничего страшного не случилось. Наша с Альдиком вина была явной. Позвали Леонида Рувимовича Перельмана. Он наложил мне на голову классическую шапку Гиппократов, отругал Юру, как взрослого. Очень хорошо, что папа в это время был в Иркутске, а мама на дежурстве. Иначе так спокойно для Юры это бы не кончилось.

Весной 1940 года Юра закончил среднюю школу. Он увлекался историей и имел какие-то зыбкие планы на будущее. Как всегда, все решил наш добрый гений-организатор дядя Ионя. Надо идти в военное училище, а не болтаться, и на неопределенное время попасть рядовым в армию, сказал дядя. В это время в Ленинграде открылась Военно-морская медицинская академия. Дядя со всей решительностью заставил Юру поступить в эту академию. Он рассуждал просто: скоро война, надо быть офицером. Кроме того, желательнее получить специальность, пригодную на все случаи жизни. А это только медицина. Простой и ясный выбор.

От периода поступления Юры в академию остались забытые им у нас книги по истории, в том числе и знаменитая история России, написанная Покровским. Эти тома долго были редчайшим, полузапрещенным изданием. Впоследствии Юра отказался забирать у нас эти книги. Я был очень этому рад, так как книги Покровского я очень люблю. Второй памятью об его экзаменах был прожженный обеденный стол. Юра готовился гладить брюки и включил электрический

утию. В это время по коридору проходила соседка Надежда Вербицкая. Юра в молодые годы был страшный бабник, дело, по счастью, закончилось только прожженным столом. Хорошо, что не произошел больший пожар.

В академии Юра размещался в кубрике, окна которого выходили на тогда еще не засыпанный Введенский канал. В выходные дни мы часто подходили к его окнам, говорили с ним через форточку, вызывали к проходной. В городе он бывал не часто. Учился он хорошо: он ведь был очень способным человеком. Чисто же воинская служба давалась ему с трудом. Однажды он забыл противогаз в туалете. Затем его кто-то случайно болезненно задел по месту прививки, и он полез в драку. За первый месяц учебы он набрал, по его же рассказам, 30 нарядов вне очереди. Своеобразный рекорд, если вдуматься. В дни редких увольнений он приходил к нам. После зимней сессии курсантов повели в Александрийский театр на «Фландрию». Юра взял меня с собой. Мы опоздали, да и вообще у нас были плохие места. Все первое действие мы провели на галерке, откуда почти ничего не было видно.

В Москве Юра ухаживал за девушкой бразильского происхождения, которую звали Сатва. Ее родители были связаны с Коминтерном. Эта девушка была на каникулах в Ленинграде и присутствовала на том же спектакле. Юра ее нашел, быстренько сдал меня на руки своему сокурснику в партере и мгновенно исчез. Меня это устраивало. Мне было хорошо видно и слышно. Юрин приятель уделял мне ровно столько внимания, сколько было нужно. Однако, когда спектакль кончился, Юры около меня не оказалось. Он появился только, когда кончали разбирать пальто. Естественно, такие происшествя всегда вызывали длительные беседы родителей с провинившимся. Увы! Зная его характер, могу сказать, что эти беседы были бесполезны, хотя по своей натуре Юра всегда был добрым парнем. После окончания школы Юра навсегда ушел из семьи дяди. На долгое время его жизнь оказалась связанной с Ленинградом, но настоящим членом нашей семьи он не стал, хотя бывал у нас часто.

В годы репрессий 30-х годов пострадал ближайший друг дяди Марка — Сергей Молчанов. Во время следствия по делу о «меньшевистском подпольном центре» один из арестованных, не выдержав, сказал, что все документы этого центра, которых не существовало в природе, находятся у Сергея. Сергея арестовали, жестоко избивали, устраивали инсценировки расстрелов, держали босыми ногами на холодном льду. Сергей все это выдержал и не сломался. Далее в его судьбу вмешалась Роза, бывшая вторая жена дяди. Он кинулась по всяким организациям и, наконец, добралась до самого Вышинского. Вышинский в то время только-только приступил к своей работе в качестве прокурора. Ему надо было составить о себе положительное впе-

чатление. И вот, о чудо! Сергея отпустили. Но он не был окончательно оправдан. Ему было запрещено жить в больших городах. Долгое время перед войной он практически нелегально жил в доме у дяди Марка. Сошло!

Не надо удивляться. В те годы было много удивительных историй. В послевоенные годы мама работала с одной женщиной, муж которой, скрываясь от ареста, уехал в Киев и сменил фамилию. В результате семья, в которой рос сын, прожила в разных городах с тайными встречами и ничего не знающим ребенком несколько десятков лет.

Вот так и подошли мои дяди к началу войны. Как они жили в войну и после нее, я расскажу после того, как окончу рассказ о жизни нашей семьи в довоенные годы.

Жизнь мамы после окончания гимназии и до ее замужества

Революция застала маму ученицей гимназии. В мужских гимназиях до революции учились 8 лет, а в женских — 7. Мама в своей автобиографии писала, что окончила гимназию в 1920 году. Ей в то время было 17 лет. Она часто повторяла, что на самом деле закончила только 6 классов гимназии. Что за учеба была в гимназии во время революционных потрясений на Украине, понять трудно. После окончания учебы в течение двух лет мама работала инструктором по дошкольному воспитанию. Она никогда не рассказывала о реальном содержании ее работы в этот период.

После окончания гражданской войны мама стала ездить к братьям в Москву. Дед продолжал преподавание. Он вел занятия на курсах по ликвидации неграмотности. У меня сохранилась грамота, которая была выдана деду за эту работу. Дед учил грамоте биндюжников, то есть извозчиков-тяжеловозов. Грамота написана на украинском языке. Какому языку учил дед — русскому или украинскому — я просто не знаю.

Надо полагать, что и бабушка тоже продолжала свою деятельность. Медицина, в том числе и родовспомогательная, нужна всегда и везде. В конце концов, мама приехала в Москву. Скорее всего, это было в 1922 году. Она хотела поступить в гуманитарный вуз. Кажется, это был Брюсовский (литературный) институт. То ли она опоздала с приездом, то ли не смогла поступить, но только она осталась в семье дяди Иони без учебы и без работы. Она много ходила по театрам, различным литературным диспутам, завела множество интересных знакомств.

Мама всегда очень интересно рассказывала о театральных постановках того времени. Где-то ее дорога пересекалась и с Маяковским. Скорее всего, здесь свою роль сыграла деятельность ее брата Марка.

Стихи и записки мамы тех лет говорят о том, что она изрядно тосковала по теплой Украине. Там остался и ее поклонник, будущий академик Вул. Что-то у мамы с ним тогда разладилось. Это также влияло на ее настроение.

Из рассказов мамы о том периоде ее жизни помню рассказ о писателе, кажется, Владимире Гольдшмите. Судьба занесла его на Камчатку, чуть ли не через Америку. В этих краях он познакомился с очаровательной и очень способной камчадалкой и привез ее в Москву. Семейная жизнь у них не заладилась, и новоиспеченная москвичка, уйдя от своего мужа, поступила домработницей в какую-то богатую семью. Жила она при кухне. Дама она была интересная, и на кухне постоянно околачивались Маяковский, Есенин и другие. Что испытывали при этом хозяева, никого не беспокоило.

Дядя Ионя разумно опасался за сестру и поэтому увез ее в Петроград. Там он решительно определил маму в медицинский институт, как впоследствии и своего племянника, моего двоюродного брата Юру. Поступить туда было непросто. То ли занятия уже начались, то ли влияла неоконченная гимназия, или же, скорее всего, социальное происхождение. Не знаю уж, как дядя этого добился, но мама поступила в ГИМЗ по записке Лилиной, которая занимала крупную должность в городском образовательном комитете. Лилина была женой, может быть, в то время уже бывшей, председателя Петросовета Зиновьева. Так дядя поставил крест на всех литературных и театральных планах своей сестры и определил ее профессию на всю жизнь. Насколько я знаю, мама об этом не жалела. Так судьба свела моих мать и отца на одном и том же курсе ГИМЗа.

ГИМЗ — это Государственный институт медицинских знаний. Он был преобразован в самостоятельный институт в марте 1920 года из медицинского факультета Психоневрологического института, возникшего в 1907 году. Сейчас это Санкт-петербургская государственная медицинская академия им. Мечникова.

Во время учебы и долгие годы в дальнейшем мать жила в комнате дяди Иони в доме на Мойке, 99, в большой квартире. Эти дом и квартиру я опишу немного позже. Жила ли мама там одновременно с дядей и его женой, или те уже к тому времени окончательно уехали в Москву, я сказать не могу. С уверенностью могу утверждать только то, что со временем комната, в которой жила мать, была сменена на другую комнату в той же квартире — большую и более светлую. Мебель осталась от старых хозяев. До революции квартира принадлежала богатому английскому фабриканту. Хозяин уехал в Англию, оставив мебель, а возможно, и другое имущество. В квартире была чудесная спальня: две большие полуторные кровати светлого дерева с прикроватными столиками, бельевым шкафом и трельяжем. Одна из кроватей вме-

сте со столиком до сих пор у нас. На кровати сейчас спит внук. Вторая кровать и остальная часть гарнитура были в московской комнате дяди. Нравы в те годы были простые. Управдом, бывший моряк, зашел к матери, которая жила с двумя подругами, и сказав: «Студентам надо заниматься», отдал им два письменных стола красного дерева — большой, так называемый «мужской», и маленький — «женский». За этим маленьким столом я кончил школу и почти весь университет. Когда мы получили новую квартиру, то по наивности избавились от этой мебели.

Мама жила вместе с двумя подругами-сокурсницами — провинциальными еврейскими девушками. Одну из них звали Рива, а другую Хава. Вероятно, дядя как-то оформил жилищные документы на маму, т. к. впоследствии площадь осталась за ней. Одна из этих девушек, Гинзбург, скорее всего по мужу, в послевоенные годы была профессором, заведующей кафедрой хирургии в Донецком (Сталине, Юзовка) медицинском институте. Мать с ней регулярно переписывалась всю жизнь. Сын профессора Гинзбург был физиком. Он работал в Донецком филиале АН УССР. Как-то он был у нас в гостях. Родители пытались нас свести потеснее. Я к тому времени был молодым профессором, а гость держался со мной весьма почтительно, чего я не люблю. Так что из наших контактов ничего не вышло. Примерно по той же причине мы не смогли поддерживать постоянные контакты с моим троюродным братом Борей Зив. Я уже говорил, что мать избегала контактов с родственниками. Тем не менее, после войны и смерти отца она вдруг поехала вместе со мной и моей женой в гости к своей двоюродной сестре, которая жила в нашем городе. Ее сын Боря преподавал математику в школе. Впоследствии было несколько звонков. Затем все кончилось. Все координаты были у мамы, и с ее смертью связь оборвалась. Уже закончив эту рукопись, я нашел Борю через Интернет. Ему 80 лет, он на пенсии. Вскоре уезжает насовсем в Германию. От встречи он уклонился.

Примерно в 1968 году судьба занесла меня в Самарканд. Я был оппонентом в Ташкенте и мой любимый ученик Эркин Абдукаримов, заканчивавший в это время в Ленинграде свою кандидатскую диссертацию, устроил мне поездку в Ташкент к своим родственникам в Самарканд. Семья Эркина занимала там привилегированное положение: братья были проректорами двух вузов. Меня встретили с восточным размахом, пригласили ряд известных городских персон. Среди них оказался и врач-хирург, учившийся в Донецке у проф. Гинзбург. Он много, подробно и хорошо рассказывал мне о маминной подруге.

Вторая подруга мамы навсегда осталась в Ленинграде. До войны мы бывали у них в гостях. С ее сыном Марксом мы впоследствии

несколько раз встречались. Как-то даже были на Новый год в одной компании. Марксен (его фамилия Гаухман) стал известным художником. О нем неоднократно писали в городских газетах. Его квартира и мастерская были на площади Льва Толстого. Начиная с середины 70-х годов, мы с ним не сталкивались. Несколько лет тому назад я прочел в газетах о его кончине.

Мать в институте была близка к комсомольской организации, но в комсомол ее не принимали из-за социального происхождения. Она сотрудничала с институтской многотиражкой. Несколько сохраненных номеров этой газеты я видел в послевоенные годы. Мать писала стихи для газеты, различных вечеров, для скандирования на демонстрациях. Это было ее любимым, как сейчас говорят, хобби всю жизнь. У нее было много друзей, связанных с подобной же общественной деятельностью.

Как она училась, я толком не знаю. Я уже говорил, что на первом курсе у нее были неприятности с физикой, которую она в гимназии не изучала. Жила она и, вероятно, ее подруги, впроголодь. Скорее всего, они получали какую-то помощь от своих родных. Мать часто рассказывала о каких-то талончиках, на которые можно было съесть или суп, или второе. Рассказывала она и о том, как они с отцом решили покурить и пошли в какую-то столовую более высокого ранга. Под ехидные улыбки отца она заказала некое незнакомое кушанье, прельстившись его татарским названием. Оказалось, что это вареные конские яйца.

База ГИМЗа частично располагалась где-то в конце проспекта Обуховской обороны. Туда надо было ехать на трамвае от главного здания, которое тогда располагалось вблизи Московского вокзала. В те годы плата за проезд в трамвае зависела от расстояния. Я помню по рассказам матери о каких-то 7 копейках, которые можно было потратить или на трамвай, или же на еду. Летом мать ездила, как я понимаю, в Белую Церковь.

Мой отец умер в 1954 году. Мать много раз повторяла, что они прожили вместе 29 лет. Получается, что поженились они в 1925 году. Однако по ее стихам получается, что это был 1926 год. Отец был откомандирован на учебу в 1923 году. Мать зиму 1922 года провела в Москве, а в институт поступила осенью того же 1922 года. Родители окончили институт в 1927 году. Получается, что реально вместе они учились 4 года, а познакомились всерьез или на 2-м, или на 3-м курсе. Когда отец появился в доме и когда мать разъехалась со своими подругами, я не знаю. Может быть, они часть времени прожили все вместе.

О годах их жизни перед окончанием ГИМЗа я знаю очень мало. Знаю только, что в это время мать тяжело болела дифтеритом. Отец сам вкалывал ей сыворотку, готовил еду. При этом он не знал, что

кто-то из девочек забыл в топке печки вилки, и крепко подпалил их. По рассказам матери, когда они поженились, то весь курс ждал, что из этого получится. Оба они на первой же сессии завалили по экзамену. Какой экзамен не сдала мать, я не помню. Отец же завалил свою любимую эпидемиологию. Ему надо было рассказать о методе докзательства того, что некое заболевание передается только через кожу. Отец методики не знал, но будучи находчивым человеком сказал: «Надо взять собаку и содрать с нее кожу». Он вызвал смех и получил свою двойку.

Отец вообще был находчив и решителен. Так ему надо было как-то на трупе показать правильную последовательность действий при удалении фаланги пальца. У отца были какие-то свои проблемы, он торопился. Поэтому он быстренько и аккуратно просто выломал у трупа палец и этим рассчитался с экзаменатором. Мать рассказывала, что однажды, в скользкую погоду, отец помог перейти улицу некоему старичку. Тот вежливо снял шляпу и представился, назвав свою фамилию и сказав, что он профессор ГИМЗа. Это был, кажется, ботаник, на лекции которого никто не ходил. Отец, после того как профессор представился, тоже снял шапку, назвал свою фамилию и добавил: «Ваш студент». Хотя совместная жизнь родителей началась с 1925 или 1926 года, более подробный рассказ о ней я начну с момента окончания ими института, то есть с 1927 года.

Моя мать хорошо знала литературу, прекрасно писала и прозу, и стихи, любила и знала театр. Как все учившиеся в гимназии, она отлично знала гимназический курс за годы учебы, помнила огромное количество стихов, подчас очень длинных, любила декламировать, например, полностью «Князя Курбского» Толстого или «Сакья-Муни» Мережковского.

Она много запомнила в период гражданской войны на Украине. Я слышал от нее польский гимн на польском, нынешний украинский («Ще не вмерла Украина») на украинском, гимн Бунда на идиш, а также начальные слова израильского гимна на иврите, которого она и не знала толком. Я знал от нее криминальные по тем временам украинские песни, осуждавшие москалей и Богдана Хмельницкого. Когда мне в 4-м классе приспичило декламировать на школьном вечере в эвакуации стихи Шевченко на украинском языке, она и тут мне помогла.

Русскую литературу мама знала очень хорошо. В старших классах школы у меня были небольшие проблемы с синтаксисом. У мамы в этой области тоже был ряд пробелов, а отец дома бывал редко, чтобы реально помочь мне. По этой причине я летом после 9-го класса дополнительно занимался с нашей учительницей русского языка и литературы Зинаидой Васильевной Назаровой. Писали диктовки по текстам русских классиков. Зинаида Васильевна, кстати, дожившая до весьма пре-

клонного возраста и даже в глубокой старости помнившая всех своих учеников, имела двух детей — дочь Наташу и сына Сергея. Наташа училась в школе на класс позже меня. И вот однажды в школе она получила задание, связанное с произведениями, к школьной программе отношения не имеющими. Оказалось, что Зинаида Васильевна здесь была, что называется «не в курсе». Она обратилась за помощью к маме. Мама все эти вещи уже читала и легко смогла помочь Наташе. До самых последних дней жизни она сохранила живой интерес к литературе.

Мать очень долго и внимательно следила за моей учебой, помогала мне писать не только сочинения, но и конферансы для вечеров, поздравительные стихи и т. п. Когда у Вула родился внук, при участии Гали я написал поздравительные стихи (иногда, но очень редко на меня находило). Все думали, что это сделала мать.

Мать любила ходить в гости, забегать к соседям. В то же время, много работая, она никогда не готовила, не шила и не занималась другими женскими делами. Она их не любила и многого не умела. Она считала, что надо много работать, а эти дела организовывать. В молодые годы мать многих обучила грамоте. Но нянечка, будучи очень способным человеком, понимавшим даже в простейших медицинских диагнозах, здесь ей не далась и так и умерла неграмотной.

Совместная жизнь родителей в довоенные годы

В 1927 году родители окончили институт. По обычаю того времени их брак не был зарегистрирован. Мать мне говорила, что в их среде считалось неприличным не доверять друг другу. Только в июле 1941 года за день до ухода отца на фронт, по вполне очевидным причинам, они пошли в ЗАГС.

На одном курсе с родителями училось много народа. Бурные последующие годы разметали большинство из них. Тем не менее, я хорошо помню Борю Мейтина. В студенческие годы родителей он был комсомольским активистом, и мать его хорошо знала. После войны я встречал его в эпидотделе Горздрава. Отец был заместителем начальника этого отдела (по совместительству). Приходя к отцу, который сидел в кабинете вместе с начальником отдела Ильей Марковичем Аншелесом, я проходил через общую комнату, где сбоку стоял стол Мейтина. Мейтин часто беседовал со мной. В 1944 году в нашей вновь организованной школе стали создавать комсомольскую организацию. Комсомольцев в школе не было — наш 7-й класс был старшим. Поэтому рекомендацию в комсомол мне давал Мейтин. Меня тогда не приняли, а отложили вопрос, так как мне еще не исполнилось 14 лет.

Другим знакомым родителей по учебе был Петя Тамбовцев. После войны он заведовал детским санаторием не то Приморского, не то Петроград-

ского района в Тюрисево (ныне Ушково). Я его часто там видел, так как два лета подряд отдыхал в соседнем санатории Выборгского района.

В том же 1927 году, что и родители, ГИМЗ закончила и Надежда Сергеевна Лебедева, с которой мать сошлась на совместной работе во время войны в Пензе. Надежда Сергеевна долгие годы дружила с родителями. Но она не была их настоящей сокурсницей. Она училась на год раньше их, но по каким-то причинам задержалась с получением диплома. У нее было много неприятностей в жизни: она была поповская дочка, ее муж был репрессирован. Помню, сколько усилий стоило отцу помочь ей после войны с получением права на возвращение в Ленинград.

Как я уже говорил, мама поддерживала отношения со своими подругами, которые жили с ней вместе в студенческие годы. Была еще семья некоего Мирона (муж и жена). Они жили в Москве и, кажется, оба учились вместе с родителями. Я узнал о них после смерти отца, когда мать, в то время часто ездившая в Москву на разные совещания и конференции, рассказывала, как она посещала эту семью. Есть и фотография Мирона. Однако я сам никогда его не видел. Других сокурсников родителей я не очень помню. Могу сказать только, что большинство наших знакомых и довоенных друзей семьи, кроме товарищей отца военных лет, пришло к нам в дом через маму.

После окончания института отец был направлен в Чебоксары, а мать на Мурманскую железную дорогу. Возможно, что она была в Медвежьих горах, а может быть, и в Петрозаводске или же рядом с ним. Там же недалеко на «Мурманке» работала и Дора Моисеевна Холмянская. Там ли она познакомилась с матерью, учились ли они вместе, я не знаю. Впоследствии же все довоенные годы (о послевоенных не могу сказать ничего определенного) они работали вместе в Институте охраны здоровья детей и подростков — ОЗДиП.

В Чебоксарах отец работал на санитарно-эпидемиологической станции. Есть его фотография этого периода: босиком, в распоясанной рубашке полувоенного образца, небритый, что для него абсолютно не характерно, он снят вместе с группой работников станции. Станция боролась с трахомой, лишаями и другими заболеваниями, сопутствующими нищете и бескультурью. Сравнительно быстро родители вернулись в Ленинград и поступили в интернатуру. Мать в институт ОЗДиП, с которым (менявшим периодически названия) она была связана всю жизнь до и после войны. Отец пришел во Всесоюзный институт экспериментальной медицины — ВИЭМ. Жили родители, а точнее, вся наша семья, в том же доме на Мойке, где прошли студенческие годы сначала матери, а потом и отца. Этот дом, иногда упоминаемый в книгах по архитектуре, а возможно, и истории, и часть наших соседей по квартире заслуживают отдельного внимания.

Как и все дома в нашем квартале, наш дом имел два адреса: наб. Мойки, 99 и ул. Герцена (Б. Морская), 54. Второй адрес был более официальным. Он значился и в прописке. Морская параллельна Мойке, так что речь шла о двух параллельных фасадах одного и того же дома. Такая двойная нумерация до сих пор характерна для всех домов этого и ряда соседних кварталов. Наш квартал начинался на Исаакиевской площади домом одного из департаментов бывшего министерства. Затем в нем помешался Всесоюзный институт растениеводства. Два эти института расположены по противоположным сторонам площади, и их нынешние названия я не помню. Ныне на фасаде дома, связанного с нашим кварталом, висит мемориальная доска, посвященная бывшему директору института академику Н. И. Вавилову.

Далее вдоль Мойки шел ряд домов. Соседний с нами дом 97/52 — это дом архитектора. По другую сторону от нашего дома находится дом 101/56. Далее расположен Почтамтский переулок. Он в мои детские и юношеские годы назывался переулком Подбельского. Студент Императорского Петербургского университета Подбельский в знак протеста против чего-то дал пощечину министру просвещения. Это можно найти во многих книгах, посвященных революционному движению студенчества. Считалось, что в честь него и переименовали переулок. На самом деле это не так. Переулок был назван в честь одного из первых послереволюционных наркомов почт и телеграфа.

Все дома квартала, кроме дома института и дома 101 (он был перестроен после войны), имели одинаковый план. Это были большие прямоугольники, почти квадраты, с одним (в Петербурге бывает и несколько) двором посередине. Все дворы имели выходы на Мойку. Мойка в этой ее части течет в направлении с востока на запад, и окна, выходящие на набережную, глядят на юг. Поэтому комнаты, в том числе и наши, выходявшие на набережную, всегда были залиты солнцем, что так ценится в нашем городе. Набережная была тихая, обсаженная тополями, на которых было много грачиных гнезд. В послевоенные годы грачей специально извели дворники, тополя вырубил, новые посадки еще не разрослись, набережную заасфальтировали. С асфальтированием долго тянули, и мы шутили, что коммунизм построят после того, как заасфальтируют нашу набережную. Теперь асфальт лежит, а о коммунизме все забыли.

Это место и по сей час считается одним из наиболее тихих и приятных мест города. Почти все дома нашего квартала можно найти на снимках, имеющихся в Интернете. Исключение составляет только наш дом, так как он давно находится в стадии перестройки. Как и во всех домах нашего квартала, в нашем доме были большие квартиры, и расселить его для ремонта и реконструкции было очень непросто. Требовалось слишком много новой площади. Наконец, где-то в 90-х

годах дом был расселен. Однако его реконструкция затянулась. Долгое время он стоял пустой, со снесенными перекрытиями. Наконец, в начале 2000 годов реконструкция началась всерьез. Все было сломано, кроме стены, выходящей на Большую Морскую. В этом, 2005, году начали возводить стену на Мойке. Висит и панно с изображением строящегося дома. Оно повторяет то, что было до слома. Дом предназначен или для гостиницы, или для продажи дорогих квартир. Все соседние дома до Исаакиевской площади сохранились, и их можно увидеть на снимке.

Известно, что будущий канцлер Германии Бисмарк ряд лет был послом в России. Он жил на втором этаже нашего дома (наша семья жила на третьем). Сведения о квартире Бисмарка идут от профессора Л.Р. Перельмана. В начале 20-х годов во время служебной командировки в Германию он случайно столкнулся с сыном бывшего хозяина нашего дома, который и поведал ему эту историю. Было ли в те годы в другой части дома посольство, я не знаю. Здание немецкого посольства (бывшего), а в период между революцией и последней войной немецкого консульства, в годы Бисмарка еще не было построено. Тем не менее, среди мальчишек ходили слухи о подземном ходе, соединявшем оба эти здания. Часто мы обсуждали перспективы поиска этого подземного хода. На самом деле я не помню, чтобы кто-нибудь всерьез этот ход искал. Я, кстати, бывал в здании бывшего консульства. Тогда в нем частично размещались лаборатории Института полупроводников АН СССР. Никаких следов подземного хода там не было, хотя в здании было много интересного, например бронированный сейф посла: огромная комната с металлическими, тяжелыми дверьми.

Другое предание, связанное с нашим домом, вполне реалистично. После революции основная часть старых жильцов исчезла. Дом заселили всяким людом. Один из жильцов — бывший балтийский морячок, как-то вечером возвращаясь домой, стал считать окна и все время сбивался со счета. Должен сказать, что такой счет — увлекательное занятие. Квартиры после революции перегородили, плана не было, не все бывали друг у друга в гостях. Иногда я прохожу мимо этого места и ищу наши бывшие окна на панно. Это непросто, так как трудно вспомнить, сколько у кого было окон. Во всяком случае, даже эта простейшая задача требует усилий.

Возвращаясь к нашему морячку, могу сказать, что он оказался упорным человеком. Утром он проверил счет. Счет опять не сошелся. Он это проделывал несколько раз. Всегда получалось лишнее окно. Морячок стал лазать по дому, выстукивать стены и, в конце концов, нашел замурованную комнату. Скорее всего, это была просто дверь, наспех заклеенная обоями. Старые хозяйка, быстро уезжая, ос-

тавили в ней ценные вещи и якобы драгоценности. Окном же они не успели озаботиться. Все найденное в замурованной комнате было официально сдано властям. Однако морячок быстро съехал, и подозревали, что кое-что из драгоценностей он все же утаил. Такие сведения не могли не волновать жильцов и детей. Как я понимаю, детальные поиски, правда, безуспешные, повторялись неоднократно. Находки уже после войны бывали, но «скучные»: старые газеты, какой-то хлам и ничего более.

Первый этаж нашего дома был разделен на две части воротами. С обеих сторон были коммунальные квартиры. Подавляющее большинство их жителей вымерло в голодную зиму 1941–42 годов. Квартира на втором этаже была разделена на три части. В одной, под номером 22, жила семья Раппопортов, о которой мне мало что известно. Основная часть этажа, выходящая на Мойку, занималась семьей профессора Щедровицкого. С их ныне покойной дочерью и внуком мы дружили семьями. Эта семья приехала из Саратова. Оставшуюся часть этажа — «комнаты для прислуги» глава семьи уступил своим саратовским друзьям: профессору Леониду Рувимовичу Перельману с семьей. Это наши ближайшие друзья. Дружили родители, дружим и мы, дети, до сих пор.

Наша квартира на третьем этаже занимала всю площадь над тремя нижними квартирами, то есть половину прямоугольника в плане дома. До революции и она, и квартира на втором этаже были анфиладными. Это значит, что в них не было коридора, а проход по квартире осуществлялся непосредственно из комнаты в комнату. Такие планировки сохранились поныне во многих старинных дворцах города. Естественно, что парадная анфилада: гостиная, столовая и т. д. выходила окнами на фасадную, южную часть здания. Комнаты были высокими и всегда залиты солнцем. Со стороны, выходящей во двор, были служебные помещения и спальня хозяев. Какое-то время эта часть комнат была отделена коридором, который захватил и бывшую лестничную площадку. Примерно то же самое было сделано и с квартирой, которая располагалась этажом ниже. Когда были выполнены эти переделки и часть служебных комнат превращена в жилье, в мое время уже никто толком не помнил. Со временем я все подчитал. Выяснилось, что в послевоенное время в нашей квартире одновременно проживало 11 семей и было прописано 35 человек. Были еще и непрописанные жильцы. Так, долгое время моя жена и, следовательно, дочь были прописаны в квартире у моего тестя.

В квартире на месте старой лестничной площадки оставалось огромное зеркало. Оно было высотой свыше 2,5 метров и шириной около 4 метров. Скорее всего, оно осталось на своем месте только потому, что его было никак невозможно ни утилизировать, ни разделить.

Когда-то в квартире была стеклянная ванна для хозяев и прекрасная луженая ванна для прислуги. Хозяйскую ванну превратили в жилые комнаты. Ванной же для прислуги мы иногда пользовались, хотя при первом же послевоенном ремонте под каким-то благовидным предлогом все дорогие части, типа медных кранов и самой ванны, были заменены обычными.

В большой комнате с края, примыкавшей к стене дома архитектора, и в маленькой комнате у кухни жила семья бывшего адмирала Беклемишева. Большая комната после войны была разделена на две. Беклемишевы — известная фамилия. Не знаю, имеют ли они отношение к тем Беклемишевым, именем которых названа железнодорожная станция на пути из Москвы в Воронеж, и к Беклемишевым петровских времен. Однако всем были хорошо известны глава семьи Михаил Николаевич и его брат Николай Николаевич. Последний до революции издавал популярный журнал «Море». Я видел выпуски этого журнала в старом книжном хламе в чулане. Намного более известен был Михаил Николаевич. Он сконструировал и построил, кажется в 1916 году, первую российскую подводную лодку. Он хорошо знал адмирала Дмитриева, отца тети Нины, подшучивал, что за черную бороду и темные глаза на флотах Дмитриева прозвали «жидком». Михаил Николаевич влюбился в портниху Людмилу Эсперовну. Чтобы жениться на ней, он купил ей купечество. Все же после женитьбы ему пришлось выйти в отставку. Адмиралу было в то время 35 лет. К началу революции он давно уже был в отставке. Скорее всего, именно поэтому его и не тронули. Правда, в одной журнальной статье, посвященной репрессиям среди бывших морских офицеров, я прочитал, что в его жизни был все же кратковременный арест. Тогда же сидели и профессора гидрографии братья Белобровы. С одним из них впоследствии я работал в училище им. Макарова. Другой был профессором в училище им. Фрунзе, где завкафедрой работала моя жена. Но она его не знала.

Адмирал Беклемишев в мои годы уже ничего не делал и целыми днями сидел в большом вольтеровском кресле. У него был внук Юра. Он был на два с небольшим месяца моложе меня. В квартире был еще один наш ровесник: Валя Лыч. Он был моложе меня на 5 месяцев. Иногда нас мальчишек оставляли под присмотром адмирала. Он очень любил нас стравиливать: спрашивал, кто сильнее, предлагал побороться и всегда доводил дело до драк, часто даже с кровью, когда заставлял нас драться кочергами от печек. Это доставляло ему наслаждение. Адмирал умер до войны. Его жена, Людмила Эсперовна, умерла от голода в блокаду. В их семье было несколько детей. Всех их я не знал — многие жили отдельно. Дочь адмирала Маруся, мать Юры, и ее брат Володя были ровесниками и приятелями моей матери. В комнате адмирала на трельяже лежали огромные портновские ножницы. Мы, дети, их па-

нически боялись, так как и адмирал, и особенно его сын, всегда пугали нас тем, что отрежут нам этими ножницами уши.

Володя пошел по морской части. Учиться ему не дали, как социально чуждому субъекту. Он прошел трудный путь от матроса до капитана. После войны был капитаном-наставником в Балтийском пароходстве и пользовался известностью и глубоким уважением за свои знания. Мать часто рассказывала такую историю. Перед началом финской войны (мой друг Саша Перельман считает, что перед вводом наших войск в Эстонию — разница небольшая), когда была напряженная, сознательно нагнетаемая обстановка и все чего-то ожидали, Володя был капитаном маленького сухогруза «Пионер». В это время требовалось соблюдать все мыслимые меры предосторожности, в частности, организовать частичное затемнение и прочее подобное. И вдруг Володя получил приказ принять груз дров и ночью срочно выйти со всеми зажженными огнями и без какой-либо маскировки, кажется, в сторону Сестрорецка. Нелепость такого рейса была очевидна. Ночью неожиданно появился перископ, и неизвестная подводная лодка торпедировала судно. В газетах поднялся страшный скандал, возникли международные осложнения. В это же время что-то аналогичное произошло и на Стеклозаводской заставе.

30 ноября 1939 года началась финская или зимняя война. Самое интересное, что и «Пионер» не погиб. Володя сумел посадить тонущий корабль на мель. Мать рассказывала, что он пришел к ней, возбужденный и бледный, с такими, примерно, словами: «Пиля! Я должен был утонуть, но я пожалел людей и спас корабль. Меня посадят!» Неизвестность длилась несколько дней. Затем Володю наградили орденом Боевого Красного знамени. Ордена, особенно такие, были в то время большой редкостью. В войну Володя воевал на торпедных катерах, получил второй орден, но это уже не столь интересно.

С комнатой Беклемишевых соседствовало большое помещение, свыше 70 м². От этой, вероятно, бывшей гостиной или столовой было отделено 51,5 м². Здесь вплоть до 1962 года жили сначала родители, а затем и вся наша семья. Где-то около 1934 года эта часть большой комнаты была разделена моими родителями перегородкой на две. В меньшей жили нянечка и я, а в большей отец с матерью. В отгороженной же ранее от зала части была комната генеральши Веры Евгеньевны, которая до замужества была балериной. Она была стара и не очень понимала действительность. Скорее всего, она жила на средства, которые получала от Надежды Вербицкой, снимавшей у нее угол. В те годы Надежда была официанткой в столовой и тихонечко подворовывала у всех квартирных жильцов.

Из остальных жильцов отмечу семью Лыч: родителей и троих детей. Один из них Валентин, как я уже говорил, был моим ровесни-

ком. Семья происходила из Белоруссии. Мать Виктория Осиповна — тетя Витя — была доброй женщиной. Когда я приходил из школы, а дома никого не было, она могла накормить; помогала от чистого сердца в хозяйственных делах. Где она работала, я точно не помню, кажется, в какой-то столовой.

Глава семьи, Василий Антонович, до революции эмигрировал в Америку, освоил язык и работал в механической прачечной. После революции он вернулся, вступил в партию и стал директором маленькой артели. Дело не заладилось: скорее всего, у Василия Антоновича не хватило организационных талантов. Его исключили из партии и сняли с должности, но этим дело и ограничилось. На моей памяти он всегда работал простым сапожником. В войну он подорвался на mine, и у него ампутировали пятаку одной из ног.

Я хорошо помню их довоенную комнату — в ней ранее жили дядя Ионя, а потом мама. На стене висело большое фото Василия Антоновича, сделанное в Америке: в темном пиджаке, крахмальной рубашке и с галстуком-бабочкой. Хорошо помню, как в июне 1940 года Василий Антонович, сидя перед большой картой Западной Европы, с восторгом говорил: «Здорово немец прет!»

Мир тесен. Правнук Василия Антоновича лет десять тому назад был моим студентом. Он знал о своих предках значительно меньше, чем я мог бы ему рассказать. Интересы к этим сведениям он не проявил.

Отец мой пользовался большим уважением у разношерстной публики, населявшей нашу квартиру. Кстати, жили мы все довольно дружно. Ссор и скандалов практически не было. Отца даже немного побаивались. Его часто на общих собраниях жильцов, особенно в послевоенные годы, избирали «квартироуполномоченным», хотя он старался в обычную жизнь жильцов не вмешиваться. На маме же при этом обычно лежала обязанность делать расчеты платы за свет. После войны эта обязанность сравнительно быстро перешла ко мне. Для этих расчетов надо было взять лестницу-стремянку и снять показания общего и 11 семейных счетчиков. Показания счетчиков вычитались из показаний общего, и по ним рассчитывалась семейная плата. Остаток делился пропорционально числу членов каждой семьи в качестве оплаты за общие услуги. Особенно сложно было считать в первые послевоенные годы, когда на человека полагалось только по 15 гВт в месяц. Отец имел дополнительный лимит за кандидатскую степень. Если бы произошел перерасход, то свет во всей квартире немедленно бы отключили. Расчет денег вывешивали. Каждая семья по очереди собирала деньги и сдавала их в инкассаторский пункт. Он помещался на Малой Морской (ул. Гоголя), 15, там, где одно время размещались авиапредставительства скандинавских и финских авиалиний. Процесс оплаты был задачей не из приятных, так как надо было выстаивать в

очереди по несколько часов. Там же надо было платить и за телефон. Телефонов в квартире было два — у нас и у Беклемишевых. После того как в 1962 году мы получили отдельную квартиру и уехали, наш телефон стал общим.

В обязанности квартуполномоченного входило справедливое расписание уборки квартиры. После войны, когда провели газ, надо было также снять показания газового счетчика и разделить их пропорционально числу членов каждой семьи. В те годы это входило в мои обязанности, так же как и счет за свет.

Я был в некоторых вещах не в меру любознателен. Так, весь январь 1946 года я хронометрировал, сколько времени человек проводит в туалете, ванной и т. д. В более взрослом виде я подсчитывал, сколько времени в год уходит у меня на трамвайные поездки к месту работы. Нескольким лет тому назад я сосчитал, какое время за 30 лет заведывания кафедрой я потратил на заседания разных советов. Цифры каждый раз получались неутешительно большими.

В описываемые годы, снedaемый любопытством, я смотрел на работу газового счетчика. В его окошечках было 7 или 8 цифр. Низшие регистры бежали довольно быстро, поскольку на кухне было три плиты с 4 комфорками каждая. Однако самое интересное было, когда наступал момент и 5-6 цифр, а то и все сразу, становились девятками. Затем они мгновенно менялись на нули. Я ловил эти моменты и, что греха таить, когда кухня была пуста, иногда ускорял процесс, включая несколько горелок. Мои наблюдения не остались незамеченными. Вскоре нянечка рассказала о беспокойстве хозяек по поводу того, что я слежу, сколько газа тратит каждая из них, чтобы делить деньги не по числу людей, а по реальным расходам газа. Пришлось эту деятельность оставить, к тому же мне стало неинтересно непрерывно наблюдать за счетчиком.

Чтобы закончить с описанием жилья, добавлю, что квартира наша была проходной. С кухни можно было выйти на черную лестницу и спуститься во двор. По этой лестнице наша квартира располагалась уже на четвертом этаже. На эту же лестницу выходили черные двери тех квартир, парадные части которых были обращены на улицу Герцена. Можно было пройти через такую квартиру и выйти из дома совсем в другом месте. Это было важно не только для наших игр в прятки. В юношеские годы это использовалось мною для того, чтобы отделаться от нежелательных спутников: скажешь, что идешь домой, зайдешь в свою парадную, а сам уже на другой улице. Перед самой войной меня с Валентином Лычом задержал как подозрительных (нам было по 8-9 лет) одетый в штатское сотрудник каких-то органов. Он потащил нас на «опознание». По его словам, мы слишком долго стояли у входа в Дом культуры и читали афиши. Мы изрядно

опешили, а испугались уже потом. По счастью мы проходили мимо парадного входа в наш дом с улицы Герцена. Мы кинулись в дверь и через проходную квартиру удрали во двор, а затем вернулись домой. Мы отсиживались около суток дома. Нас, естественно, всерьез и не искали.

По возвращению после краткого отсутствия в 1927 году родители стали жить в описанной квартире. В 1926 году умерла в Москве бабушка Мария Львовна, и дед с няней перебрались к дяде Ионе. Дядя с тетей жили тогда не очень дружно, часто ссорились. Как говорила нянечка, они швырялись друг в друга подушками. Дед очень переживал, и мать вскоре забрала деда и нянечку в Ленинград. Это было между 1928 и 1930 годами. Точнее определить сейчас нельзя. По словам матери, дед в эти годы часто повторял, говоря о покойной бабушке: «Как она меня обманула — умерла раньше меня». Дед хорошо сошелся с отцом, и они жили вполне дружно.

Послевузовская учеба, а также работа и отца, и матери шли успешно, но в житейском плане их пути были разными. Мать сначала была в интернатуре, а в 1929 году перешла в аспирантуру. Сначала она некоторое время занималась педологией под руководством профессора Грибоедова из Первого медицинского института. В этом институте она и работала по совместительству ассистентом на кафедре детской невропатологии с 1932 по 1939 год. Вскоре педологию запретили как буржуазную науку. Мать стала детским психиатром, а далее просто специалистом по детским неврологическим заболеваниям. Практически все время она работала на одном и том же месте.

Судьба профессора Грибоедова была сложной. После первой блокадной зимы студенты-медики были эвакуированы из города. Странно, но вся эвакуация и в 1941, и в 1942 годах была организована нелепо. Детей в 1941 году вывозили в Белоруссию, в Псковскую область и т.п. В общем, вывозили их на Запад. Отец возмущался и говорил, что нельзя вывозить детей навстречу фронту. Но ведь боялись бомбежек, а воевать хотели по-ворошиловски: «Бить врага его же оружием, на его территории». Я знаю многих сверстников, которые таким образом оказались в оккупированных частях страны и имели запачканные анкеты. Отец отпустил меня в эвакуацию только с той группой, которая уезжала в другом направлении.

Студентов-медиков после зимы 1941/42 года вывезли в Пятигорск. Немцы рвались в Баку. Они наступали вдоль предгорий. Все эвакуированные из Ленинграда студенты и преподаватели оказались запертыми в долинах. Часть студентов ушла через горы. Но профессор Грибоедов и большая часть пятигорской группы студентов оказались у немцев. Как там было точно, я не знаю, но после войны профессор Грибоедов уже не преподавал в Ленинграде.

Как я уже писал, мама практически всю жизнь проработала в институте ОЗДиП. Сейчас он называется ГНИДИ — Институт детских инфекций. Институт был создан после революции и первое время располагался в начале Кировского проспекта. Затем сравнительно быстро институт перевели по адресу Песочная ул. (ныне ул. Попова), 9. Там он существует и поныне. В частной лечебнице, в здании которой располагался институт, в 1906 году лечился художник Врубель. Через много лет после войны во дворе института был построен новый корпус, где в последние годы работала мама.

Отец в ВИЭМе начал заниматься сыпным тифом. В то время это была актуальная тематика. Его быстро сорвали с места и послали на длительный срок бороться с инфекциями на Кольском полуострове. Он работал в районе Апатит и Хибиногорска. Город Хибиногорск возник на берегу озера Большой Вудъявр. Он построен на месте поселка или стойбища Вудъявр и был преобразован в город в 1930 году. После убийства Кирова Хибиногорск переименовали в Кировск. Под этим именем он известен сейчас, в частности, и как центр горнолыжного спорта. Город строился в качестве центра по добыче минерального сырья для удобрений — апатитов. Несколько кусков апатитовой руды отец долго хранил как память об этой командировке. Долгое время хранилась в семье и растрепанная книга отца — путеводитель «Хибинские тундры». Впоследствии она затерялась на нашей даче в Тосно. Хибиногорск строили заключенные, и отец во время командировки посмотрелся всякого.

Когда отец вернулся, он поступил работать в Институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера. Этот институт возник в начале 20-х годов из прививочной станции. В его создании принимал участие ряд видных ученых. Мама часто говорила, что институт возник на базе некоего частного медицинского учреждения, созданного профессором Маслаковцом и после революции переданного им государству. В официальной истории института все изложено несколько иначе, однако Маслаковец там упоминается.

В институте им. Пастера отец в начале 30-х годов организовал отдел паразитарных тифов. Он руководил этим подразделением до осени 1937 года. Когда я готовился к изданию этих воспоминаний в 2005 году, то заглянул в Интернет на сайт института им. Пастера. С удивлением я прочитал, что из старых подразделений института только одно сохранилось до настоящего времени, правда, под новым именем. Это как раз отдел, организованный отцом, о чем прямо говорится на сайте. Сейчас этим подразделением руководит доктор медицинских наук Н. К. Токаревич. Вероятно, это сын того Токаревича, который принял от отца отдел в 1937 году и о котором еще придется сказать несколько слов далее. Внучка Токаревича — журналист,

много и часто пишет о своем деде. Саша Перельман видел ее статью о поездке сотрудников института в Хибины. Она пишет, что Токаревич вызвал туда отца себе в помощь. Я сам статью эту не видел. О вызове же отца думаю, что это не совсем так. Токаревич впоследствии был сотрудником отдела, которым руководил отец, и, скорее всего, все было наоборот. Существенного значения эти тонкости, конечно, не имеют.

Сколько я себя помню, до войны отца непрерывно посылали в длительные и эмоционально напряженные командировки, чаще всего на север. Во время работы в Хибинских тундрах, где тогда было мало людей, заблудившийся человек мог погибнуть: полчища комаров высасывали всю кровь. Я уже писал, что вокруг строительства были лагеря с заключенными. Помню, отец рассказывал, как где-то на берегу моря, не знаю уж Баренцева или Белого, а может быть, и озера, он видел, как охранники загоняли в холодную воду человека и не давали ему выйти. Задача была простудить его до тяжелого воспаления легких или до смерти от переохлаждения. Несчастный кричал: «Помогите! Я член Центрального Комитета!». Это видимо сильно потрясло отца, так как он не раз возвращался в своих рассказах к этому эпизоду. Однако чаще в командировках отцу приходилось сталкиваться с другими сложностями.

Эпидемиология — наука своеобразная. Когда все работает хорошо, эпидемиолога не видно, хотя тут-то и скрыта его работа. При всяких же сбоях возникают проблемы. Однажды отца послали в командировку по срочному делу о вредительстве. В одном из поселков заболели тяжелым желудочно-кишечным заболеванием дети. При этом только дети командиров воинской части. Арестовали местных врачей, завели дело, но никто ничего не понимал. На разбор и «помощь обвинению» послали отца. Разгадка, как всегда в подобных случаях, была простой. В поселке был воинский городок. Там, кроме рядовых красноармейцев, жили и командирские семьи. Городок был обнесен забором, и местных жителей туда не пускали. Общие коммунальные удобства были на краю двора. Их уровень в России можно себе представить. Дети командиров гуляли по двору. Позади выгребных ям происходила фильтрация фекальных масс. На этом удобрении росла густая и сочная трава. Дети днем были предоставлены сами себе. Все дети любят жевать щепочки и травинки. Так и разносилась зараза. Дети других жителей поселка туда входа не имели и поэтому не болели. Арестованного врача удалось отбить. Эпидемию само собой ликвидировали. Каких нервов и усилий стоило это отцу, трудно себе представить. Слышал он и угрозы. И таких командировок была не одна, и не две. Ну, а отец стремился к работе в лаборатории. Мать после смерти отца часто повторяла, что у меня и у него одинаковая судьба — всю жизнь биться за право работать.

Я родился 14 января 1931 года. Отец был в очередной длительной командировке. Я уже говорил, что родители официально брак не регистрировали. Мне оформили метрику на фамилию матери. Только по возвращении отца мне переделали документы на нынешнюю фамилию. Эта метрика датирована октябрём месяцем. Вот такие длительные отлучки по работе были у отца в предвоенные годы. Справедливо ради следует сказать, что отлучка отца в Хибины перед моим рождением была самой длительной, связанной с увольнением отца с прежнего места работы. Его отъезд оформлялся приказом по Наркомздраву. Копия выписки из этого приказа сохранилась.

Мамины роды были тяжелыми. Они начались 11 января. Матери предлагали наложить шипцы. Она, видевшая много последствий таких операций в работе со слабоумными детьми, категорически отказывалась. Наконец, пожилой, опытный врач предложил ей выпить шампанского. Это помогло. Наверное, поэтому я так люблю шампанское. Домой на извозчике в почти тридцатиградусные морозы меня привез дед. В квартире очень удивились, так как беременность матери прошла для них незамеченной. Я знаю, что меня возили кормить грудью на Петроградскую сторону, где работала мать. Из этого я делаю заключение, что она очень быстро вышла на работу. По приезде отец сам привил мне оспу. Он это сделал, что называется, «от души». Метки от прививки на моей руке были немалыми.

Мама в это время жила вместе со своей приятельницей Марией Леонтьевой, которая тоже работала в институте ОЗДиП. Как они вместе с дедом и нянечкой размещались вместе, я не знаю. Проблемы жилья были тогда очень трудными, да и жизнь была нелегкой. Маруся родила дочь Инну. Та была на месяц-полтора старше меня. Был ли у Маруси муж и жил ли он там же, не знаю. На память о том времени осталась фотография: маленькая девочка в рубашечке и трогательная надпись, адресованная мне: «Володе на память о совместной жизни!». Эта фотография всегда вызывала шутки друзей. До войны мама и Маруся часто встречались. Мы ездили друг к другу в гости, посещали детские дни рождения. После войны Инна поступила учиться в консерваторию. Она готовилась играть на органе и на арфе. Кончилось это чисто профессиональной болезнью: она перетрудила руку, и о музыкальной карьере больше не могло быть и речи. Конечно, она была потрясена. После этой катастрофы Инна оборвала все старые связи и исчезла из моего поля зрения.

В первые годы моей жизни со мной возились дед и нянечка. К сожалению, я деда не помню, и все, что связано с ним, я знаю из рассказов нянечки и мамы. Дед любил играть со мной. Давал в качестве игрушки свое основное достояние — золотые карманные часы. Он и завещал их мне. Сколько я себя помню, эти часы всегда лежали в се-

мье «на черный день». Дед полюбил слушать детекторный приемник, который долго использовался мною как игрушка после его смерти. Он умер 27 января 1934 года, когда мне только исполнилось три года. Его оперировали по поводу рака пищевода, и он умер в больнице почти сразу же после операции.

Дед лежит на еврейском Преображенском кладбище в Петербурге. До войны мы каждую весну ездили на трамвае на могилу деда. Это достаточно далеко и по нынешним понятиям. В послевоенные годы могилу деда мог найти только я. После смерти отца, нянечки, мамы, тещи, а затем и тестя, появилось много новых могил. Хоронить рядом было трудно. Почему провоцировались эти трудности с похоронами, понять нельзя. Только сейчас стало возможным хоронить родных рядом, зарезервировать за деньги участок на кладбище и вообще хоть немного цивилизовать решение этой проблемы. После смерти большого количества родных объехать и привести в порядок все могилы стало для нас непростой задачей. Так постепенно мы перестали посещать могилу деда. Дяди мои там никогда не бывали. Только перед самой своей смертью дядя Ионя решил посетить эту могилу, и я свозил его туда. Это было, кажется, в 1959 году.

После смерти деда основная забота обо мне легла на плечи нянечки: родители всегда работали очень много. По современным представлениям работники двух научных учреждений должны были хорошо зарабатывать. Однако это не так. Платили тогда хорошо преподавателям вузов и работникам таких учреждений, как институты АН СССР. Медицинские институты Наркомздрави относились в лучшем случае ко второй, а то и к третьей категории. Даже в послевоенные годы зарплата отца — кандидата наук и заведующего лабораторией — была ниже зарплаты шофера автобуса. Мы не бедствовали, но жили туго. Только на краткий период времени после войны материальное положение семьи улучшилось. Была введена какая-то специальная медицинская пенсия за выслугу лет. Условия ее получения были таковы, что удовлетворить всем требованиям ее получения было почти невозможно. Отец, благодаря тому, что он демобилизовался в 1944 году, что было редким случаем, эту пенсию получал и откладывал на сберкнижку. Друг нашей семьи Леонид Рувимович Перельман, любивший всякие казусы, по этому поводу не раз рассказывал о своем приятеле, который единственный в городе умудрился получить некую особую пенсию только потому, что по болезни прозевал в свое время обычную пенсию, которую все остальные успели оформить. Получение же обычной пенсии, даже временно, не позволяло воспользоваться упоминаемой исключительной пенсией. Так что этот человек и был особым случаем, который приводился нам в назидание рассказчиком.

Сколько я себя помню, родители всегда подрабатывали совместительством. До войны и краткий период после нее у мамы были часы в Первом медицинском институте. Она брала много ночных дежурств. В предвоенные годы я помню ее дополнительно работавшей в Институте слепых. Этот институт располагался вблизи Барочной петли на той же Песочной ул., что и институт ОЗДиП. Сейчас эта трамвайная петля и трамвайный парк прекратили свое существование. Пару раз мы с мамой ходили из ее основного института в Институт слепых.

Отец всегда совмещал в эпидотделе Горздрава. Родители уходили из дому, когда я еще спал. Возвращение мамы с работы заставляло меня еще бодрствующим. Иногда она приходила домой даже в 5-6 часов вечера. Я хорошо помню, как однажды она сидела очень усталая, а я просил ее почитать мне. Она начинала читать и засыпала. Я ее будил, и она просила дать ей поспать 10-15 минут. Она засыпала, а я следил по ее наручным часам, когда можно будет ее разбудить, и непрерывно повторял: «Осталось..... минут». Отец же возвращался домой очень поздно, когда я обычно уже лежал в кровати. Я его ждал. Если он приходил пораньше, то подходил к кровати прощаться на сон грядущий. Чаше же он приходил значительно позднее.

У деда от лучших времен осталось несколько царских золотых пятирублевков. Он настоял, чтобы их сдали в торгсин и сшили отцу шубу. Были куплены дорогой материал и меховой воротник. Шуба была, как выражался отец по разным поводам, «знатная». Он ее носил все довоенное время. Вторую и последнюю в его жизни шубу сшили уже после войны. Тогда же из первой шубы сшили короткую куртку, и я донашивал ее в университете. Это было осенью 1949 года, когда я перешел на второй курс. Возвращаясь зимой с работы, отец снимал свою шубу и для теплоты укрывал меня ею поверх одеяла. Шуба была тяжелая, но уютная, и под ней очень хорошо спалось.

Практически весь год отец ходил в коричневой суконной кепке. Чтобы не заморозить уши, он зимой ходил с поднятым воротником. В кепку же зимой для теплоты подкладывалась стеганая прокладка. Была у отца и зимняя шапка. Но до войны он носил ее очень редко. За всю жизнь у отца было только 4 костюма. Один, коричневый, он носил примерно с 1936 года. После войны появился еще один костюм. Затем сшили светлый летний. Перед смертью отцу сшили хороший костюм с двумя парами брюк: брюки изнашиваются быстрее пиджака. Из записной книжки Ильфа: «Русский приехал в Америку и попросил сшить ему костюм с двумя парами брюк. Портной спрашивал — разве у Вас 4 ноги?» Этот последний костюм отца стал после его смерти моим. Мать до войны сшила на моей памяти в ателье только одно одеяние, которое называлось «казакин». Как оно выглядело, я толком не помню.

Питание в те годы было не блестящим. Меня, конечно, не обижали. Однако после смерти отца мать не раз сокрушалась о том, что отец в те годы недоедал. Самым лакомым кушаньем по выходным дням была картошка в мундире с селедкой.

Я себя помню с четырех лет. Первое воспоминание очень четкое. Я сидел за столом и обедал. Помню даже, что ел макароны с накрошенной в них колбасой. В это время вошла мать и сказала: «Кирова убили!» Это было 1 декабря 1934 года. Дальше воспоминаний много. Нянечка брала меня с собой на рынок и в магазины. Я был мальчиком очень консервативным и всегда требовал возвращаться обратно именно тем путем, которым мы шли от дома. Чтобы заманить меня куда-либо, нянечка обещала купить мне охотничьи сосиски, которые я очень любил. Однажды в выходной я пошел на прогулку с родителями. Помню, мы зашли на Манежную площадь. Тогда на этой площади было несколько кинотеатров. Я долго рассматривал витрину около нынешнего Дома радио. На витрине в искусственном озере плавали игрушечные утки. Затем мы вышли на Невский, тогда пр. 25 Октября. Когда наступила пора идти домой, я, как обычно, потребовал, чтобы шли старым путем. Не помню, как развивалась дискуссия, но отец очень рассердился и сказал, наверное, что-нибудь вроде «Иди сам». Я и пошел. Родители не успели оглянуться, как я исчез. Было мне года 4, может быть, 5. Я построился к какому-то пожилому мужчине и рядом с ним пересек Садовую, тогда улицу 3-го Июля. Помню грузовик, который проехал поперек моего пути. Родители испугались, отец кинулся за мной, но догнал меня только на углу Большой Морской в момент, когда я уже собирался пересекать Невский. Родители были так испуганы, что мне ни капельки не попало.

Если отец не был в отъезде, то по выходным дням он всегда водил меня в музей. Помню посещение Музея этнографии, Кунсткамеры. Отец любил катать меня на плечах вокруг стола. Нянечка давала ему на работу завтрак. Как-то раз я разорвал на части игрушечную собачку и подложил ее в пакет с завтраком отца. В лаборатории завтракали все вместе и очень смеялись, когда отец вместе с завтраком вытащил игрушечную ногу от собачки. Мама даже написала по этому поводу стихи.

В день получки отец обязательно заезжал в «Елисейевский» и покупал тетерку или глухаря. (Это было уже в более поздние годы, после отмены продуктовых карточек.) Такие покупки, если их делать изредка, были нам тогда доступны. Чаше же, однако, покупалась в «Норде» плетеная корзиночка с пирожными. Однажды утром в выходной после получки я увидел у отца перебинтованную и залитую иодом кисть руки. Он вез пирожные, и при посадке в трамвай его толкнули. Что там было в деталях, я не помню, но я считал, что отец попал под трамвай. Тогда о таких случаях было очень много разговоров.

У отца от плохой еды было что-то с желудком, и он постоянно ел морскую капусту и принимал какие-то лекарства, пил пивные дрожжи, чтобы компенсировать недостаток витамина В. В конце рабочего дня в лаборатории отца часто делалась дезинфекция, и тогда от него исходил специфический запах карболки. Мать говорила, что, боясь заразиться, люди, почувствовав этот запах, сторонились отца в трамвае. Известно, что сыпной тиф передается вшами. В их желудке происходит определенная стадия развития микроба. Вшей надо кормить. Для этого добровольцам-донорам, за плату, надевали на кисть руки специальную кормушку, в которой сидели вши. Кормушки были герметическими. Внешне они напоминали часы. Отец в ряде случаев сам одевал такую кормушку. Он вообще часто ставил на себе какие-то опыты. На его предплечье иногда можно было видеть синие кружочки с номерами, нарицательные химическим карандашом. Однажды отец, торопясь с матерью в театр, забыл снять кормушку со вшами со своей руки. Эту кормушку заметили соседи по ложе и соответственно отреагировали.

Я часто бывал на работе у обоих родителей. Институт матери особых впечатлений у меня не вызывал. Больные дети, садик во дворе, и только. Интерес представляла только винтовая лестница между этажами в том отделении, где работала мать. У отца же во дворе института был животник. В нем содержались кролики и морские свинки. Я очень любил за ними наблюдать. Однажды отец принес мне в подарок «отработанную» морскую свинку Фуничку. Она прожила у нас несколько лет и умерла от старости. Я всюду брал с собой эту свинку, дрессировал ее. Она умела «умирать», то есть по команде ложиться на спину, поджав лапки. Брал я эту свинку и на дачу. Есть даже соответствующее фото. Группа взрослых дачников стоит, взявшись за руки, а впереди я с морской свинкой. Была у меня такая же свинка и в Иркутске, но это был кратковременный эпизод. После свинки у нас некоторое время жили принесенные отцом белые мышки. У меня есть подозрение, что нянечка, очень их недолюбливавшая, в конце концов, тихонько скормила мышей нашей квартирной кошке Муське.

Где-то в 1935 году разрешили елки. Игрушек тогда не было, и мы их клеили сами. Бывали елки и в институтах родителей. Елки в Институте им. Пастера я плохо помню. Говорят, что тогда на самую елку пускали мышек, а под ней сидели кролики и морские свинки. Я помню только некоторых детей, которые бывали на этих елках, но это, скорее, воспоминания 1940 года. У мамы в институте и елки, и праздничные вечера на майские и ноябрьские праздники были веселее. В институте было много больных детей. Поэтому праздники устраивались более широко, на них приглашались артисты и разные знаменитости. Так, на одном из вечеров был сам Корней Чуковский. Я знал множество его стихов и других детских произведений наизусть, и меня

к нему подвели. Я заупрямился и ничего, кроме: «Уйди!» Чуковскому не сказал. Мама говорила, что Чуковский ответил: «Ты мальчик Уйди, а я дядя Прийди». Это, однако, не помогло. В трамвае же по дороге домой я разговорился, читал стихи и расстроил маму до слез. Она переживала за ненормального ребенка.

Моя память удержала только контакты с родителями в домашней обстановке. Об их работе по малолетству я имел самые скромные представления. Помнились только частые отъезды отца, то, как он дома катал меня на плечах, гулял вместе по выходным, а если иногда приходил домой рано, то и по вечерам. Помнилось и ожидание вестей от него.

Как я уже говорил, отец был любознателен. Это замечалось мною и в довоенный период. В 1936 году в Ленинграде пустили первую линию троллейбуса. Она проходила недалеко от нашего дома. Это вызвало огромное любопытство. Помню, бабушка Перельман гуляла со мной и со своим внуком, моим лучшим другом Сашей, в Исаакиевском скверике. Вдруг около Исаакиевского собора появился первый троллейбус. Бабушка схватила нас за руки и кинулась бегом, чтобы поближе рассмотреть невиданную машину. Она была высокого роста, и мы едва успевали за ней. Вечером того же или следующего дня отец вместе со мной отправился прокатиться на троллейбусе. Машины были переполнены, и можно было проехать только от одного конца линии — это было рядом с нами на площади Труда — до другого, на Красной площади. Теперь это площадь Александра Невского перед Лаврой. Отец выстоял со мной очередь, втиснулся в машину и проехал сначала в одном направлении, а затем, после новой посадки, и в другом. В принципе, через несколько дней это можно было бы сделать и в более спокойной обстановке.

1 мая и 7 ноября на Дворцовой площади бывали военные парады. Военная техника с парадов уходила по Конногвардейскому бульвару, тогда бульвару Профсоюзов. Отец вместе со мной пробирался к выезду с бульвара на площадь Труда. Он показывал мне технику, объяснял разницу между танком, танкеткой (было и такое), броневиком. Подозреваю, что ему и самому было достаточно интересно.

Он был весьма обязательным человеком, поэтому всю жизнь ходил на демонстрации, чтобы не отдаляться от коллектива. В те годы, когда это еще не были «демонстрации представителей трудящихся», такой поход требовал большого времени. Демонстранты возвращались домой в 3-4 часа пополудни. На демонстрациях можно было зайти в пивнушку. Как отец, я не знаю, но в послевоенные годы это делалось частенько.

Дом на Мойке был близко к Дворцовой площади с той стороны, откуда входили на нее демонстранты южных районов. Поэтому в празд-

ничные дни наш район бывал оцеплен, везде стояли грузовики, перекрывающие улицу. Колонны районов заходили на площадь в две очереди. Петроградский район, где работали родители, проходил в первую очередь, но попасть домой было трудно. В студенческие годы я наловчился проходить домой, пролезая под машинами, и один раз изорвал при этом новые «лендлизские» брюки.

В 1936 году была демонстрация в поддержку новой Конституции. Отец взял меня с собой, но, когда мы приблизились к нашему кварталу, нас задержали в связи с тем, что по нашему району движение еще не открыли. У отца не оказалось с собой паспорта, и мы сидели в пикете милиции при клубе фабрики им. Володарского на Исаакиевской площади в одном квартале от дома, а дежурный по телефону звонил куда-то и проверял, действительно ли мы прописаны по указанному отцом адресу.

В это же время в квартиры стали проводить радиотрансляцию: ставили знаменитые тарелки. Раньше тарелку поставили у Холмянских, и мы с мамой ходили туда слушать доклад Сталина о новой Конституции. Поставили тарелку и нам. У соседей тарелок еще не было. Лычи приходили в нашу комнату и слушали прямую трансляцию московских процессов. Отца при всех этих радиослушаниях не было. Полагаю, он был в очередной поездке. Иначе при его характере он обязательно бы присутствовал при этих мероприятиях.

Отец был вспыльчив. Помню в выходной день мы с нянечкой пошли на Троицкий рынок. Она купила мне воздушный шарик и деревянный топорик. Я пришел домой. Отец усталый лежал на диване. Я несколько раз подбежал к нему и стучал топориком по ноге. В конце концов, он вскочил и ладонями хлопнул по шарик. Тот лопнул. Это запомнилось мне на всю жизнь. В другой раз мы с отцом стояли в очереди за билетами вперед кассой кинотеатра «Баррикада». Вдруг какой-то молодой здоровый парень полез вперед, расталкивая стоящих. Все молчали. Отец подошел к нему и спокойно вышвырнул вон.

Когда я немного подрос, то начались мои занятия в немецкой группе. Немка, Юлия Ивановна, приходила с утра и гуляла с нами, детьми, разговаривая с нами только по-немецки. В нашу группу входили Саша Перельман, Никита Смирнов, живший рядом на Мойке, сын архитектора. Впоследствии он стал одним из дирижеров в знаменитом студенческом хоре университета, которым руководил Сандлер. Нашу немецкую группу посещала и Тата Холмянская, дочь маминой сослуживицы Доры Моисеевны. Она также жила рядом. Все мы были одногодки. Были и другие дети, которые посещали группу периодически.

Мы гуляли с утра, затем шли обедать. По очереди в течение недели мы обедали в семьях детей, посещавших группу. У Перельманов мы обедали на кухне. Под столом при этом всегда лежал большой пес по име-

ни Ральф. У меня был плохой аппетит. Поэтому я, а иногда и другие дети тихонечко отдавали часть обеда Ральфу. Когда я пошел в школу, Юлию Ивановну сменил приходящий учитель немецкого языка Фридрих Георгиевич. И он, и Юлия Ивановна были прибалтийскими немцами. Судьба их после 1941 года мне неизвестна, но думаю, что она была печальной. Так или иначе, но мы все к началу войны свободны говорили и читали по-немецки. Естественно, наш словарный запас определялся возрастом и кругом наших интересов.

Летнее время мы проводили на даче. Первоначально дачи снимались по Варшавской железной дороге. Сначала это была Карташевская, ныне платформа Карташевская. С хозяйкой этой дачи и ее дочерью Женей — портнихой — мы поддерживали долгое знакомство и в послевоенные годы, после смерти отца. Затем была Сиверская. Там была не дача, а детский санаторий. Мама работала врачом в этом санатории в свой отпуск. Отец же летом почти не отдыхал. На все снятые дачи надо было возить продукты и керосин для примусов. Керосин из соображений пожарной безопасности в поездах перевозить запрещалось. Отец ставил тару с керосином в одном углу вагона, а сам ехал в другом, чтобы в случае проверки никто не узнал, кому принадлежит керосин.

Летом 1935 и 1936 годов мы снимали дачу в Луге. Это уже далеко от города, свыше 100 км. Ехать туда надо несколько часов даже сейчас. Один год мы жили в Луге рядом с Перельманами. Мы, мальчики, бегали смотреть поезда, боялись какой-то лужи на дороге, в которой «можно было утонуть», ждали солнечного затмения, о котором прочитали в детском журнале «Мурзилка». Недалеко от нашей дачи был входной семафор станции. Скорый поезд, приближаясь и видя три поднятые крыла семафора, начинал тормозить, поднимая страшную пыль. Мы бежали смотреть на этот поезд и кричали: «Пылевой идет!».

В 1937 году родители изменили Варшавской железной дороге и сняли дачу в южной части Карельского перешейка в Токсово. Наш город и сейчас расположен недалеко от финской и эстонской границ. В довоенный же период до финской войны 1939/40 годов Финляндия была совсем рядом. До Сестрорецка и Белоострова расстояние по железной дороге всего около 30 км. Поезд между Сестрорецком и Белоостровом идет буквально по старой границе. В довоенные годы на этом участке на каждой ступеньке дачного поезда ехал пограничный наряд. Для въезда в пограничную зону нужны были пропуска, так же как и для житья в Токсово. Благодаря этому там было мало народа, полно грибов и вообще очень тихо.

Дача в Токсово была снята примерно в 3-4 км от станции, на маленьком хуторке рядом с деревней Рапполово. Также именовался и

хуторок. Хозяйкой была финка Лиза. (Правильнее, наверно, Лииза.) У нее были взрослые дети — дочка Валя и сын Ленька, отлично собиравший грибы. Корову звали по-фински. Хозяйка вечером звала ее, крича «Кульки йомма». Йиомма по-фински — это что-то вроде река или вода. Меня, как и положено в России, моментально выучили ругаться по-фински. Рядом в домике жили наши друзья Бронштейны, еще далее Холмянские и друзья Бронштейнов Лебединские. Мальчишки были старше меня, но я отчаянно дрался с ними, так что один раз нас даже разнимали, лупя мокрыми тряпками. Вообще же лето было интересное. Родители часто наезжали. Большой компанией ходили купаться на речку.

1937 год был в разгаре, и как бы все кончилось для нас, сказать трудно. Судьба, однако, выкинула неожиданный трюк. В Иркутске был такой же Институт микробиологии и эпидемиологии, как и тот институт им. Пастера, в котором работал отец. По рассказам отца, когда группа ленинградцев приехала заново поднимать этот институт, он был настолько пуст из-за арестов, что обязанности директора, командовавшего, естественно, только оставшимся младшим персоналом, по совместительству исполнял начальник соседнего отделения милиции.

Из Ленинграда в Иркутск послали трех человек, в том числе и отца. Откомандирование было серьезным. Заведывание лабораторией отца было передано сотруднику этой же лаборатории Константину Николаевичу Токаревичу. Он был членом партии и в тот период жутким пьяницей. Впоследствии, когда отец возмущался теми пакостями, которые творил Токаревич для удержания за собой лаборатории по возвращении отца в Ленинград, он не раз повторял: «Я его спас, вытащив из левотины его партбилет, когда он пьяный валялся на полу в лаборатории, а он...». С похожими явлениями нам всем приходилось сталкиваться в жизни. Токаревич был любвеобилен, и у него были дети, кроме жены, от одной, а может быть и от большего числа сотрудниц института. Как я уже писал, его внучка стала корреспондентом газеты, и о чем бы ни писала в нынешние времена, касаясь дел института, она всегда из всех его сотрудников пишет в первую очередь только о своем деде, что до известной степени естественно.

Когда отец расстался с лабораторией, ему подарили на память наручные часы фирмы «Мозер». Тогда это была большая ценность и редкость. По какой-то причине в блокаду отец завел карманные часы «Лонжин». После войны, точнее в 1944 году, часы попали в мои руки. Вскоре соседка по квартире украла их. Я пишу об этом потому, что на обороте часов была дарственная надпись и число: 17 сентября 1937 года. Это число я хорошо запомнил. Таким образом, отец уехал в Иркутск в сентябре 1937 года. Эта командировка длилась более двух лет.

Иркутская командировка отца

Я хорошо помню отъезд отца в Иркутск. Мама взяла меня с собою на вокзал. Мне запомнились вагон и отец в окне тронувшегося поезда. Поезд уходил с Северного вокзала. В былые времена в городе вокзалов было больше, чем сейчас. Нынешний Финляндский вокзал возник из объединения вокзала, обслуживавшего до революции финское направление, Приморского вокзала в Новой Деревне и вокзала, кажется, Ириновского направления. В дореволюционные времена поезда от Приморского вокзала ходили в сторону Сестрорецка и Удельной. Ириновская линия до революции была узкоколейной. На Лиговке рядом с Московским вокзалом было здание, откуда отходили поезда на Мурманск и в сторону Ярославля. Его в просторечии называли Северным вокзалом. Постепенно все это слилось с Николаевским (Московским) вокзалом.

Я был уже достаточно большим, чтобы почувствовать, как изменилась наша жизнь после отъезда отца на столь длительное время. В мой обиход вошло ожидание писем от отца. С малыми перерывами я ждал эти письма до осени 1944 года. Отца в Иркутске встретили очень хорошо. У него были прекрасные жилищные условия. Он организовал лабораторию. Какой тематикой она занималась, я не знаю. Как и в Ленинграде, отец совмещал работу в институте и в Облздраве. Мать часто говорила о том, что если бы мы остались в Иркутске, отец не испытал бы нового голода во время войны и вообще работал бы в более спокойной обстановке. Однако он очень стремился вернуться, чтобы продолжить серьезную научную работу.

Мать сохраняла за нами жилплощадь. Только сравнительно недавно я осознал, как трудно было родителям. Много лет они провели в разлуке. Немало семей и в более простых условиях, а также и во время войны, распалось. Родители же сохранили верность друг другу. Мать 25 лет прожила вдовой и, несмотря на наличие предложений, даже не помышляла о том, чтобы снова выйти замуж. Как складывался быт отца в Иркутске, я ранее не задумывался, а ведь надо было питаться, обслуживать себя, стирать, гладить, как-то проводить свободное время. Это было очень непросто.

Иркутск в советские времена всегда был голодным городом. Есть некоторая загадка в том, например, что в Ростове-на-Дону и Волгограде, расположенных в богатейших сельскохозяйственных местностях, в советское время всегда были проблемы с едой. Новосибирск был намного голоднее расположенного рядом с ним Кемерово. Ну, а Иркутск — это Сибирь. Правда, знатоки говорят, что чуть далее, в Чите, с едой было проще. Я побывал в Иркутске где-то на рубеже 70-х годов. Вне гостиницы и гостей пообедать было просто негде.

В письмах отца в довоенные годы говорилось, что основные иркутские лакомства — это черемша (род дикого чеснока) и пироги с черемухой. Зима в Иркутске холодная. Морозы за тридцать градусов частое явление. Сохранилась адресованная мне открытка отца со снимком зимней иркутской улицы, скорее всего, главной — ул. Карла Маркса. На снимке люди в шубах, с поднятыми воротниками. У всех изо рта идут клубы пара. Папин текст на открытке о том, какие морозы в Сибири. В такие морозы замерзшее молоко на базаре отрубают топорами и продают на вес. Пельмени тоже замораживают, еще осенью. Зимой их также отрубают топорами и в таком виде продают. Отец слал нам подарки и, надо думать, деньги. С этими подарками связана забавная история. Отец прислал нам посылку с маленькими прикроватными ковриками, чтобы у мамы и у меня не мерзли ноги. Естественно считалось, что это были сибирские коврики. Мать со временем присмотрелась и снизу нашла метку, на которой было указано, что коврики изготовлены на псковской фабрике.

У меня сохранилось много воспоминаний о предвоенном периоде. Это было сложное время: репрессии (я о них мало знал), испанская война, Хасан, Халхин-гол, финская война, вход наших войск а в Прибалтику и Молдавию, польская кампания 1939 года. Эти события тоже памятли мне. Однако увязать их вместе, то есть свести воедино быт и внешние события очень трудно. Только зная реальную хронологию, можно все каким-то образом сопоставить и увязать в некую разумную систему. При этом временные рамки оказываются не всегда точными.

События в Испании начались до отъезда отца. Для детей это были рассказы о пароходах с испанскими детьми, футбольные матчи со сборной Басконии, испанские шапочки с кисточками: мужские имели кисточки спереди, а женские сбоку. Продавались испанские апельсины. Каждый апельсин заворачивался в папиросную бумагу, на которой был изображен верблюд. Именно в этот период дядя Ионя брал меня с собою на футбольные матчи с Турцией, которые проходили на стадионе им. Ленина. Ныне это стадион Петровский. Около нашего дома жил знаменитый нападающий Петр Дементьев, Пекка, описанный Кассилем. Все мальчишки на Мойке бегали на него смотреть и хвастились знаменитым соседом.

Интересно, как все запоминалось. Помню, как перед отъездом отца мы пошли в кинотеатр «Аврора» (до революции «Пикадилли») смотреть нашумевшие фильмы: «Веселые пингвины», «Три поросенка» и «Кукарача». Перед началом, как обычно, показывали киножурнал: награждение наших военных, прибывших из Испании. Лента оборвалась, когда на экране было изображение ордена Боевого Красного Знамени. Это запомнилось даже более ярко, чем диснеевские

фильмы. «Кукарачу» я, вообще, не запомнил. Самое же интересное: в фойе кинотеатра продавали новое, невиданное ранее, мороженое на палочках — эскимо. Были изготовлены специальные ларьки в виде пингвинов, и стоящие внутри животы этих пингвинов соответственно одетые продавщицы торговали мороженым. Конечно, родители купили мне эту невидаль. Это мне отлично запомнилось.

Ожидание писем от отца отвлекало мое внимание от работы матери. Зима же 1937/38 года была связана с первыми выборами в Верховный Совет. В доме на улице Герцена, там, где после войны помещалась спецпочта, давался концерт самодеятельности для избирателей из нашего дома. Были там и мама с нянечкой, и я. Выступал человек с «художественным насвистыванием мелодий», пелись частушки о миленке, который «с пьяных глаз нацепил противогаз». Эти частушки я помню до сих пор.

На Исаакиевской площади, при огромном стечении народа, был митинг, посвященный встрече с нашим будущим депутатом — Тевосьяном. Площадь была забита до отказа. Была видна трибуна с человеком в зимней шубе и шапке с поднятыми ушами. 12 декабря, после голосования, мать первый раз в жизни повела меня в Мариинский театр на «Щелкунчика». Билеты у нас были в «Ложу стахановцев», бывшую Царскую ложу. Балет я запомнил плохо. Больше запомнились занавес и ожидание. Ну и, конечно, запомнилась сцена с мышами. «Щелкунчика» Гофмана я прочел уже взрослым и был поражен, как из этой повести удалось вытащить столь милый кусочек для создания либретто.

Походы в Мариинский театр были для меня праздником. Всего до войны я был там 6 раз и долго помнил каждый поход. Мать стремилась по возможности развлекать меня. В эти годы мы зимой часто ходили по елкам. Сохранился фотоснимок елки у сына Маруси Беклемишевой Юры Паукера в их доме на ул. Некрасова. Три испуганных вспышкой магния малыша в коротеньких штанишках стоят, прижавшись друг к другу возле украшенной елки. Особенно хороши были елки у Бронштейнов. Все было с выдумкой и фантазией. Один раз мы ловили рыбу. В комнате стояла ширма. Мы забрасывали удочку и слушали объявление, например: «Ловит Вова Романенко». Звонил колокольчик, и вытаскивалась большая бузьяная рыба, внутри которой был подарок. На следующий год на ширме висели картонные звери, к которым были привязаны подарки. Нам дали пистонное ружье. Конечно, объявлялось имя стрелка. После выстрела зверь, висевший на ниточке, падал. Я долго целился в обезьяну, к которой была привязана коробка цветных карандашей КИМ, сокращенно Коммунистический интернационал молодежи — так тогда назывался комсомол. Эти карандаши были моей мечтой. Я был в «летчикском костюме», то есть в костюмчике, к которому на воротничке были прикреп-

лены авиационные эмблемы. Пока я целился, кажется Ильюша Пигулевский, который вместе с сестрой был одет в поварские костюмы, уважительно сказал: «Летчики всегда метко стреляют». Тем не менее, упала не обезьяна, в которую я целился, а зверь с прикрепленным к нему желтым автомобильчиком. Расстройство мое было столь велико, что и сейчас в моей памяти ясно представляется вся эта картина.

Я пишу о елках, чтобы вспомнить еще одну, самую яркую и памятную. Мама отвезла меня на Петроградскую сторону, в большую квартиру каких-то своих знакомых. Их я или не знал, или просто не помню. Сдвинутое от центра комнаты к углу стояло большое пушистое дерево с игрушками. Дети водили хоровод. Потом кто-то из взрослых предложил взяться за руки и пойти по квартире. Мы двигались по таинственному полутемному коридору, видели чьи-то шубы, заходили в другую комнату. Это была самая интересная и памятная елка в моей детской жизни. Много лет спустя, после войны и смерти отца, я в разговоре с мамой вспомнил об этом празднике. Тогда она мне рассказала, что это была квартира, в которой старшее поколение принимало участие в революции. У них в предреволюционные годы скрывался от ареста Молотов (Скрябин, дядя Вяча). Во время памятной елки пришло НКВД арестовывать хозяина. В квартире шел обыск, и нас водили из комнаты в комнату, чтобы мы не мешали. Естественно, что когда родственники обратились за помощью к Молотову, тот даже не ответил. Как говорится, по comments.

Той зимой остро встала проблема, непонятная нынешним людям. Меня надо было мыть. Ванна в квартире постоянно не работала. В баню же мне ходить было не с кем. Для женского отделения я уже был велик. В отделение «Мать и дитя» тоже по каким-то обстоятельствам меня водить было невозможно. Как выходили из положения, я плохо помню, а вот как обсуждали эту проблему, я помню отлично.

Однажды приехал в командировку дядя Ионя. Он вообще часто бывал в Ленинграде по делам. Второй дядя — Марк — до войны приезжал со своей второй женой Розой Марковной только один раз. Приезжал он и в одиночку. В тот приезд он был одет в спортивный пиджак, то есть пиджак с кокеткой и поясом на спине. Но самое главное — на нем были штаны, кончавшиеся чуть ниже колена — гольфы. Это считалось очень спортивным. Когда дядя шел по улице, мальчишки бежали за ним с криками «иностранец». Иностранцев и шпионов в журналах и газетах всегда изображали одетыми именно так. В один из приездов дядя Ионя он остановился в роскошном одноместном номере гостиницы «Астория». Номер имел ванну. Точнее, ванная комната была между двумя одноместными номерами. Входя в нее, надо было изнутри запереть дверь соседнего номера. Вот туда меня и отвели мыться. Это было мое первое в жизни посещение ванны.

С московскими братьями матери родители постоянно поддерживали контакт. Однажды даже меня взяли в Москву на ноябрьские праздники. Когда мы уезжали, шел жуткий дождь. Я просудился и заболел. Все праздники я просидел у дяди Иони в постели, играя подаренным мне игрушечным деревянным поездом.

Годы работы отца в Иркутске совпали с очень коротким периодом, когда детским врачам-психиатрам полагался трехмесячный отпуск. Имела такой отпуск и мама. Поэтому летом 1938 и 1939 года мама вместе со мной и с нянечкой ездила в гости к отцу в Иркутск. Впечатления от этих лет в Иркутске были очень яркими, но разделить их по годам мне трудно. Так и опишу их вместе.

Летом 1938 года мы уезжали в Иркутск с той же платформы, что и отец. Ехали прямым поездом № 77. Этот прямой почтовый поезд шел до Иркутска, так называемым южным путем: в объезд Москвы, наверно где-то через Ярославскую область, затем еще южнее к Пензе, с которой у меня связаны военные воспоминания. Где поезд пересекал Волгу, не помню. Скорее всего, это было в Самаре (Куйбышеве), где в 20-е годы служил отец. Далее поезд шел через Уфу. Ну а затем все пути сходятся к Екатеринбургу (Свердловску).

По расписанию поезд должен был быть в пути 7 суток. Провожал нас дядя Ионя. Он, похоже, и позаботился о наших билетах. У нас было два нижних места в мягком вагоне. С кем спал я — с нянечкой или с мамой — не помню. Однажды ночью я упал с полки, поцарапал зад. После этого я долгие годы, почти до третьего курса, боялся спать на верхних полках поезда — вдруг упаду. Мягкие вагоны не были самыми шикарными на сибирских линиях. Были еще и международные — с двумя спальными местами: одним обычным нижним, и другим, расположенным вдоль хода поезда, верхним.

Перед отъездом, по словам матери, пошли в Елисеевский магазин. Я не знаю, кто ходил с мамой в этот магазин. В те годы в некоторых магазинах еще сохранились дореволюционные продавцы. Что это такое, мы с женой узнали в хрущевские годы. Тогда мы с ней отправились покупать мне костюм в фирменный магазин фабрики им. Володарского. Нас встретил пожилой продавец, обсуждал с нами все детали, объяснял, помогал в выборе. Оказалось, что это дореволюционный продавец одного модного магазина на Невском. Он рассказывал нам, как начинал в этом магазине мальчиком, как его заставляли учить иностранные языки и прочее. В тот период его, уже пенсионера, пригласили передать опыт обслуживания молодежи. Он числился консультантом и очень сердился на то, что юные продавщицы, комсомолки, как он их называл, ничего перенимать не хотят. Сейчас все это смешно вспоминать.

Не очень давно губернатор Яковлев провозгласил создание института городских на Невском проспекте. Они должны были в специаль-

ной форме ходить по Невскому и следить за порядком. Было объявлено, что городские будут владеть тремя иностранными языками. Ничего из этой затеи не вышло. Городские вскоре исчезли. Ну, а насчет трех языков, так они, вероятно, были как в известном анекдоте: русский, командный и матерный. Вообще, такие идеи характерны для наших городских властей. Секретарь обкома Романов увидел в Риге девушек — регулировщиц уличного движения. Немедленно и у нас было организовано специальное подразделение из милловидных девушек, которых научили красиво махать палочками и расставили вдоль правительственных трасс. Это начинание оказалось кратковременной затеей. Кстати, до войны на углу Садовой и Невского стоял знаменитый регулировщик, тоже красиво махавший палочкой. Все, в том числе и я с родителями, ходили на него любоваться.

Итак, пошли в Елисеевский магазин и попросили приготовить еду на 7 дней на троих. Продавец нарезал чайную колбасу, сделал бутерброды на первое утро. Дальше пошли бутерброды с сыром, затем с полукопченной колбасой. Все это заворачивалось в специальные пакеты по дням. Обед не организовывали: в поезде был вагон-ресторан. На мать все эти приготовления произвели сильное впечатление, она долгие годы вспоминала о наших сборах.

В дороге я читал книгу про медвежонка Егорку, но большую часть времени простоял у окна. Насмотрелся я всякого, и впечатлений, часто отрицательных, хватило мне на долгие годы. В то время было много железнодорожных аварий и крушений. Говорили о вредительстве. Что-то из таких аварий повидал в пути и я. Около Уфы я видел из окна, как под паровоз попала женщина. На долгое время, вплоть до возвращения в Ленинград из эвакуации в сентябре 1944 года, я, хоть и любил железную дорогу, страшно боялся переходить пути, лезть под вагоны, что часто делалось, чтобы пересечь железнодорожную линию. Боялся я и многого другого. Мать опасалась, что я буду пугаться трамваев при возвращении в Ленинград из эвакуации. В действительности же все обошлось. Я и ездил, и прыгал на ходу и вытворял много мальчишеских трюков, хотя самый рискованный — прыжок с левой стороны площадки прицепного вагона на такую же площадку встречного — я никогда не рисковал сделать. Ну, а спрыгнуть на Троицком мосту с последней площадки медленно поднимающегося на мост трамвая, пробежать вперед и прыгнуть на площадку первого вагона, было не страшно. Наиболее отчаянные в верхней части моста, когда дуга токосъемника опускалась вниз, быстро накручивали свободный конец веревки от дуги на ручку вагона и спрыгивали. Трамвай разгонялся с моста, но дуга не могла подняться и где-то уже на площади вагоновожатый, страшно ругаясь, для чего все и затевалось, выходил из вагона и освобождал дугу.

Наш поезд не торопясь двигался в направлении Иркутска. В пути бывали длительные стоянки, иногда до часу времени. Мама с нянечкой выходили из вагона и шли на базар закупать продукты для Иркутска. Помню множество яиц, которые закупили в Пензе в запас для отца. Дорога была пыльная. Поэтому на узловых станциях к поезду подходил маневровый паровоз, знаменитая «Овечка», и заполнял горячей водой из котла баки в туалетах. После этого все шли умываться горячей водой. Говорили, что в международных вагонах экспрессов, шедших из Сибири в сторону Москвы, были души (Хабаровский экспресс) и даже ванны (Владивостокский экспресс). Нам довелось ездить только Иркутским экспрессом, где этого не было. Так что я слышал только разговоры об этом от попутчиков.

Все сибирские экспрессы шли не до Москвы, а до западной границы — белорусской станции Негорелое. Такой экспресс показан в популярном перед войной фильме «Девушка с характером». Сибирский экспресс проходил расстояние между Иркутском и Москвой — это где-то 4,5 — 5,0 тыс. км за четыре с половиной дня. Это около половины пути до Владивостока. Недаром в студенческой песне иркутских студентов поется: «Любимый Иркутск, середина земли».

Поезд наш медленно полз в сторону Сибири. Я ждал знаменитого столба «Европа — Азия», но проспал его. Приключения начались в Сибири. Поезд сбился с расписания. У нашего вагона горели буксы. Их пытались чинить, но, в конце концов, вагон отцепили, а нас пересадили в обычный плацкартный вагон. Затем поезд застрял и долго стоял на маленьком полустанке. Это был 1938 год, напряженная обстановка у восточных границ, через некоторое время Хасанские события. Мы пропустили воинские эшелоны. Все пассажиры истомлись. Когда наконец поезд тронулся, я громко закричал: «Спасибо товарищу Сталину!» На дорогу до Иркутска мы затратили вместо 7 целых 9 дней. Больше мы так не ездили. Возвращались экспрессом с пересадкой в Москве. На следующий год и туда, и обратно ехали через Москву.

Иркутск в те годы практически весь располагался только на правом, северном, берегу Ангары, которая в пределах города течет почти в направлении с востока на запад. На левом берегу, близко к реке, располагался тогда только вокзал. В Иркутске жаркое лето, но где-то в конце июля около двух недель идут проливные дожди. Это по моим воспоминаниям. В одно из лет, когда мы жили в Иркутске, вокзал и камеру хранения затопило поднявшейся от дождей речной водой. Весь город рассказывал, как плавали чужие чемоданы.

Правый и левый берега реки соединял мост. Сейчас есть еще одно сообщение между берегами — плотина ГЭС. При ее постройке затопили острова, находившиеся выше города, где в довоенные време-

на были дачи. Мы с родителями как-то ездили туда на моторной лодке и даже купались там в Ангаре. Вообще же в Ангаре купаться невозможно. Вода безумно холодная, а течение столь быстрое, что даже в самые сильные морозы река практически не замерзает. Лед быстро взламывается. Может быть, сейчас, в связи с постройкой плотины, все изменилось — право не знаю.

Иркутск старинный и очень интересный город. В нем было много деревянных домов, часть из которых сохранилась до настоящего времени. На главной улице, которая до революции называлась Большой, а теперь Карла Маркса, после пожара 1879 года было запрещено строить деревянные здания. Войны город не затронули, и в центре до сих пор имеются образцы строений каменной купеческой архитектуры.

Главная улица начинается от сада или сквера на берегу Ангары. Во времена моих приездов он назывался Садам имени Парижской Коммуны. Здесь стоит обелиск, посвященный завершению строительства Транссибирской магистрали. Иркутск ведь на самом деле лежит на середине этого пути. До революции на постаменте этого памятника высилась фигура Александра III — императора, подписавшего указ о начале строительства магистрали. После революции фигуру царя снесли, и вместо нее появился обелиск. Сейчас есть проект восстановления первоначального облика памятника.

Если стоять лицом к Ангаре, то с правой стороны в доме, построенном Кваренги, — бывший дворец генерал-губернатора. Теперь в нем расположена научная библиотека Иркутского университета. Была ли она там до войны, не знаю. Рядом в доме № 1 сейчас одно из зданий университета. Следующий дом № 3 — это бывшая усадьба купца Мятлева. С самого начала здания этой усадьбы предназначались для сдачи в наем под квартиры и учреждения. В двухэтажном корпусе во дворе с 1920 года работает Иркутский институт эпидемиологии и микробиологии. Именно в этот институт и была направлена группа из трех ленинградцев, в которую входил и мой отец.

Чуть дальше улица Карла Маркса пересекается с улицей Марата, которая в дореволюционные времена называлась Луговой. Недалеко от места пересечения улиц в 1933–35 годах по проекту архитектора Миталы был построен многоквартирный серый дом под № 29. Дом был заселен учеными и деятелями искусства. Такие дома строились во многих городах бывшего СССР в середине 30-х годов. Они часто, как и в Иркутске, назывались «Дом специалистов». Вот в этом доме и жили ленинградские врачи. На снимке парадная, в которой они жили, закрыта деревьями. В те годы деревьев не было. Квартира, в которой жил отец, располагалась на третьем этаже и имела № 5. Общий балкон с квартирой, относящейся уже к другой парадной, хорошо виден на фотоснимке.

Отец встретил нас на вокзале и повез домой. Он жил в квартире вдвоем с доктором Павловым. Их квартира была четырехкомнатной. Этажом выше жил глава делегации Никифор Павлович Иванов — «Никешка». Он жил с женой и дочерью Галей, почти моих лет. Жила ли семья с ним постоянно, или, как и мы, приезжала на лето, я не знаю. Никифор Павлович вернулся в Ленинград, но большой карьеры не сделал. В Иркутске же он был директором института, в котором работали и отец, и Павлов. После войны отец несколько раз встречался с Ивановым. Я тоже пару раз пересекался на своем жизненном пути с Галей. Она окончила филологический факультет нашего университета по испанскому языку. После этого работала библиотекарем в Публичной библиотеке. Бывая в библиотеке, я иногда сталкивался с нею, но после смерти наших отцов встреч уже не было.

Павлов занимал две комнаты по разные стороны коридора сразу от входа. У отца же были две смежные комнаты. Одна, большая, с балконом, когда мы приезжали, использовалась в качестве столовой. Вторая служила спальней мне и нянечке. Ни Павлову, ни отцу, когда они жили вдвоем, столько площади было не нужно. Поэтому во время наших приездов Павлов уступал одну из своих комнат отцу, под его и мамину спальню. С отцом они жили дружно, играли в шахматы. Как я уже говорил, я не имею ни малейших представлений о том, как они вдвоем вели свое хозяйство во время нашего отсутствия. Судьба Павлова после окончания командировки мне также неизвестна. Что-то смутно помнится о его семейных неладах. Но это так смутно, что ничего определенного я и подумать не могу.

Когда мы впервые вошли в квартиру, отец повел меня в большую комнату и под диваном показал морду с блестящими глазами. Это был пес Тобик — обычная беспородная дворняга. Пес был страшно умным. Он быстро научился открывать чемодан с привезенными яйцами и поедать их. Пес вызывал возмущение и у коменданта нашего дома. Дом для Иркутска был аристократическим. У многих были породистые псы, а тут какая-то дворняга. Нянечка, сердитая на пса за яйца, решила от него избавиться. Она повела его далеко за базар и там бросила. По дороге домой она заблудилась, а когда вернулась домой, пес уже ждал ее у входа в квартиру. Как-то все же от пса избавились. На следующий год у нас появилась породистая собачка, почти шенок — пойнтер Ангара. Внешний вид ее коменданта устраивал. Правда довольно скоро выяснилось, что собака перепутала парадные подъезды. Принадлежала она кому-то другому и прожила у нас недолго, так как ее пришлось вернуть хозяевам. В год первого приезда, слушая о подвигах Тобика с яйцами, я решил высидеть цыпленка. Я положил яйцо между двух подушек и дня три сидел на них, не слезая с места. Потом то ли меня прогнали, то ли мне надоело, но только дело закончилось безо всякого результата.

В соседней квартире, имевшей с нами общий балкон, разделенный перегородкой, жила семья известного врача-отоларинголога с двумя детьми — мальчиками моложе меня. Их воспитывали чисто по-медицински, с объяснением опасности грязи. Лето в Иркутске жаркое. Поэтому однажды, когда пошел дождь, я на радостях выскочил на улицу и стал босиком плясать в лужах. Один из детей врача-соседа выскочил на балкон и со страшным еврейским акцентом стал кричать: «Ой, он умрет, он заразится!» Когда я в 1970 году был в Иркутске, один из сыновей этого врача продолжал еще жить в своей доверенной квартире.

Дома на противоположной стороне улицы были сплошь деревянными. Все дети в этих домах имели педальные автомобили — мою мечту, так никогда и не реализованную. У одного из мальчишек по фамилии Майоров я иногда брал такую машину, чтобы покатайся. От дома до работы отца было близко, и путь был безопасный. Меня часто отпускали одного в институт к отцу. Поэтому я все легко вспомнил, когда вновь попал в Иркутск. Только номера домов я запомнил не совсем верно, но это ведь естественно после многолетнего перерыва. Облздрав, где также работал отец, был недалеко, на той же улице Карла Маркса, что и институт. Недалеко от нашего дома был и Театр юного зрителя, куда меня иногда водили. Но я был еще маленьким, далеко от дома не ходил и помню только небольшую часть города. Что в нем видел мой отец за два с лишним года жизни и с чем познакомилась моя мать во время наших приездов, я, естественно, не знаю.

Жизнь отца в Иркутске протекала почти так же, как и в Ленинграде. Время делилось между лабораторией, Облздравом и командировками. Иркутская область большая. Мой ученик Витя Хейфец последние годы жизни в России работал на севере области в Усть-Илимске, куда когда-то ссылали Радищева. Его дочь училась в Иркутском университете. В послевоенное время до Усть-Илимска протянули железную дорогу. Но и сейчас путь по железной дороге от Иркутска до Усть-Илимска занимает целые сутки. Отец ездил и по области и за ее пределы. Бывал он и в Бодайбо на знаменитых Ленских золотых приисках.

Обстановка в местах командировок была та же, что и на севере: лагерь, вспышки эпидемий и прочее подобное. В некоторые места вообще было невозможно добраться обычным способом. Отец рассказывал о каком-то прииске, до которого летом на барже добирались по три месяца. Отец летал самолетом, ездил по плохим дорогам и испытывал все тяготы походной жизни. Ездил ли так Павлов, я не знаю. Никифор Павлович, как администратор, сидел главным образом на месте. Конечно, отец старался к нашему приезду «рассосать» командировки. Тем не менее, ездить ему все же приходилось. Иногда он брал нас вместе с собой. Помню, как мы с мамой и отцом си-

дели в какой-то поездке на открытой веранде некоего дома и смотрели кинофильмы «Мы из Кронштадта» и «Трактористы». У кинемеханика был только один аппарат, который он привез на грузовике. Картину смотрели по частям, а в перерывах ждали, пока перемотают ленту. Со светом было плохо. Электричество для кинопроектора давал движок автомобиля.

И мне, и маме особенно запомнилась командировка в Тулун. Не помню уж в 1938 или 1939 году это было. Тулун расположен на пересечении железнодорожной магистрали до Москвы с рекой Ия. Расстояние до него от Иркутска немалое. Летели мы туда самолетом. На самом деле это была маленькая машина, что-то типа знаменитого У-2. Может быть, это и был У-2. В машине было две открытых кабины. В первой сидел летчик. Для тепла он был одет в синюю шинель. На нем были летный шлем и очки. Мы сидели на дне второй открытой кабины прямо на полу и тоже были одеты в шинели и шлемы. Выглянуть через стену кабины наружу было невозможно. Такие самолетики летают низко, и их всегда болтает. Болтанка в тот раз была большая. Даже отец, много полетавший, был весь зеленым. Меня же быстро укачало, тошнило. Когда приземлились, я бросился бегом по летному полю прочь от самолета. Пахло бензином. От этого запаха меня мучило потом долгое время. После этого я впервые полетел уже на ИЛ-14 в 1956 году. Впоследствии меня никогда не укачивало, даже когда другие мучились. Ну и самолеты теперь другие.

С аэродрома в Тулуне мы ехали на маленьком автобусике — ГАЗике. Стояли у железнодорожного переезда, перед нами проходил длинный поезд. Мы насчитали более двухсот вагонов. Это в двухосном исчислении. Современных вагонов было бы вдвое меньше, но все равно немало. Поезд шел на двойной или тройной тяге. Что мы делали в Тулуне, я не помню. Оттуда мы поехали в сторону предгорий на заимку, которая, как и сам Тулун, была расположена на берегу реки Ия.

Красивая, широкая, быстрая река. Она течет, как и большинство сибирских рек, с юга на север, и течение в ней очень быстрое. На восточном берегу была нетронутая тайга, на западном маленькая заимка. На берегу реки выводились стрекозы. Их было очень много. Они еще плохо летали, и я их ловил в великих количествах. Чем занят был отец в основное время дня, я не знаю. Мы жили в маленьком двухэтажном домике — местной гостинице, на втором этаже. К обеду приходил отец. Перед обедом он читал популярную санпросветовскую лекцию о вреде микробов. Лекция повторялась каждый день. Я прослушал ее несколько раз. Отец рассказывал о размножении микробов. Говорил, что каждые полчаса они делятся и их число удваивается, потом с ээкканьем добавлял «Вы посчитайте, сколько их будет через сутки».

После лекции бывал обед. Он был одним и тем же каждый день: гороховый суп с пороссячими ножками, на второе жареные пороссячи уши и хвостики, а затем большой граненый стакан мороженого. Мы на заимке пробыли недолго, и однообразная еда нам не приелась. После обеда отец опять уходил до позднего вечера. Мать долгие годы после смерти отца вспоминала эту поездку, красоту мест, их спокойствие и умиротворенность. Мне все это путешествие тоже запомнилось. Интересно отметить, что мой школьный товарищ Юра Савин, гидрограф по образованию, бывал в этих местах и хорошо их знает. Вообще, несколько моих школьных друзей, связанных с географией и геологией, часто бывали в Иркутске и знают его достаточно хорошо. Я же ограничен, в основном, только детскими впечатлениями.

Из поездки в Тулун обратную дорогу, памятью мои нелады с авиацией, проделали поездом. Около станции Куйтун прочно встали. Впереди было очередное крушение, и мы ждали, пока расчистят пути. Потерпел крушение товарный поезд. Как только восстановили путь, мы поехали. Наш состав медленно двигался вдоль места катастрофы. На боку лежало множество вагонов и платформ. Людей вообще не было видно. Паровоз лежал на боку почти под углом в 45° к рельсам, котел его был повернут туда же, тендер — почти под прямым углом к паровозу. На трубе паровоза виднелся чей-то ватник. В общем, во время этих поездок в Сибирь я действительно насмотрелся на железной дороге на многое.

Несмотря на сказанное, временных отлучек отца из Иркутска во время нашего пребывания там было все же немного. В городе у нас протекала нормальная семейная жизнь. Впервые за долгие годы мы сажались обедать все вместе. Это бывало около 5 часов вечера. Может быть, потом отец снова уходил на работу: и Облздрав, и институт были рядышком. В большой комнате на стене висел динамик. В пять часов из него звучал сигнал точного времени, передававшийся из Москвы. Там в это время был полдень. В городе была жара. Асфальт сильно размягчался, и на нем оставались вмятины от подошв, в особенности от женских каблуков. В одно из лет в городе выступал женский джаз. На всех перекрестках на асфальте было написано «Женский джаз». В эту надпись впечатывались подошвы прохожих. Один раз меня звали в местный ТЮЗ. Давали «Кота в сапогах». Я хорошо запомнил этот спектакль и фехтующего сразу с двумя противниками кота, а также песню о серебряном кролике.

В Иркутске есть много мест, связанных с декабристами, но тогда это все прошло мимо меня. От пристани Парка им. Парижской Коммуны ходил речной трамвайчик к противоположному берегу Ангары. Меня возили в те места, чтобы я в летнюю жару мог подышать чистым воздухом. Сейчас в этих местах расположены Политехниче-

ский институт и городок Восточно-Сибирского отделения Академии наук. Один раз мы с нянечкой поехали туда погулять и на обратном пути попали в страшный ливень и шторм. Мы спускались с горы под проливным дождем и не могли добраться до пристани. По железной дороге, которую надо было пересечь, последовательно проходили два длинных встречных товарных состава. Кораблик наш пересекал реку, а в окна заливалась вода. С трудом добрались мы до городского берега. Сейчас основной ход железнодорожной магистрали перенесен. Стало возможным и ездить на Байкал. В довоенные же годы это была закрытая пограничная зона.

В конечном итоге вопрос о правильной организации моего летнего времени решился. В Ангару в городе впадает река Иркут, текущая с юга на север. В Иркут же немного южнее города впадает, текущая параллельно Ангаре, речонка Кая. На ее северном берегу находится высокий холм, называемый Кайской горой. До войны на этой горе стояло несколько казенных дач. В одной из них мы и проводили остаток лета оба года. Днем мы спускались к маленькому заливику на Кае и купались. В выходные все ходили купаться на Иркут.

Течение в Иркуте быстрое, и тех, кто рисковал его переплыть, несло вниз на километр и более. По Иркуту производился молевой сплав леса. Это означает, что бревна плыли по отдельности, без сплотики. На них можно было кататься. Вечером всех мучили комары. Чтобы спокойно спать, перед сном в комнату вносили лист железа, на котором лежали тлеющие угли. Сверху на них клали траву, шел густой дым. Это устройство называлось дымокурором. Без такой операции спокойно провести ночь было невозможно.

В будни отец приходил с работы вечером пешком. До города было близко, и я часто ходил встречать его почти до моста через Ангару. Вероятно, дорога того времени — это нынешняя улица Маяковского. Когда отец вечером купался, то с горы были хорошо видны темные тучи комаров, от которых он отбивался полотенцем. Сейчас Кая ужасно загрязнена отходами какого-то комбината, и следов нашего дачного поселка мне найти не удалось.

В один из наших отъездов из Иркутска домой шел дождь. Поезд уходил в конце дня. Отец, провожая нас, стоял на перроне, и в глазах его были слезы. В 1993-94 году я три месяца работал в Германии. Ко мне прилетела жена, и мы очень счастливо провели вместе целый месяц. Жена улетела, а мне оставалось работать еще около 20 дней. И, тем не менее, я страшно затосковал. Это видели немцы, товарищи по работе. Они утешали меня. А ведь срок расставания был коротким. Что же чувствовал тогда в Иркутске мой отец, провожая нас на долгий год!

На рубеже 70-х годов я полетел в командировку в Иркутск в созданный и построенный на южном берегу реки Политехнический ин-

ститут. Это один из самых больших вузов России. Построил его Игошин (имени и отчества его я не помню). Это был талантливый организатор и человек, отлично разбиравшийся в людях. Он не имел даже кандидатской степени, но как ректор пользовался огромным уважением. За строительство института он получил звание Героя Социалистического труда. В то время он был уже вдов и буквально дневал и ночевал в своем служебном кабинете.

Я прилетел самолетом, который шел на посадку над затопленным лесом в зоне Братской ГЭС. Жил я в гостинице «Сибирь». Я нашел наш старый дом, заглянул в бывшую квартиру. В институте, где когда-то работал отец, зашел в бухгалтерию, оргметодотдел, в прививочный отдел — туда, где люди обычно работают долгие годы. Довольно быстро отыскал женщину, которая работала в институте вместе с отцом. Она прекрасно помнила отца, тепло отзывалась о нем. Мы поговорили о некоторых сотрудниках довоенного времени, фамилии которых мне запомнились с давних пор. Узнав, что меня приглашают работать в Политехнический институт, моя собеседница стала убеждать меня, что коли мой отец отдал столько сил Восточной Сибири, то теперь наступил и мой черед.

Предложения и на самом деле были заманчивыми, но я, как и отец, тянулся к Публичной библиотеке и прочей научной инфраструктуре Ленинграда. Встречи в Иркутске пробудили во мне сидевшие глубоко в памяти воспоминания. Я улетал домой московским рейсом с твердым намерением побывать в Иркутске еще раз. К сожалению, новая поездка не организовалась, и теперь ни я, ни мои семейные, которым мне очень бы хотелось показать столь памятные и любимые с детства места, уже навряд ли сможем посетить Восточную Сибирь.

И возвращение домой в 1938 году, и поездка в Сибирь туда и обратно в следующем, проходили, как я уже говорил, через Москву. Моих московских родственников я представлял тогда плохо. Я, как и мой отец, был достаточно доверчив. Вместе с фантазией это приводило к удивительному смешению понятий в голове. Мама всегда старалась воспитывать меня на положительных примерах, чтобы не ругать и впрямую не указывать на мои недостатки. Она часто обращала мое внимание на положительные качества моего друга Саши Перельмана и нередко сердилась этим. Желая убедить меня в необходимости делать по утрам зарядку, она всегда приводила в пример моего двоюродного брата Альдика, второго сына дяди Марка. Альдик жил в Москве. Он был всего на два года старше меня, вызывал у меня уважение, мой отец его очень любил, всегда называл «любимый племянник». Альдик, кстати, предложил мне при первой же нашей встрече в Москве проехать на трамвае без билета (меня отпустили в город под его патронажем). Это, конечно, укрепило во мне глубокое уважение к брату.

Под влиянием маминых рассказов о нем у меня сложился образ маленького силача, который по утрам делает зарядку. Его по вечерам приглашают в цирк, где он стоит на голове и метко стреляет по мишеням из пистолета. После прочтения очень популярной тогда детской книги Льва Кассиля «25 мудрых школяров» мне представлялось, что тетя Лида, последняя жена дяди Марка, воспитавшая Альдика и частично Юру, была комсомолкой, которая строила московское метро, а по вечерам училась и воспитывала моих братьев. Надо ли говорить, как далеки от реальности были мои представления. Лида-то, конечно, училась, в вечерней школе, но остальное было моей фантазией.

Московские дяди встретили нас очень приветливо. Надо полагать, они сочувствовали маме в ее непростой жизни в разлуке с отцом. Кстати сказать, у отца и обоих дядей всегда были отличные отношения. В один из приездов, а может быть, и в оба, нас сводили на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку — ВСХВ. Тогда такое посещение было престижным, и все стремились попасть на выставку. Посетителям выставки вручался (или покупался, не помню) специальный значок, который носили на лацкане костюма. Выставка произвела на всех нас большое впечатление. Рассматривали мы и знаменитую скульптуру Мухиной, рядом был тогда главный вход на выставку.

По возвращении в Ленинград осенью 1938 года меня отдали в школу. Отдали почти на год раньше, чем полагалось. Тогда многие семьи так поступали, в частности, из соображений заполучить для мальчиков дополнительный год перед уходом в армию после окончания школы. Мы приехали в Ленинград в последние дни августа 1938 года, где-то около 30 числа. Буквально в тот же день меня повели в школу на медосмотр. Помню, как нянечка срочно мыла мне ноги, перед тем как идти на это мероприятие.

Нас с Сашей Перельманом родители специально направили в одну и ту же школу, в один и тот же класс. Мы не пошли в нашу ближайшую школу и даже в соседнюю. Нас приняли в так называемую I-ю образцовую школу Октябрьского района. С послевоенных лет это 232 школа. Она расположена на углу улицы Плеханова (ныне Казанская) и Демидова переулка (ныне переулок Гривцова). До школы было не очень далеко, но надо было переходить трамвайные пути. Поэтому нас с Сашей и провожали в школу и встречали.

До революции в школе помещалась гимназия. Ее, в частности, оканчивал Мравинский. В школе были прекрасные помещения, высокие, просторные, светлые классы. Во главе школы стоял знаменитый в те годы заслуженный учитель Савранский. Это сыграло немалую роль в стремлении наших родителей определить нас именно в эту школу. В этой же школе, но в параллельном I-м классе училась и

наша ровесница Иза Бронштейн, дочь маминой сослуживицы Елены Гурьевны. Наши семьи, как это ясно из предыдущего, дружили домами.

В школе был изумительный порядок. Когда мы учились в первом классе, там ввели форму: синие сатиновые толстовки для мальчиков и халатики для девочек. Не знаю почему, но нам с Сашей тоже сшили халатики. Я ужасно стеснялся этого, а Саша с гордостью ходил в этом халатике. Нашей учительницей была Елена Федоровна Прохорова. Мы ее любили и в послевоенные годы заходили к ней. Она тогда преподавала уже в другой школе.

В 1970 году в составе делегации Ленинградского отделения «Общества дружбы СССР-Франция» я был во Франции. Среди членов делегации был несколько странный (восторженный, возбужденный) человек. Это был преподаватель Педагогического института им. Герцена, только что защитивший докторскую диссертацию по истории. Работа его была посвящена событиям в Париже во времена Народного фронта в 1936 году. Звали его Юра Егоров. В силу его странностей многие наши мужчины избегали селиться с ним в одном номере. Меня же он вполне устраивал, и почти всю поездку мы с ним ночевали вместе. Тогда в предсонной болтовне я узнал, что он был сыном Елены Федоровны. Она в то время была еще жива. Мир тесен. Юра был женат на Злате — дочери друга семьи Бронштейнов Гинецинского. Более того, брат Златы был первым оппонентом на защите докторской диссертации моей жены на психологическом факультете нашего университета в 1992 году. Несколько лет тому назад я неожиданно узнал о внезапной смерти Юры.

Своих довоенных соучеников я помню достаточно хорошо. Могу многих назвать по фамилиям. Однако после войны мы практически никогда не встречались. Из мальчиков после войны мы имели дело только с Сашей Каплянским. В предвоенные годы он пришел к нам в 3-м классе. С 8-го класса мы учились вместе и в школе, и в Университете, работали рядом несколько лет в соседних лабораториях Физтеха. Встречаемся мы и сейчас. Ныне это лауреат Ленинской премии, академик РАН Александр Александрович Каплянский.

Некоторые девочки нашего класса имели контакты с нами и после войны, но это длилось недолго. После войны было раздельное обучение, и с девочками мы встречались во внеучебной обстановке, перезванивались. Среди наших довоенных соучениц выделяю одну. Маленькая, шустренькая ябеда Жозька Грозденская. Помню, как нас выводили после занятий парами в раздевалку, и она, вырвавшись вперед, бежала к нянечке и сообщала что-нибудь вроде: «А вашему Вове учительница сегодня сделала замечание». Звонила она нам домой и после войны, но потом быстро исчезла. Долгое время я думал, что

она уехала в Польшу и отжествлял ее с известной польской писательницей-юмористкой Жозефиной Гроздянской. Последняя писала разные шуточные сценки для журнала «Шпильки». Не менее половины сценок в телепередаче «Кабачок 13 стульев» основаны на ее рассказах. Когда я написал об этом, дочь Доры Моисеевны Холмянской, живущая в Израиле, моя приятельница с детских лет Татьяна, проверила это. Оказалось, что Жозя на самом деле стала учительницей французского языка, эмигрировала в Израиль и там скончалась.

Об учебе в первом классе у меня самые смутные воспоминания. Помню только, что маме надо было оборачивать мои тетради, клеить ленточки к промокашкам и что чистописание (был тогда такой предмет) давалось мне очень тяжело. Мама по этому поводу всегда повторяла, что в младших классах учатся родители, а в старших дети. У Саши в тетрадях было почему-то много клякс. На сборе октябрятской звездочки он был избран санитаром звена. В классной газете было написано: «Кляксы можно получить у санитаря Перельмана». Мне это запомнилось, а вот помнит ли это он, я не знаю.

Мама довольно строго контролировала мои занятия, но в школу ни тогда, ни после никогда не ходила. Учительница однажды пригласила ее для доверительной беседы. Я был страшно худым, во что теперь невозможно поверить. И вот маму спрашивали, не надо ли организовать мне дополнительное питание или денежную помощь, так как с виду я был голодным ребенком.

Когда мы перешли во второй класс, началась финская война. Напротив школы в одном из зданий ЛИТМО разместился госпиталь. Вскоре выселили и нас: удобные школьные классы хорошо превращались в госпитальные палаты. И в финскую, и в Отечественную, и даже некоторое время после Отечественной войны в здании нашей старой школы всегда был госпиталь. Именно поэтому осенью 1944 года нам с Сашей пришлось выбирать другую школу. Во время финской кампании нас перевели учиться на Исаакиевскую площадь в здание бывшего Военного министерства. На львах перед фасадом этого дома во время наводнения сидел Евгений из пушкинской поэмы. В этом огромном здании тогда одновременно размещалось несколько школ. После войны через фасад со львами входили в один из институтов иностранных языков, который оканчивала наша школьная послевоенная приятельница Лена Векслер. Во дворе этого дома жила после войны семья одного из наших с Сашей студенческих друзей. Семья была большая: трое детей. Комната же у них была одна, но очень высокая, поэтому для мальчиков были сделаны антресоли.

Финскую войну я никак не могу увязать со школьными событиями. Помню сильные морозы, разные разговоры взрослых, шутки типа: «Бывают минские финны, и бывают финские мины». В городе бы-

ло то ли полное, то ли частичное затемнение. В подворотнях висели лампы синего цвета. До войны уделялось большое внимание допризывной подготовке. В период зимней (финской) войны оно усилилось. В ходу были значки: «Готов к ПВХО», БГТО, ГСО, «Ворошиловский стрелок». Был еще какой-то пятый значок, связанный, помоему, с кавалерией. Практически никому не удавалось собрать полную коллекцию этих значков. Тем не менее, два — ПВХО и ГСО — у многих из нас были.

Зимой 1938 года была денежная реформа, первая, которую я хорошо помню. Появились синяя пятерка с летчиком, трешка с солдатами и рублевка с шахтером. Изменились и монеты, хотя более ранние оставались в ходу. Часть из этих монет использовалась до реформы Хрущева, пережив обмен декабря 1947 года. Мелкие монетки пережили и реформу 1956 года. Монетки тогда еще часто назывались по-старинному: 3 копейки — алтын, 15 копеек — пятиалтынный, 10 и 20 копеек — гривенник и двугривенный, соответственно. Я пишу об этом потому, что именно в этот период у детей появилась привычка собирать копеечные монеты. Собирали их и после войны. Ходили упорные слухи о том, что если кто-нибудь наберет 5 рублей монетами по одной копейке, то получит в подарок маленький патефончик. На моей памяти собрать 500 монеток никому не удалось. После войны я тоже был не чужд этого безобидного увлечения.

Несмотря на то, что Ленинград был фактически прифронтовым городом, мы, дети, в нашем повседневном быту войну почти не ощущали. Поэтому и я, и Валя Лыч с нетерпением готовились к встрече нового 1940 года. Готовилась к этой встрече и наша огромная квартира. Что-то пекли, жарили. Мы бегали по разным комнатам. Надо думать, мы здорово надоедали взрослым. Наконец наступило 12 часов ночи. Мама пригласила меня в комнату, что-то было сказано, и я вновь отправился носиться по коридору. Вспоминая обыденность и краткость этой встречи Нового года, я, по зрелому размышлению, думаю, что мама просто перевела часы вперед, чтобы затем уложить меня пораньше спать. Но это я понял уже через очень много лет. И вот, по моим представлениям в 10 минут первого (я только-только глянул на стенные часы), я в компании нескольких детей несся по коридору мимо входной двери. Вдруг раздался два звонка: для каждой семьи было свое число звонков — для Лычей один, для Беклемишевых три. Ну, а к нам всю жизнь, до тех пор пока где-то в 50-х годах я не сделал отдельный звонок, всегда полагалось два звонка. Я кинулся открывать дверь и к своему удивлению увидел отца. Он окончательно вернулся из Иркутска. Я долгое время думал, что он очень торопился, но все же опоздал ко встрече Нового года. Для меня его возвращение было полной неожиданностью. Мать, возможно, что-то знала, но мне ничего заранее не говорила.

Этот сюжет хорош для кинофильма или для повести. Во взрослые годы мне казалось, что это просто какое-то неправильное отражение событий в моей памяти. Однако у меня на столе есть статуэтка каслинского литья. Мальчик стоит в курточке, рубашке и сапогах, но без штанов. Рядом, сидя в кресле, старушка с иголкой ремонтирует его штаны. Эту статуэтку с неким намеком на холостяцкую жизнь подарили отцу в день его отъезда из Иркутска. На табличке с дарственной надписью стоит дата 25/XII-39. 6 суток вполне достаточно, чтобы добраться поездом от Иркутска. Так как отец приехал вечером, он или ехал напрямую, или с пересадкой в Свердловске, но не через Москву.

Отец приехал в разгар финской войны. Может быть, отчасти, поэтому, а может быть, его просто щадили, но новых длительных его командировок за полтора года до июня 1941 года я не упомяну. Отец и мать очень много работали в этот период, и я их видел редко. Правда, в выходные дни отец уделял мне много времени. Отец всегда любил кино, и мы с ним и с мамой смотрели много фильмов. Это были довоенные, ныне не вспоминаемые, фильмы типа «Пятый океан» или «Глубокий рейд». Сейчас их просто стыдно показывать, так глупо и самонадеянно изображалась в них будущая война.

До революции рядом с нашим домом была лютеранская кирха. Я видел ее тогдашние снимки: очень красивое и на месте стоящее здание. Долгие годы перед войной кирха подвергалась переделке, и вот в ней открыли Дом культуры работников связи с библиотекой, кинозалом и помещениями для кружков. Мы стали посещать кинозал. После войны он стал нашим постоянным кинотеатром. В те времена перед началом сеанса бывали концерты, и все было очень интересно. Хорошо помню, как мама и папа вернулись вечером с кинофильма «Большой вальс» и долго обсуждали его. Я же не спал о тихонько слушал. Ну, а на фильм «Сто мужчин и одна девушка» родители взяли меня с собой.

В Институте им. Пастера лабораторию отцу не вернули. Тогдашний директор Анна Григорьевна Григорьева, послевоенный друг нашей семьи, часто говорила, что отец должен был быть обижен на нее за это решение. Но от отца я никогда не слышал жалоб на подобные обстоятельства. Он никогда никого за проступки подобного плана и не ругал. Даже критические слова о Токаревиче я слышал не от него. Их говорила не только мать, но и многие другие сослуживцы отца. Не мне об этом судить. В целом же, у отца отношения с коллективом института были очень хорошие. Он уважал и ценил многих. С рядом его сослуживцев я после войны познакомился ближе и даже встречался с некоторыми из них после смерти отца. Последнее не удивительно, поскольку мама по своей работе была связана с этим институтом и многие годы бывала там.

Отец занялся организацией новой лаборатории — коревой. После войны ею заведывала Клячко. Имени ее я не помню. Как это часто бывает в медицинских семьях, ее сын Глеб, сын Токаревича, нелепо погиб в послевоенные годы. У него был приступ астмы, и скорая помощь, сделав ему укол, вызвала аллергический шок, от которого он и умер. Отца тогда уже не было в живых, а мать, хорошо знавшая Клячко, глубоко сокрушалась по этому поводу. Я помню Клячко в послевоенный период, когда несколько раз встречался с ней.

Размышляя сейчас о том, почему отцу каждый раз приходилось все начинать заново, я думаю, что не чьи-то интриги, а личные качества или особенности характера отца были этому причиной. У отца были не только оригинальные теоретические идеи, но и прекрасная организация экспериментов. Его работа в Горздраве привела к тому, что он был одновременно и лабораторным работником, микробиологом, и хорошим эпидемиологом. Он прекрасно знал общие инфекционные проблемы, очень хорошо владел статистикой. Такое сочетание не так уж и распространено. Во всяком случае, это не мои фантазии. Об этом после смерти отца я часто слышал от его бывших сослуживцев. Все это приводило к тому, что создаваемые отцом подразделения очень быстро приобретали большой авторитет и многие стремились их пополнить.

После войны созданная отцом гриппозная лаборатория очень быстро вышла на высокий уровень. Большая лаборатория академика АМН Смородинцева отставала, и ее руководитель приложил много сил, чтобы лаборатория отца, утратив самостоятельность, перешла в его подчинение. На моей памяти борьба за самостоятельность отнимала у отца много сил и здоровья в послевоенные годы. Он вышел победителем, но, конечно, с его болезнью сердца она ускорила его кончину.

Отец в последние годы работал совместно с мамой по эпидемиологии полиомиелита. Я помню, как он говорил маме по поводу ее доклада или статьи: «Ты въедешь на мощном эпидемиологическом танке». Эти исследования получили большую известность, и я к ним вернулся, рассказывая о послевоенном периоде. Интересно отметить, что, после того как отец уходил из лаборатории, качество работ резко снижалось. Мама часто рассказывала, что в тридцатых годах он выдвинул очень интересную концепцию, связанную с сыпным тифом. Отец не успел все доделать до отъезда в Иркутск и не провел нужных экспериментов. Его преемник Токаревич, не доведя дело до конца, стал выступать с частью идей, страшно запутался и был подвергнут резкой критике. Мать часто декламировала в связи с этим стихи о каком-то оруженосце, который одел доспехи своего рыцаря, но не имел сил поднять меч и поэтому погиб. Все рассказы об этой истории я услышал от нее уже после смерти отца.

Поневоле получается так, что я очень много отрицательно пишу о Токаревиче. Это не совсем так. У меня своих оснований для этого нет. В конце жизни он стал профессором и успешно работал. Увы! То, что пишет в газетах об исключительной роли деда в развитии института его внука, для меня, знавшего в послевоенные годы из разных источников ситуацию в институте, неприемлемо в силу явной тенденциозности. Поэтому я не критикую его, а просто пытаюсь определить реальное соотношение вклада разных людей в события. Как от отца, так и от матери я часто слышал очень интересные рассказы об одном из создателей института профессоре Маслаковце. Он создал частный институт, а после революции сам отдал его государству. Этот институт, очевидно, стал частью института им. Пастера. Маслаковец много сделал для развития науки в нем. Даже передав его государству, он долгие годы оставался там директором. В то же время о Маслаковце, как основателе и первом директоре, как я уже писал, я нигде не читал. Кстати, с его сыном, известным профессором-физиком, мне пришлось некоторое время работать. Уважаемый и очень знающий человек, много отсидел во времена сталинских репрессий. В те годы, когда я его знал, он был желчным и не слишком доброжелательным. Может быть, это поверхностное впечатление, близко с ним я не stalkивался. Ну, а объяснение этому естественно, близко с ним я не stalkивался. Ну, а объяснение этому естественно. Я встречал многих, вышедших из лагерей ученых, которые стали весьма недоброжелательными людьми. Я их не осуждаю. В то же время у многих других, вышедших из заключения людей, например у профессора Заславского, в первую очередь бросались в глаза редкостное внимание к людям и доброжелательность.

Вернусь еще раз к вопросу о получении отцом лаборатории при его возвращении из Иркутска. В сложившейся ситуации сыграл свою роль, как я уже сказал, характер отца, но были и другие обстоятельства. Директор института Анна Григорьевна Григорьева была прекрасным администратором, но руководителем института она стала в 1939 году и по-настоящему отца не знала. Анна Григорьевна хорошо разбиралась в людях, финансах и прочих материях, так необходимых для создания нормальных рабочих условий. После войны судьба ее изменилась. Она должна была уйти из директоров и, не имея научных заделов, осталась практически не у дел. Одно время она работала в прививочном отделе, какое-то время была и в лаборатории отца. Анна Григорьевна помогла ему подобрать хороших сотрудников и организационно наладить работу. Можно с уверенностью сказать, что она выполнила бы эту функцию в любом медицинском коллективе, не обязательно научном.

Что с чисто административной точки зрения произошло в 1940 году? Вернулся человек, ему дали ту же самую должность, площади, сотрудников. Что ему еще надо? На самом деле, если смотреть с по-

зиций ученого, то надо еще много, и это многое является решающим. Надо, что называется, «войти в тему», разобраться и освоить новые методики, наладить нужные связи, обучиться самому и обучить сотрудников. На все это нужно не менее пяти-шести лет. За это время надо вычленил главное, наметить стратегию исследований. Отцу всю жизнь достаточно времени на это судьба не отводила. Отдел, организованный им в начале 30-х годов, и начатая им работа были оставлены в 1937 году. Пяти лет еще не прошло. В Иркутске он работал только два года. Он стремился назад не только из-за инфраструктуры, как я уже писал. Ему рядом нужен был коллектив для общения. Нельзя быть научным Робинзоном!

Около двух лет отец создавал новую лабораторию, и началась война. Почти все заведующие лабораториями остались в институте, хотя среди них были люди и моложе и идейнее отца. Они были связаны с армией, работали в тяжелых условиях, но все сидели на своем месте. Отец же ушел на фронт по своему пониманию долга. Вернувшись, он снова начал с нуля и в условиях борьбы за выживание проработал около 10 лет. Это был единственный продолжительный период работы отца на одном месте. Он ознаменовался большими успехами.

Мать всегда и, когда отец был в отъезде, и когда он ушел из жизни, воспитывала меня в уважении к отцу. Она часто говорила о его больших достижениях в науке. Признавая это, я всегда старался быть в этом плане по возможности более аккуратным, чтобы избежать субъективности. Я уже писал, что, знакомясь заново с историей института, в котором работал отец, я заглядывал в Интернет. И вот на сайте института в описании достижений коллектива нашел фразу о «классических работах Н. Н. Романенко по гриппу». Другие достижения сотрудников института так не названы. А ведь прошло 50 лет со дня смерти отца. Вероятно, все же его успехи и на самом деле были существенными, а борьба за самостоятельную работу и за возвращение к начатым исследованиям имела под собой серьезные основания.

Отмечу еще одно обстоятельство, которое при чисто эмоциональном отношении к давним событиям может просто ускользнуть из поля зрения. Отца часто посылали в различные длительные командировки. Посылали и других, но отца особенно часто. Его при этом отрывали от работы. Станем на позицию администратора: надо посылать того, кто успешнее справится с работой. Поэтому отбирали лучших. Кроме того, отец всегда был человеком долга. Начальство было спокойно, поскольку было уверено, что он не вынесет наружу разногласия, не пойдет жаловаться. Возможно, что это учитывалось и в 1940 году, так же как и беспартийность отца.

Во всех этих многочисленных поездках проявлялся тот закон, который Леонид Рувимович Перельман, при обсуждении с нами, сту-

дентами 2-го начала термодинамики, называл «законом всеобщей нивелировки». Он говорил, что именно так проявляются законы термодинамики в общественной жизни. Леонид Рувимович имел в виду, что человека, не умеющего ничего, никуда не привлекают. Тому же, кто что-то может, жизнь поневоле создает условия, мешающие его деятельности. Я не раз убеждался в справедливости этого полшутливого утверждения. Во всяком случае, когда мама, после смерти отца, достигла больших успехов в борьбе с полиомиелитом, ее тоже стали очень часто отправлять в поездки. Не в Москву на совещания — таких поездок тоже было много, а именно на места конкретной деятельности. Посылали туда и других, более молодых, но маму особенно часто. Но ей было проще, чем отцу, так как она была, что называется, «практикующий врач».

Предвоенный период, где-то с конца 1938 года, был ознаменован рядом изменений в обыденной жизни. Об этом обычно меньше вспоминают, так как предшествовавшая описываемому периоду волна репрессий своей жестокостью и нелепостью заслоняет все. В конце 30-х — начале 40-х годов шло ужесточение рабочей дисциплины. Зимой 1940 года удлиннили рабочий день и перешли с шестидневной недели на семидневку. Мы, дети, впервые поняли смысл слов «воскресенье», «понедельник» и прочее. Нам было очень интересно, что выходные дни теперь не были жестко связаны с числами. Раньше выходными были 6, 12, 18, 24 и 30-е числа месяца. Поэтому день Парижской коммуны, который отмечался тогда очень широко и выпадал на 18 марта, был всегда выходным. Дни рождения всегда выпадали, как кому повезет: у одних всегда в выходные, а у других всегда на будни. Теперь этого не стало.

В этот же период появились ремесленные училища — РУ, усилились ФЗУ. Будешь плохо учиться и после окончания неполной средней школы пойдешь в ремесленное. Такие угрозы стали реальностью. Студентов начали брать в армию прямо из вуза. Так, двоюродный брат моей жены непосредственно со студенческой скамьи Ленинградского политехнического института попал прямо на финский фронт. Особенно широко обсуждалось и вызывало большие волнения ужесточение рабочего законодательства, провозглашенное летом 1940 года. Чутье опоздаешь, и строгое наказание. Опоздаешь более чем на 20 минут — суд и тюрьма. Транспорт же ходил тогда плоховато. Помню, мама рассказывала, как они не то с Еленой Гурьевной Бронштейн, не то с Марусей Леонтьевой бежали от трамвая на работу в ОЗДиП. Они прибежали вовремя. Одна была бледная, а другая разругалась. Директор института сказал: «Сразу видно, у кого какое сердечное заболевание».

В связи с упомянутыми мерами ходило множество рассказов и анекдотов. Так, часто повторяли байку о некоем инженере, который

утром, взглянув на часы, увидел, что он опаздывает. Инженер что-то натянул на себя, схватил в руки нижнее белье и помчался на работу. Доехав до своей остановки, он увидел, что ошибся на один час и времени у него достаточно. Тем не менее, он опоздал на работу, так как все его останавливали и спрашивали, где это ему удалось купить такие хорошие подштаники. Этот рассказ дает хорошее представление об уровне жизни в тот период.

Ко всем историям с опозданиями отец относился спокойно. Он всегда был организованным и четким, но главное — он всегда держался так, что его не трогали. Хорошо знали, что он ничего не боится и независим. А ведь на службе, как с женщиной. И со служащими, и с женщиной в конечном итоге обращаются именно так, как они это позволяют. Я хорошо усвоил это правило, когда стал работать. Кстати сказать, в описываемый период времени фактически отменили возможность свободно менять место работы. Это можно было сделать только с разрешения начальства или по приказу Наркомата. Для членов партии нужно было еще и разрешение райкома партии. Такое положение долго сохранялось и в послевоенные годы. Какая большая разница была, если в трудовой книжке стояла запись просто об увольнении по собственному желанию, без добавления «в связи с переходом на другую работу», по сравнению с записью о переводе по приказу! Со временем, конечно, это все выродилось в пустую формальность.

Мало кто помнит о том, что в первые послереволюционные годы отменили ряд нужных установлений и пытались упразднить многие понятия. Известно, что изменили воинские звания, форму. Правда, мало кто знает, что знаменитые шапки-буденновки были изготовлены еще до революции как напоминание о шлемах русских средневековых воинов. Было и смешное. До революции железнодорожные вагоны были разных классов и красились в разные цвета. Достаточно вспомнить Блока: «...молчали красные и синие». После революции классы вагонов отменили в целях равенства. Потом уже появились мягкие, плацкартные и прочие вагоны. Слово же «класс» на железнодорожном транспорте так и не восстановили. В авиации и на морском транспорте все это прекрасно существует.

Среди отмененных понятий были и научные степени, упразднили звание доктора наук. И вот где-то в 30-е годы вновь ввели звания кандидатов и докторов наук. О профессорах и доцентах не знаю. При этом восстановлении степеней, как я теперь понимаю, столкнулись с неожиданной проблемой. Степень присуждается на заседании Ученого совета, состоящего из людей, этой степенью обладающих. Наполеон с этой проблемой обошелся просто: назначил ряд «бессмертных» (академиков), а они уже выбирали остальных. В постперестроенной России многие вновь возникшие академии первых членов об-

ретали в результате голосования специальных выборщиков. Выборщики не имели права избирать себя в состав академий. Естественно, что на следующих выборах их обычно избирали новые академики. В тот момент, который я описываю, первые степени давались Наркоматом образования или рядом учреждений, например Президиумом Академии наук СССР, на основании представленных работ. Как это происходило в деталях, я не знаю. Знаю, только, что отец об этом не очень думал, но в последний момент, когда все сроки уже кончались, Леонид Рувимович Перельман заставил его собрать оттиски статей и подать куда следует. Таким образом, в этот период отец уже стал кандидатом медицинских наук. Я и после войны, и после смерти отца часто замечал, каким высоким научным авторитетом и известностью в своих кругах он пользовался. Так что получение им звания кандидата наук было весьма естественным. О событиях с присуждением отцу степени мне рассказала мать уже после смерти отца.

Общая обстановка в стране в тот период тоже менялась. Договор с немцами в 1939 году сразу же повлиял на печать, кинематограф и прочие проявления культурного быта. До этого все читали и обсуждали антифашистские книги — Карла Бруннера, например. Мы по-немецки читали книгу про коммунистку Салли Блайштифт. Отрывки из этой книги имелись и в школьном учебнике немецкого языка тех лет. В кинотеатрах шли антифашистские фильмы: «Профессор Мамлок», «Семья Оппенгейм» (по Фейхтвангеру). Пелись антифашистские песни, в детских журналах печатались разные сказки с ясными намеками. Вдруг сразу все изменилось.

В пионерском журнале «Костер» за 1940 год (моя подборка этого журнала развалилась за ветхостью примерно пару лет тому назад) наряду с картой Карельского перешейка и местами боев можно было прочитать очень хорошо написанный рассказ об адмирале фон Шпепере. Он был командиром отряда из двух немецких крейсеров, которые успешно занимались рейдерством в Индийском океане в первую мировую войну. Описывалась история их успехов и последующей гибели. Она дополнялась историей новой войны о гибели немецкого линкора, носившего имя Шпера. В журнале печатались рассказы об Ютландском бое. Особое впечатление на меня произвела заново перечитанная статья из того же «Костра» о коварной Англии, которая именовалась в статье «Золотой рыбкой, прячущейся на острове от справедливого возмездия». Конец этой статьи был удивителен. Там писалось о том, что не все тебе, золотая рыбка, будет счастье: героические немецкие подводники потопят твой суд. Сейчас о таких вещах стыдно вспоминать.

Предвоенный период связан с вводом советских войск на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии. У моей жены сохранил-

ся школьный атлас тех лет. В нем на месте Польши надпись: «Область государственных интересов Германии». В это же время в печати появились рассказы Ванды Василевской об угнетении в польские времена крестьянских детей на Западной Украине. Произошло мирное присоединение Молдавии. Советские войска вошли в Прибалтийские государства. Все это хорошо известно. В тот же период это обсуждалось на каждом углу. В продаже появились латвийские конфеты «Лайма». Ходили страшные рассказы о рижских парикмахерах, которые перерезают горло советским офицерам. Блуждали анекдоты об офицерских женах, якобы одевавших шикарные ночные рубашки вместо бальных платьев. В общем, традиционная пена, которая всегда сопровождает события такого рода. Но было и другое, о чем сейчас не любят вспоминать — не отрицают, но и не пишут. Так, например, в Бресте был совместный парад советских и немецких войск, участников польской кампании.

В последних числах января 1994 года я возвращался домой через Берлин после трехмесячной работы под Кельном. По городу меня сопровождал Николай Абросимов, который многие годы работает в Берлине. Он очень толково показал мне город. Все это достойно отдельного рассказа, но не в этих воспоминаниях. Начало 1994 года — это был краткий период, когда здание рейхстага было открыто для общего обзора перед реконструкцией. Мы зашли на минутку и застряли. В здании была выставка, посвященная вопросам истории немецкого народа. Выставка эта существует и сейчас, где-то в районе Николас-фиртель. Моя жена посещала ее в наш следующий приезд в Берлин. Во время моего посещения на этой выставке было множество интересных фото. Там можно было увидеть фото таких лиц, как Рем, Хайнес, Штрассер, Ван-дер-Люббе. Их сейчас даже не все немцы помнят.

На этой выставке я и увидел снимки парада в Бресте. Я купил там книгу по материалам выставки: перевод с немецкого на английский. Я думал, что и в ней есть фотография этого парада. Фотографии нет, но зато есть фото фельдмаршала Гинденбурга, дружески пожимающего руки группе советских командиров. На выставке можно было узнать и о забастовке транспортников, сыгравшей значительную роль в падении Веймарского режима. Эту забастовку проводили совместно компартия Германии и фашистская партия. Об этом не писалось и перед войной, а парад и прочие лобзания с немцами были известны. Мать часто рассказывала, что после падения Франции в Ленинград приезжал Илья Эренбург. Он выступал на каком-то вечере. Родители там были. Эренбург все понимал, многое уже увидел и предчувствовал. Родители пришли с этой встречи расстроенными. Больше сказать не могу: я помню это слабо. Да и понимал я тогда мало.

В этот период наши контакты с московскими родственниками усилились. Как я уже говорил, к нам на школьные каникулы приез-

жали оба моих двоюродных брата. Затем старший брат начал учиться в Военной академии, расположенной в Ленинграде. Чаще стали приходить письма из Москвы. Правда, может быть, просто я повзрослел и стал больше обращать на эти вещи внимания.

Лето 1940 года мы решили снова провести на том же хуторе под Токсовым, что и в 1937 году. Место и хозяева тогда всем понравились, граница отодвинулась. На самом деле ситуация резко изменилась. Шла кампания по уничтожению мелких хуторов. Всех их жителей сселяли в деревни. Их дома разбирались и переносились на новое место. Весной 1940 года от нашего хутора оставался только один дом хозяйки Лизы. Родители сняли там комнаты. В том же доме, в смежной комнате, снимали дачу и Перельманы. Может показаться странным, что с этой очень близкой нам семьей мы не часто проводили вместе летнее время. Ответ прост. Леонид Рувимович родился и вырос на Волге. Он всегда стремился туда, часто отдыхал на пароходе. Поэтому и летние отпуска до войны семья Перельман обычно проводила в Плесе. В 1940 году наши две семьи оказались единственными на хуторе. Рядом бытовала группа солдат. За летнее время умер хозяин дачи, а чтобы воздействовать на Лизу, власти просто в конце лета прислали рабочих, и те сняли с дома крышу. В общем, после этого лета хутор кончился.

Начало лета 1940 года было очень холодным. Когда отец взял меня на первомайскую демонстрацию, пошел снег и подул столь холодный ветер, что мы были вынуждены уйти с полдороги и пойти отогреться в дом к одной из маминых сослуживиц, которая жила как раз по пути следования колонны. На даче в ночь на 30 мая тоже пошел сильный снег. Дальше лето было нормальным. Леонид Рувимович был в то время проректором Педиатрического института и часто приезжал на дачу на машине М-1, вызывая наш мальчишеский восторг и любопытство.

Отец ходил за грибами. Где бы он ни проводил лето, он всегда отыскивал палку и весь сезон ходил с ней. Так было и в этом году. В дачное время этого года подушки на кровати родителей располагались низко. Отец нашел на поленице подходящее полено и подложил его в изголовье. Было очень удобно, но все лето родителей мучили красные муравьи. Когда перед отъездом разбирали кровать родителей, то выяснилось, что муравьи жили в том полене, которое отец подложил под голову. Мать часто со смехом вспоминала эту историю. Это было лето, когда появился фильм «Василиса Прекрасная». Паук в этом фильме произвел на меня сильное впечатление. Впоследствии он часто мне снился. Отцу же всю жизнь часто снился один и тот же кошмарный сон. Он тем летом поведал мне о нем.

Новый учебный год мы встретили в здании нашей школы. Нас приняли в пионеры. Торжественное обещание мы учили наизусть, и

я до сих пор помню его начальные строки, так же как и номер своего первого комсомольского билета. В конце зимних каникул я заболел. Это была странная болезнь. У меня все время держалась небольшая температура 37,2° С. Меня оставили дома. Уроки я делал, занимался немецким.

Перед войной мы купили рояль — прямострунный «Беккер». Мне, в подражание Саше Перельману, хотелось учиться музыке, хотя слуха у меня не было. Затея была, в общем, пустая. В школу мне ходить не хотелось. Я все время сидел и терпеливо ждал, смотря периодически на термометр, чтобы набрались заветные десятые градуса, имел кучу свободного времени, много читал. Тогда я впервые прочитал «Трех мушкетеров», а также хорошую дореволюционную книгу, взятую у Леонида Рувимовича, — мифы Древней Греции. Все это время я ел тогдашнее лакомство: кусок батона, намазанный маслом и посыпанный сверху сахарным песком. В результате я располнел, летом меня даже прозвали «Кобась». Родители терялись в догадках и отправили меня в оздоровительный санаторий в Пушкин. Затем мы выехали на дачу, и там все как рукой сняло. Дальше началась война, и было уже не до болезней.

Дачу в 1941 году мы сняли в Вырице, но не в самом местечке, а по дороге в так называемый Поселок. Между Вырицей и Поселком были остановочные пункты, которые и тогда, и сейчас называют платформами. До войны их было 4, а сейчас 3. Мы жили на третьей платформе, а рядом Бронштейны на четвертой. Были еще знакомые. Все дети, кроме

Изы и еще одной девочки Тани Карасик, были старше меня. Мальчишки ходили в лес, рассказывали, что видели там на болоте танцующих журавлей. Нас, младших, они с собой не брали.

22 июня я хорошо помню. С утра большой компанией мы все вместе — дети и взрослые — пошли гулять. Спустились с небольшого холма на луг в пору его разноцветья. Нам объясняли названия цветов. Когда мы пришли домой, речь Молотова уже была произнесена. Родители сразу же уехали в город. Помню первые военные сводки. Мифические цифры сбитых немецких самолетов. Мы с няней поехали на базар в Вырицу. Объявили воздушную тревогу. Стреляли зенитки. Низко над землей летел самолет-биплан, как я теперь понимаю, наш. Где-то около 2 июля мы с няней отправились в город. Мы ехали на троллейбусе по Гороховой. Везде висели белые флаги с красными крестами. Это, надо думать, были входы в аптеки. Всюду были заклеенные бумажными лентами окна. Наши вещи остались на даче. Странно, но несмотря на то, что Вырица была оккупирована, вещи наши сохранились, и мы даже забрали их домой после войны. В магазинах скупали продукты. Не трогали только крабовые консервы, которые затем, в годы застоя, стали деликатесным дефицитом.

Меня готовили к отправке в эвакуацию с эшеленом детей работников Горздрава. Тетя Витя помогла сшить заплечный мешок. Что-то в него загрузили. На следующий день или, быть может, на второй день я уехал эшеленом с нынешнего Московского вокзала. Родители же зарегистрировали брак 6 июля, а 7 отец ушел добровольцем в армию. У него была броня, и он вполне мог остаться в городе, но не захотел. Мать, как врач, тоже имела военный билет и офицерское звание. Однако из-за порока сердца она была признана негодной к воинской службе, то есть белобилетчицей. Возможно, не будь меня, она бы попала в какой-либо госпиталь. Тем не менее, в эвакуации последние полтора года она, фактически не нося военную форму, работала при пензенском горвоенкомате. Но об этом после.

Мать часто рассказывала, что до войны отца не раз приглашали на работу в Военно-медицинскую академию. Там была бы заведомо большая зарплата. Было бы там и многое другое. Отец, наслужившись в армии в молодые годы, категорически отказывался от этих предложений. Началась война, и он ушел в армию, а академия оказалась в Самарканде. Тут нет ни правых, ни виноватых — так сложилась судьба. Нельзя никого осуждать из тех, кто не попал на фронт, но и считать тех, кто будучи в армии не воевал, фронтовиками я не могу.

Отец после войны в дни Победы, снятия блокады и 23 февраля встречался только со своими фронтовыми товарищами и блокадниками. Многое зависело от стремлений человека. Леонид Рувимович не был в армии, но он огромную часть военного периода провел со студентами на торфоразработках. Я знал многих его студентов того времени. Они его очень уважали и любили. После войны, когда мы, студенты, поехали на строительство сельских электростанций, Леонид Рувимович в свой отпуск поехал врачом на стройку Красноборской ГЭС, где был Саша. Можно выискивать разные объяснения этого поступка. Однако факт остается фактом — он поехал!

Я недавно прочитал вторую часть воспоминаний Михаила Ардова. Там много говорится о друге их дома Анне Ахматовой. С ней в достаточно близких отношениях была Маргарита Алигер. Так вот, по словам Ардова, несмотря на всю их дружбу, Алигер осуждала Ахматову за отъезд из блокадного Ленинграда. Вероятно, судить никого нельзя, но есть факты, которые заставляют задуматься. Дядя Марк, тоже участник войны, посмеивался в моем присутствии над Симоновым, ездившим по фронтам с огромной охраной. Но в то же время он отмечал, что Симонов был на фронте, а некоторые писатели туда даже и не стремились.

Военные годы

Мое кратковременное пребывание в детском доме Ленгорздрави повлияло на последующий ход событий, в результате которых мы — мама, нянечка и я — провели основную часть военного времени в Пензе. Поэтому начну с краткого описания того, что предшествовало описываемым событиям.

Эшелон с детьми мчался по направлению к Ярославлю. Я лежал на верхней боковой полке плацкартного вагона. Напуганный падением во время первой поездки в Иркутск, я держался рукой за металлическое крепление. Ночью часто просыпался и с опаской смотрел, не сползаю ли я вниз. Я все время глядел в окно. Картина была интересной и хорошо мне запомнилась. Ну, а многое, что поясняет эту картину, я понял уже взрослым.

Эшелон мчался по левому, встречному пути. Рядом — из окна это было отлично видно — в том же направлении мчался большой эшелон с товарными вагонами. Два тянувших параллельный эшелон паровоза серии «Э» то перегоняли наш вагон, то мчались рядом, то точку отставали. Это продолжалось очень долго. Я говорю, что поезда мчались, так как колеса и шестерни крутились очень быстро и паровозы избыточный пар ни разу не спускали. Поезда по встречной колее пропускают лишь в исключительных случаях. При этом принимают меры предосторожности. В частности, при этом должны быть заблокированы сигналы для встречного движения, а при въезде на чужую колею должен гореть специальный сигнал. Его называют «лунно-белый, приглашающий». Поезда при этом стараются пропускать с небольшой скоростью. Взрослым я видел такое только однажды при капитальной смене путей на одной из пригородных линий. Ну, а движение поездов с большой скоростью в параллельных направлениях мне пришлось увидеть только тогда. В книге, посвященной истории железных дорог России, я нашел упоминание о том, что движение поездов по встречному направлению широко применялось в первые дни войны. Так что память в этом меня не подводит.

Относительно быстро (по моим нынешним прикидкам путь не мог занять более полутора-двух суток), мы прибыли к месту назначения. Это была станция Путятино, Даниловского района, Ярославской области. Из Ленинграда дорога туда идет через Вологду. Но можно также проехать чуть дальше, до станции Буй, и затем двигаться до Путятина почти в обратном направлении. Название Буй запомнилось мне с той поездки. Может быть, наше местопребывание было связано с дорогой Буй-Данилов, может быть, мы просто ехали через Буй.

Недалеко от станции Путятино, окруженная полями, была расположена деревня Путятино. Туда нас и отвезли. Рядом находилась

деревня Серета. Это, как нам говорили, была в то время «огуречная столица страны». Огурцов там и вправду было много. Их непрерывно везли в больших корзинах, располагавшихся на телегах. Проезжали телеги и мимо того дома, где мы жили. Нас все время угощали огурцами. Кидали их прямо в руки и кричали: «Кушайте эвакуированные!» Разместили нас в деревенской школе: длинном одноэтажном здании. Возраст детей был разный. Была малышня, я их совсем не помню. Но были и совсем взрослые молодые люди 17 и даже 18 лет. Мать потом говорила, что некоторые из них таким образом прятались от призыва в армию.

Интересы взрослой части нашего детского дома резко отличались от наших. Парни увивались за девушками. Помню как один из них, его хорошо знаю по послевоенной работе и иногда встречаюсь с этим ныне солидным профессором, решил показать свою лихость перед девушкой Музой. В костюме с галстуком, не сняв наручные часы, он бросился в пруд и поплыл.

Со старшими нас пытались разделить в обыденной жизни. Однако это не всегда удавалось. Конечно, самые старшие жили отдельно, в небольшой спальне. Ну, а лично я оказался самым младшим (мне было 10 лет) в огромной спальне, вероятно, бывшем зале, где размещалось на нарах около ста человек. Меня никто не обижал, но был мальчик чуть постарше меня, Егор Шнирман. Его изводили, били ночью, накрыв одеялами. По нам же старшие бегали ночью, иногда срывали одеяла, обливали водой. В общем, шутили. Было не очень весело. В качестве воспитателей и врачей приехали родители некоторых детей. Они были неопытны, следили в первую очередь за своими детьми, но ничего плохого я сказать о них не хочу. Они делали все так, как умели. Говорят, что впоследствии, когда детдом двинулся дальше, все более или менее наладилось.

Наша столовая была в коридоре. О питании я ничего внятного не помню. Однако твердо могу сказать, что голода я не испытывал. Раздражало только кипяченое молоко. Меня всегда от него мучило и мутит до сих пор. Но тут рецепт был прост. Воспитатели запрещали пить молоко, если съешь свежий огурец. Добыть свежий огурец и взять его в рот за столом, да так, чтобы взрослые это видели, проблемы не составляло. Понравившееся место можно было захватить традиционным детдомовским путем: при рассадке надо было или облизать ложку, или же плюнуть в тарелку. Тогда это место никто уже потом не занимал. Иногда после еды за теми же обеденными столами проводили викторины. Помню, я выиграл несколько печенюшек, первым сказав, откуда взяты строки: «Он возвратился и попал, как Чацкий, с корабля на бал». Была и библиотека. В ней почему-то было много книг Салтыкова-Щедрина. Я тогда начитался всяких там «Мед-

ведей на воеводстве» и т. п. Был и Лев Толстой: «Севастопольские рассказы», «Хаджи Мурат».

Главное наше занятие в дневное время состояло в помощи колхозу. Начинали мы с теребления льна. У меня хорошо получалось, чем я очень гордился — ведь нянечка и папа были из крестьянских семей, значит, и я должен уметь. Когда я рассказывал об этом жене, она резонно заметила, что мои успехи были, скорее всего, связаны с тем, что старших детей занимали другие вопросы и на работе они не перенапрягались. Наверно, так оно и было. После льна наступил черед веточного корма: ломали и рубили ветки молодых листовых деревьев — зимой их сушеные листья должны были заменить скоту сено. Там же в лесу старшие дети научили нас делать копыя и вечерами мы соревновались в их метании. Это был мой вид спорта, ниже третьего места я не опускался.

На станции Пуяттино появились вагоны, вывозившие офицерские семьи из Прибалтики. Это были вагоны невиданного мною ранее европейского типа: они имели наружные двери в каждое купе. Стекла в них были выбиты, стены вагонов во многих местах были пробиты пулями. Передавались из уст в уста страшные рассказы об эвакуации из западных областей. Радио и газеты сообщали о зверствах немцев. Тем не менее, жизнь детей в нашем детском доме не была связана с какими-либо серьезными бедами. Несмотря на это, а может быть, потому что впервые был оторван от дома, я написал домой довольно глупое письмо, что убегу на фронт. Не помню уж, как я это подавал: или просто убегу, или убегу, если меня не заберут обратно. Удивительно, но в этот период почта работала достаточно хорошо. Что могла сделать мать, получив такое письмо? Только послать ко мне нянечку, чтобы во всем разобраться. Может быть, она бы это сделала и без моего письма. Тем не менее, оно ускорило дело.

Нянечка, хоть и неграмотная, но очень толковая, быстро разыскала меня. Она приехала, когда я в качестве дежурного мыл полы в нашем большом зале. Я стоял внаклонку у ведра с мокрой тряпкой в руках. Нянечка немедленно отняла у меня ведро и начала мыть пол. Затем она внимательно взглянула на меня, потрогала мой лоб и побегала за термометром. Температура была выше 40°. У меня был возвратный тиф. Меня уложили в больничную палату. Болел я тяжело, но не очень долго. Неудачно брали кровь из вены, и затем я долгие годы боялся этой процедуры.

Где-то в конце моей болезни появилась мама. В августе 1941 г. из Ленинграда начали срочно вывозить больных детей. Один из эшелонов направлялся в Ярославскую область, недалеко от тех мест, где я находился. Мама поехала с этим эшелоном в качестве сопровождающего врача. В ее трудовой книжке имеется запись о том, что 14 авгу-

ста 1941 года мама откомандировывается в распоряжение Ярославского облздравотдела. Она сдала вывезенных детей и собиралась забрать меня из детского дома. Втроем с нянечкой мы должны были возвратиться в Ленинград. Однако военные действия внесли свои коррективы в мамыны планы. Официальной датой начала блокады считают 8 сентября 1941 года. В этот день окончательно замкнулось кольцо окружения. Железные дороги, которые веером идут от южной части города, были перерезаны уже в середине августа. Таким образом, путей возврата не было.

Многие врачи, имевшие детей, соглашались сопровождать эвакуированных детей. Так, мать Татьяны Холмянской, работавшая вместе с моей мамой и имевшая двоих детей, согласилась выехать в Ярославскую область вместе с детским домом, в котором были ее дети. Но она ехала вместе с детским домом, а не сопровождала эшелон, как мама, поэтому ее в течение года из детского дома не отпускали. Отец Татьяны был эвакуирован в Волгоград вместе со своим оборонным конструкторским бюро. Их семья воссоединилась в Волгограде только в конце лета 1942 года, когда уже начались первые бомбежки города. Конструкторское бюро вновь вывезли, на этот раз в Кемеровскую область. Эшелон был в пути свыше месяца. Он шел через Пензу, где в это время жили мы. Мать Татьяны и ее бабушка во время длительной стоянки в Пензе пошли за покупками и встретили маму. Вот какие неожиданные встречи иногда преподносит жизнь! Может показаться, что это нечто особое. Однако такое бывало. Но бывало и иное.

Отец и дядя Марк одновременно учились в Киевском университете в 1918 году и не познакомились. В конце войны они по логике событий должны были бы встретиться где-то в штабе фронта Конева, куда направляли отца и где воевал дядя. Судьба, тем не менее, распорядилась по-иному — отца досрочно демобилизовали. Так они и разминулись. Так что, бывало всякое.

По приезде в Ярославскую область мать на некоторое время поселилась там же, где и нянечка. Я смутно помню комнату на втором этаже старого деревянного дома. Она, скорее, напоминала сарай. В комнате была большая русская печька. Хлеба нигде не было. Достали муку, и нянечка сначала сделала лепешки, а затем и испекла хлеб.

Маме надо было как-то решать нашу судьбу. Сведений от отца не было. Мать взяла с собой все свои документы, ряд ценных вещей. Денег у нее было мало, да и всерьез они уже ничего не значили. В первых числах сентября была введена карточная система. Маме надо было искать работу, место для жизни. В этот момент мы получили телеграмму из Иркутска. Папины друзья помнили его. Нас звали в Иркутск, гарантировали какую-то работу для мамы и прочее. Во вре-

мя боев в Воронеже, когда очень боялись прорыва немцев и того, что Пенза, где мы тогда жили, окажется в кольце, мы опять получили приглашение в Иркутск. Все телеграммы были подписаны некоей Чикаревой. Кажется, она была работницей Облздравотдела. Я ее никогда не видел. Добрая память о ней и о тех отзывчивых людях, которые в столь критические моменты проявили о нас заботу, сохранилась у меня на всю жизнь. Тем не менее, мы не воспользовались этими предложениями.

Тогда, в 1941 году, решающую роль, как обычно, сыграл дядя Ионя. Он перед войной работал в одном из наркоматов. Как назывался тогда наркомат, я не помню, знаю, что он имел какое-то отношение к весам и другим измерительным приборам. Судя по дальнейшему, это был будущий Приборпром. Большинство наркоматов подобного типа были специально созданы перед войной для военных целей. Их основная задача состояла в подготовке промышленного производства вооружений или боеприпасов в военное время. В первые недели войны наркомат, где работал дядя Ионя, был преобразован в Наркомат минометного вооружения. Во главе наркомата стоял Паршин. Дядя, как я уже говорил, был хорошим работником и организатором. В этом наркомате, как и ранее, он занимал служебное положение или начальника отдела, или заместителя начальника главка. Может быть, я и ошибаюсь, но это существенного значения не имеет. Почти все военное время дядя провел в Москве, хотя был очень краткий период временной эвакуации вместе со всеми сотрудниками наркомата.

В то время правительственные учреждения полностью или частично вывозились из Москвы. Большая часть их оказалась в Куйбышеве. Наркомат минометного вооружения оказался в Пензе. Пенза находится не очень далеко от Куйбышева на железнодорожном пути, связывающем его с Москвой. В Пензу в начале войны дядя отправил и тетю Нину. С ней вместе были ее мать Эмма Федоровна и сын сестры тети Нины, Лели, мальчик дошкольного возраста Юра. И Эмма Федоровна, и Юра до войны жили под Ленинградом в Павловске, который, я уже писал об этом, в те времена в честь Веры Слуцкой назывался Слуцком. Когда мы приехали в Пензу, то вместе с тетей Ниной там был и второй сын дяди Марка — Альдик.

Итак, под воздействием энергичных организационных усилий дяди Иони, мы двинулись в Пензу. Утром, еще в темноте, мы втроем, с большими узлами, отправились на станцию. Станция была затемнена. лишь кое-где виднелись синие огни и огни светофоров. Нам надо было переходить пути непосредственно перед стоявшими под парами паровозами. Я безумно боялся, и мать чуть ли не силком перетаскала меня через пути. Впоследствии она признавалась, что ей и самой было весьма не по себе и даже страшно. На высоком дебаркадере мы ждали

поезда на Ярославль. Судя по железнодорожному атласу, от Данилова до Ярославля 70 км. Путятино же расположено недалеко от Данилова в сторону Ярославля. В Ярославле мы сели на трамвай и поехали по направлению к набережной Волги. Проезжали мимо здания знаменитого Ярославского театра, исторически первого профессионального театра России. Площадь перед театром хорошо запечатлелась тогда в моей памяти.

В 80-х годах мы с Галей путешествовали по Волге от Петербурга до Астрахани и обратно. Когда нашу экскурсию проводили через площадь перед ярославским театром, меня удивило, как мало она изменилась по сравнению с тем, что сохранила моя память. В Ярославле мы сели на пароход и отправились в Горький. Это был обычный колесный пароход. Плыли мы вечером и ночью. У нас были места 4-го класса. Так стыдливо назывались билеты, которые позволяли сидеть на свободных скамейках и лежать на своих узлах прямо на палубе. Располагались мы на тюках то на корме, то в каком-то проходе. Был момент, когда мы с мамой зашли в тесную каюту, но, кажется, я там не спал. На пароходе одновременно с нами ехал цыганский табор: множество детей, собаки, шум и гам. От Ярославля до Горького по Волге не очень далеко и на следующий день мы там выгрузились.

У дяди Иони был знакомый инженер, работник одного из горьковских заводов. В первую ночь он пустил нас к себе домой переночевать (дядя написал ему). Утром мы ехали от него на трамвае. Помню крутой спуск. Я почему-то считал, что трамвай проезжал при этом через цеха завода. В 70-80-е годы мне не раз приходилось бывать в Горьком и одному, и с Галей. Автозавод, о котором я думал, стоит на ровном месте, и трамвай спокойно проходит рядом. Правда, цеха завода расположены по обе стороны улицы. Мы с Галей во время одной из конференций даже жили в гостинице не очень далеко от завода. Крутой спуск от центральной части города к Оке существует. Их даже, по-моему, два. По ним ходят и трамваи, но не рядом с промышленными предприятиями. Так что в моих воспоминаниях переплелись реальные впечатления и детская фантазия.

Весь второй день, а может быть, и ночь, мы провели вблизи пристани. Скорее всего, это было в том месте, которое называется Скоба. На одном из дебаркадеров пристани, пустом и чистом, размещался медпункт. Там мама ради профилактики напоила меня бактериофагом. Я играл на берегу реки, и она впоследствии не раз говорила, что очень огорчилась тому, как быстро я внешне превратился в маленького беспризорного. В конечном итоге мы сели в поезд, который повез нас в Пензу.

От Горького Волга уходит на юго-восток, к Куйбышеву. Одна же из железнодорожных линий через Арзамас, Рузаевку и Пензу идет от

Горького к югу, по направлению к Саратову, где Волга, сделав полудугу, снова течет в старом направлении. На вокзале в Горьком мать купила две книги, которые в эвакуации стали моими собственными книгами. Это был однотомник Маяковского, изданный в 1941 году, и «Детство» Горького. Кроме этих книг, в Пензе у нас в качестве своих были еще два тома учебника детских болезней Маслова, которые мать на всякий случай взяла с собой. Был у нее также и анатомический атлас — отличный материал для изучения всяких картинок в подростковом возрасте. В поезде, шедшем в Пензу, было относительно мало народа. Мать развлекала меня культурными играми, типа словообразование. С тех пор я полюбил эти игры и всегда с удовольствием в них играл. Даже и сейчас, сидя в ожидании перед кабинетом врача, я иногда провозу время, играя сам с собой.

Пенза — большой железнодорожный узел. Соответственно, там 4 железнодорожных станции. Они так и назывались: Пенза первая, Пенза вторая и т. д. Пассажирский вокзал, это, естественно, Пенза первая. Здесь нас встретил представитель наркомата. Его фамилия была Десс, или, может быть, что-то похожее. Десс занимался размещением родственников работников наркомата по квартирам, обеспечивал им возможную помощь в быту. Все хорошо отзывались о нем. По словам мамы, а она в этих вещах разбиралась, у Десса было тяжелое заболевание нервной системы, начинался паралич ног. Она его очень жалела, но, похоже, помочь ему было невозможно.

Десс повел нас домой к тете Нине. Центральная часть Пензы расположена на холме. Вокзал находится внизу, и надо подняться по главной — Московской — улице до конца, проходя мимо рынка и театра. Расстояние не очень большое. Дальше сквер, на площади перед которым стоял какой-то революционный обелиск. Сбоку обком партии, почта. В послебрежневские годы, читая биографию К. У. Черненко, я с удивлением узнал, что в годы войны он был секретарем пензенского обкома партии. В те годы имени Черненко на слуху в Пензе не было.

Чуть далее здания обкома, на втором этаже деревянного дома, в квартире женщины по фамилии Маслова, «по уплотнению» жила тетька Нина со всеми своими спутниками. Была ли у нее отдельная комната, не могу сказать. Скорее всего, ей отдали половину большой комнаты, а во второй половине жила хозяйка. Меня сразу же уложили спать. Я еще не успел заснуть, как из школы пришел Альдик. Он учился в третьей смене. В этот день местные хулиганы подстроили так, что, когда он просунул руку во вращающуюся доску для письма в классе, эту доску толкнули. У брата болела рука, и этот вопрос долго обсуждался, пока я засыпал. С братом рядом я прожил очень недолго и ничего о наших встречах в это время не помню. Брату в в тот период было непросто, и

он, так же как и я, написал письмо домой. Это письмо очень беспокоило его родителей, и вскоре брата забрали от тети Нины.

Со следующего дня мы втроем жили отдельно от тети Нины. Десс вселил в нас также «по уплотнению» в комнату к двум женщинам. Это было в самом центре Пензы по адресу ул. Карла Маркса 14, кв. 2. Эта коммунальная квартира располагалась на втором этаже двухэтажного дома. Комната была первой от лестницы и имела большой выступающий балкон. Конечно, мы встречались с тетей и ее семьей, Я часто бегал к ним в гости.

Мы прибыли в Пензу к началу сентября. В такой же период времени мы вернулись в 1944 году в Ленинград. Один из этих приездов приходился на 31 августа, а другой — на 4 сентября. Куда в эти числа мы приезжали, не знаю. Числа сохранились в памяти, а других зацепок нет. В последние дни сентября в Пензу приехала мать Альдика Роза Марковна (тетя Роза). Почему-то она появилась у нас дома, и меня послали отвести ее по темной Пензе туда, где жил Альдик. Буквально на следующий день она с сыном уехала в Горьковском направлении, а оттуда со временем они двинулись в Сарапул.

В то время я полюбил писать письма. Писал всем. Есть какие-то следы этой переписки в виде старых открыток. Они говорят о моих контактах с Альдиком и дядей. Встретились же мы с братом только после войны. Сначала он приехал в Ленинград со своими приятелями, затем я приехал в Москву на зимние студенческие каникулы в 1951 году.

В комнате, куда нас вселили, жили старушка Софья Александровна и ее дочь Нина Александровна Лебединская. Старушка уже давно не работала, раскладывала пасьянсы, читала. Я научился у нее многим пасьянсам. Старушка была добрая и хорошо относилась и ко всем нам, и ко мне лично. Нина Александровна работала диктором на местном радио. Она уходила из дома почти одновременно со мной и возвращалась достаточно поздно. Чувствовалось, что личная жизнь у нее не сложилась. Мама после войны поддерживала отношения с пензенцами. К нам в гости приезжали соседи по квартире Меркуловы. Были письма и от Нины Александровны, но с ней нам больше встретиться не довелось.

Комната хозяйек была разгорожена. В одном углу жила Нина Александровна. Посередине был стол. У дальней от окна стенки была плита, на которой готовили. Нам был отгорожен узкий проем. Там стояла кровать, где спала мама. Где было место нянечки, я не могу вспомнить. Я спал на раскладушке-гармошке. Когда я раскладывал ее вечером, то между маминой кроватью и моей раскладушкой не оставалось свободного места. За маминой кроватью стоял шкафчик, а далее кровать, на которой спала старушка. У хозяйек было 5 кошек: 4

своих и одна оставленная уходившей на фронт соседкой, медсестрой по фамилии Косова. Кошки были со странностями. Две были типичными альбиносами, с красными глазами и глухие. Только один персидский кот Рыжий был настоящий классический кот: гулена, с вечно разодранными в драках ушами. Двух котов звали Димка и Мишка. Они сослужили нам добрую службу в первую зиму. Ночью раздался стук в дверь. Мать ждала вестей от отца и побежала открывать. В дверях стояло два мужика с очевидными недобрыми намерениями. Они увидели много кроватей. Кто на них спал, было неясно. С нами бы они управились. В это время глуховатая старушка, боясь что кошки разбегутся, стала кричать: «Мишка! Димка! Где вы? Сюда скорее!» Грабители предпочли тихонько удалиться.

В школу меня отправили сразу. На первые занятия я пришел с пионерским галстуком — наверно, единственный на всю школу. В один из первых же дней с нас собирали деньги в фонд обороны. Я прибежал домой, и мама дала мне несколько мелких облигаций государственного займа. Сложнее было со всем остальным. Я уже говорил, что в начале сентября были введены продуктовые карточки. За хлебом стояли очереди. Прочие продукты по карточкам практически не продавались. Нечего было носить. Мама раздобыла где-то ордер мне на костюм: черную сатиновую куртку и брюки. Когда в 1942 году в свой первый поезд отец увидел меня в нем, он испугался. По его словам это был типичный сиротский костюм из приюта.

На работу маму долго не брали. Как жена военнослужащего она должна была получать деньги по денежному аттестату. Он, однако, не пришел. Тогда было много случаев распада семей, и в военкомате просто понимающе хмыкали. Аттестат пришел с большим опозданием. Объясняли это тем, что поезд с документами попал под бомбежку. Скорее всего, сообщение с Ленинградом, где воевал отец, было просто нарушено, но об этом умалчивали.

Зима 1941/42 года была для нас голодная. В первые дни, пока мама не устроилась на работу, да и затем хозяйки давали мне студень, который они покупали для кошек. Далее всю зиму мы питались овсяной кашей и повидлом, которое варили из лука. Лук хорошо рос в окрестной деревне Бессоновке. Поэтому эта еда называлась бессоновским вареньем. Я не знаю рецепта, но лук переваривали с чем-то до темного цвета. С той зимы я терпеть не могу вареный лук.

В конечном итоге мама устроилась на работу в поликлинику. Это была единственная поликлиника в центральной части города. Располагалась она недалеко от нашего дома, на крутом спуске улицы Володарского. Поликлиника, естественно, была взрослой. Во главе поликлиники стоял доктор Аншелес. Его брат Илья Маркович работал с отцом в Ленинграде. В послевоенные годы он был начальником эпи-

дуправления Горздрава, а отец был его замом. В институте им. Пастера соотношение было иным, хотя и там Илья Маркович играл заметную роль. После войны мы дружили домами. В семье Ильи Марковича было большое горе. Его младший сын Ленька был болен тяжелой, неизлечимой болезнью. Я забыл, как она называется. Все время он сидел в кресле, совершая произвольные движения конечностями и головой. За всю свою жизнь я видел только один случай, когда человек с подобной болезнью сумел добиться серьезных успехов в жизни. Это был физик-теоретик, профессор Самойлович из Кишинева. Но и этому профессору требовались постоянный уход, помощь в быту и прочее.

Как и во всех таких случаях, родители Леньки, понимая, что ему будет невозможно держаться в жизни после их смерти, очень рассчитывали на своего старшего сына Веню. Веня ушел на фронт в начале войны и сравнительно быстро погиб. Он был похоронен в братской могиле где-то у железной дороги Петербург-Вологда. На этом же направлении в годы войны погибло много знакомых нашей семьи, в частности, муж Анны Григорьевны, которая перед войной и в годы войны была директором Института им. Пастера. Я хорошо знаю эти места. Сравнительно недалеко, в Ефимовском районе, мы, студенты университета, работали на строительстве сельских электростанций. На старших курсах университета я в составе лекторской группы как-то целую неделю ходил по селам этого района и читал научно-популярные лекции. Это была моя первая в жизни командировка. Сейчас эти места изменились, а тогда это была сплошная глухомань.

Родители Вени очень горевали о том, что Веня лежит в земле далеко от города. Тогда отец, занимавший видное место в медицинском управлении фронта, сумел добиться разрешения на эксгумацию и перезахоронение Вени. Тела в братской могиле лежали давно, и узнать кого-либо было невозможно. Помогло то, что Веня, как еврей, был обрезанным. По этому признаку его нашли и перезахоронили на одном из городских кладбищ.

В семье Аншелес был еще и третий брат, профессор-кристаллограф. В послевоенный период он заведовал соответствующей кафедрой на геологическом факультете нашего университета. Это направление близко моей работе. Я знал ряд сотрудников этой кафедры, знал о высоком научном авторитете их заведующего, но лично с ним мне сталкиваться не довелось.

В пензенской поликлинике мама познакомилась с Надеждой Сергеевной Лебедевой. Я уже писал, что она училась на год раньше моих родителей в том же ГИМЗе, но диплом получала одновременно с ними. В поликлинике она занимала небольшую административную должность: возможно начмед или заведующая отделением. С этих дней на-

чалась дружба сначала мамы, а затем и отца как с самой Надеждой Сергеевной, так и с ее ленинградскими родственниками. Дружба закончилась вместе с жизнью. Получилось так, что в последние годы жизни мамы мы жили в одном доме с Надеждой Сергеевной.

Я помню фамилии и других врачей поликлиники, в частности, хирурга Ельяшевича, возле кабинета которого всегда стояла огромная очередь больных. Следует выделить еще заведующего лабораторией Дермяцкого. Относительно молодой, высокий, он был насмешлив и в меру циничен. Происходил Дермяцкий из поповской семьи и знал массу чисто церковных анекдотов и историй. В те годы, возможно опасаясь жульничества, анализы, то есть мочу и кал, во избежание подмены надо было «сдавать» в присутствии работников лаборатории. В городе в это время был в эвакуации прекрасный театр оперетты из Ростова. Дермяцкий всегда с гордостью говорил, что он видел всех примадонн, которые сидели перед ним на ночном горшке. Кажется, потом он женился на одной из них. В основном же врачи в поликлинике были пожилые. Мать вместе со мной ходила к одной такой пожилой врачихе Рудницкой. У той была огромная, буквально ростом с теленка, немецкая овчарка Эльза. Собака была на спецучете, как производительница нужных фронту щенков. В связи с этим на собаку выдали карточку, по которой на нее получали мясо. Мне сдается, что сестры Рудницкие немало подкармливались от этой собаки.

Помню старого врача-офтальмолога Малкина. В пятом классе возникла необходимость выписать мне очки. Проблема была не только с получением рецепта, но и с их покупкой. Мать послала отцу рецепт, и он, будучи на совещании в Главсанупре в Москве, достал мне очки и прислал их в Пензу. Малкин детей не пользовал и с мамой был в то время не знаком. Мы пришли к нему домой за рецептом. Это была классическая квартира земского врача, коим он и был до революции. В квартире было множество книг. Малкин разговорился с мамой. Трудно скрыть в разговоре свою профессию. Малкин понял, что мама врач, и в лучших традициях старой медицины категорически отказался брать с нее деньги за визит. Эти традиции долго сохранялись в среде старшего поколения. Сейчас, увы, все это потихоньку исчезает.

Интеллигенция в годы войны бедствовала. Никаких специальных пайков вне столиц не было. По карточкам ничего получить было нельзя. Деньги, если они и были, ничего не стоили: по ним нечего было купить, инфляция была ужасной. Население Пензы в годы войны было своеобразным. Велозавод и несколько других предприятий мало что определяли. В городе было много эвакуированных. Вокруг центра, в так называемых райках, в землянках, ютилось множество бывших крестьян, согнанных с насиженных мест в годы кол-

лективизации. Они были настроены достаточно мрачно. Тем не менее, окруженная сельскими районами, Пенза кормилась от частных огородов, личного скота и привоза продуктов из деревни.

Врач, который пользовался популярностью среди больных, не голодал. Помню, как мама пришла с поликлинического приема пораженная. У нее в кабинете был работник хлебозавода, и после его ухода мама нашла на столе специально оставленную для нее плюшку: столь редкий тогда белый хлеб, покрытый махорочной пылью — плюшку принесли в кармане. Мама денег за приемы не брала. Однако больные часто приглашали нас в гости, иногда с ночевкой, и подкармливали. Меня в городе знали. Если я случайно забредал на базар, то нередко слышал: «Эй, сын врача! Попей молочка!»

Базар был интересным. Молоко продавалось четвертями: бутылками по 3,5 литра. Это соответствовало четверти стандартного ведра. Сливочного масла не было. Его сразу же перетапливали. Топленое масло, основной деликатес того времени, продавалось полулитровыми бутылками. Часто внутри бутылок была просто вареная картошка, покрытая снаружи слоем масла. Опытные покупатели ходили со специальными лучинками, чтобы, втыкая их в масло, проверить полноценный ли продукт они покупают. Полулитровая бутылка масла стоила не менее 200 рублей. Зарплата же никогда не превышала 1000 рублей в месяц. Из них вычитались налоги, заем, куча обязательных взносов и т. п.

Как я уже писал, во время уличных боев в Воронеже в Пензе было большое беспокойство по поводу возможного прорыва немцев и окружения города. Особенно беспокоились люди, которые уже перенесли бегство в 1941 году. Шайка жуликов в день, когда на базаре было особенно много народа, появилась там с бутылками, заполненными негашеной известью. На базаре в бутылки заливалась вода, и их бросали в толпу. Бутылки громко хлопали, а жулье кричало: «Гитлер! Танки! Спасайтесь!» Поднялась страшная паника, началась давка, товары были забыты. На это и рассчитывали жулики. Мне рассказывали, что в послевоенные годы аналогичная история случилась на Ростовском рынке. В Ростове рядом с рынком расположен кафедральный собор. Всякое высокое здание, если находиться с ним рядом, кажется наклоненным. Этим и воспользовались злоумышленники, кричавшие, что собор падает.

Летом 1943 года, будучи с нянечкой на пензенском базаре, я увидел нашего учителя ботаники и зоологии Николая Васильевича. Он продавал малину. Я был до глупости вежлив и поздоровался с ним. Учитель страшно смутился и пробормотал что-то вроде: «Вот видишь, всем приходится этим заниматься».

Как ни странно, Пензу война по-настоящему не зацепила. Не было ни одной воздушной тревоги, никто всерьез не заботился о затемнении.

Один раз через город провели колонну пленных итальянцев, на Пензе III на платформах стояли подбитые танки, готовившиеся к переплавке. Конечно, на велозаводе делали снаряды. Было и еще что-то. Основными заводами вокруг Пензы были тогда спиртоводочные заводы. В районном центре Моршанске изготовлялась знаменитая махорка, которую курили по всем фронтам. Однажды летом 1943 года в лесу за городом разбился самолет. Это был транспортник. Все кинулись туда. Я был в этом месте через пару дней. От фюзеляжа ничего не осталось. Его разобрали на поделки. После этого на рынке появились в продаже прекрасные дюралевые сковородки. Мы тоже купили такую сковородку, привезли ее в Ленинград и пользовались ею около 20 лет. Вообще же с кухонной посудой в те дни было плохо. Наши кастрюли протекали, и нянечка особым способом заштопывала их нитками, которые предварительно макались в пшеничную кашу. Сейчас в это трудно даже поверить.

Мама устроилась на работу в поликлинику в октябре 1941 года. Хорошо помню, что на 7 ноября, в холодный день с морозящим снегом, мы вместе с ней шли на демонстрацию в колонне коллектива врачей поликлиники. Демонстрация была короткая, а день, кажется, наполовину рабочим. Отпуска и праздники в дни войны практически были заменены денежной компенсацией. Ее выдали или в конце, или же после войны, и все эти деньги были съедены денежной реформой 1947 года.

События в Москве 16 октября хорошо известны. Паническое бегство затронуло и служащих наркоматов. Где-то 18—19 октября в Пензу пришел эшелон Наркомата минометного вооружения. В нем прибыл и дядя Ионя, привезший с собой дядю Марка. Все, особенно дядя Ионя, были возбуждены. Мне запомнился энергично мчавшийся куда-то дядя Ионя в светлых бостоновых брюках с аккуратными черными заплатами на заду. А ведь он всегда был таким модником! Дядя, не очень стесняясь, рассказывал о том, как в критический момент исчезли многие начальники. У одного из заместителей наркома в кабинете остался запертый сейф. Сейф боялись бросить под угрозой немецкой оккупации. Думали, что в нем находятся важные документы. Наконец, в присутствии соответствующих представителей его вскрыли. В сейфе оказались грязные подштанники, водка и закуска.

Надо отдать должное дяде Ионе. Он не надолго задержался в Пензе. Я уже говорил, что практически всю войну он проработал в Москве, а в Пензе бывал только наездами. Дядя Марк остался в Пензе до своего призыва в армию зимой 1942 года. Бегство из Москвы всегда с оттенком презрения рассматривалось ленинградцами, перенесшими блокаду. Они с некоторым высокомерием относились и к первым, вернувшимся из эвакуации соседям. Тем не менее, знаменитое: «Понаехало вас тут, где вы были в блокаду?» я на самом деле никогда не слышал.

В отношении Москвы в 1944/45 годах в Ленинграде гуляла известная шутка. В середине войны появились медали за оборону городов-героев: Сталинграда, Ленинграда, Севастополя и Одессы. В порядке этого старшинства они и носились. Их муаровые ленточки отличались только цветом центральной полоски: красной, зеленой, синей. Четвертый цвет я не помню. В конце войны появились медали: «За оборону Кавказа» и «За оборону Советского Заполярья». После этого неожиданно, скорее из политических соображений, ввели медаль «За оборону Москвы». В Ленинграде полупрезрительно спрашивали: «Вы знаете, какая разница между медалями «За оборону Ленинграда» и «За оборону Москвы»? Первую носят на муаровой ленточке, а вторую на драповой». Такое неприятие я видел еще один раз, когда в брежневские времена появилась медаль «За оборону Киева» — тогда все уже прекрасно знали, какой большой котел был под Киевом и как там погибло и попало в плен около полумиллиона бойцов Красной Армии.

В Пензе дядя Ионя занимался своими наркоматскими делами. Кажется, работала в бытность ее в Пензе и тетя Нина, но точно я не помню. Вообще же в послевоенные годы тетя считалась в министерстве ценным и исполнительным работником. Дядя Марк пробыл в Пензе с октября 1941 года до середины 1942 года. По прибытии в Пензу он сразу же начал работать в доме Политпросвета. Дядя писал стихотворные тексты к плакатам, которые вывешивались в витринах центральной части города. В общем, это была некая аналогия знаменитым окнам РОСТА Маяковского и Родченко. Дядиных плакатов было довольно много. Я долго помнил многие тексты, но сейчас, после стольких лет, я могу воспроизвести только отрывки. Запомнился мне и внешний вид некоторых плакатов. Кто был художником, я не знал никогда.

Нечто похожее выпускалось и в осажденном Ленинграде. Этим занимался, в частности, известный карикатурист Владимир Гальба. Его плакаты можно найти в соответствующих музеях и архивах. В отношении же пензенских плакатов, думаю, что, скорее всего, найти их следы очень трудно. Работа по написанию текстов плакатов считалась очень ответственной. 6 ноября 1941 года Сталин произнес речь на собрании московского актива в помещении станции метро «Маяковская». Мы все внимательно слушали эту речь по радио. В ней было два ключевых момента, которые дядя должен был немедленно отразить в текстовках для плакатов. В одном из мест этой речи говорилось о том, что Гитлер, а может быть, его генералы, это «вороны в павлиньих перьях». Дядя немедленно откликнулся текстом:

Кружатся вороны над Рейном!
В павлиньих перьях. Посмотри!
Пылают Шиллер, Байрон, Гейне,
Которых бросили в костры.

Горят парламенты, музеи,
Горят жилища в городах,
Горят поляки и евреи
В своих молитвенных домах.

(Дальше, к сожалению, я не помню.)

Со вторым местом было сложнее. Сталин сказал: «Гитлер похож на Наполеона, как котенок на льва». Это обязательно следовало отразить в соответствующем плакате. Быстрая рассылка точных текстов речей и других важных сообщений тогда не была еще налажена. Дело же было срочное. Беда состояла в том, что никто толком не разобрал, на кого похож Гитлер — на котенка или на козленка. От сталинских речей можно было ждать чего угодно. Ну, а ответственность была соответствующая. Я помню, как дядя бегал и спрашивал всех, на кого же, в действительности, похож Гитлер? В конце концов, он установил истину и появился плакат:

Перед портретом царственного льва,
Стоял котенок, жалкий и немьтый.
Его пустая и кошачья голова
Была хвастливой ерундой набита.

Чем я не лев! Ведь когти у меня,
.....

И куцый хвостик свой задрал,
Он замаякал тонко, тонко .

Писал дядя и пьесу о службе Швейка в немецкой армии. Это была толстая рукописная тетрадь. Куплеты Швейка я частично помню до сих пор. На мой нынешний взгляд их текст рассчитан на более высокий уровень культуры зрителей, чем тот, которого можно было ожидать. Солдат Швейк в те годы был весьма благодарной темой. В кино шли специальные короткометражные выпуски, посвященные похождениям этого героя. Некоторые фразы из этих выпусков, например, «Сосиски с капустой я очень люблю» или «Это такая машина. С одной стороны входит свинья, а с другой сразу выходят сосиски с капустой» были на слуху у всех моих школьных товарищей.

Начала дядя Марк жил у тети Нины. Но там было тесно, и вскоре он уже жил отдельно. Поскольку со временем тетя Нина переехала в более удобное жилье, то возможно дядя остался в ее прежнем углу. Точно я не помню. Зато я хорошо помню, как сердился дядя, которому досаждала своей педантичностью мать тети Нины Эмма Федоровна. В начале зимы 1942 года Марка забрали в армию. Он был в учебном лагере в Пензенской области, по-моему в Сердобске. Есть его снимок в солдатской форме. Не очень он там боевой с виду. Дяде сначала было тяжело. Он, например, не умел заворачивать портян-

ки. Однажды он приехал в Пензу, и я, которого няня обучила этому делу, давал ему уроки. Я долго с гордостью вспоминал об этом.

Пенза — старинный город, расположена в сельскохозяйственной зоне. Вокруг города много мест, бывших имений, связанных с именами Лермонтова, Куприна, других деятелей науки и культуры. Недалеко от Пензы в Горьковской (Нижегородской) области находится пушкинское Болдино. С Пензой связано и имя Белинского. В Арзамасе начинал свою деятельность Аркадий Гайдар (Голиков). В то же время Пенза не славилась насыщенностью исторических событий.

Я попал туда уже более взрослым, чем во время приездов в Иркутск, но многое из культурной истории города просто прошло мимо меня. Да и то сказать, Куприна, например, в те годы не печатали и не читали. Что из этого успела узнать мама, я не имею ни малейшего представления. Единственное, что я доподлинно знал уже тогда, это то, что в пензенской гимназии начинал свою деятельность отец Ленина. Он преподавал физику, а может быть, и математику, в местной гимназии. Электрофорная машина, которую он использовал в своем физическом кабинете, была выставлена в местном краеведческом музее. Эта машина была точно такой же, как и в нынешние времена. Из Пензы происходил Каракозов, совершивший первое неудачное покушение на Александра II возле Летнего сада. Мало известно, что Каракозов был дальним родственником Ульяновых, кажется, чьим-то троюродным братом.

Меня отдали учиться в школу № 10, расположенную на Красной улице. Школа была почти рядом с нашим домом. До революции в ее здании была гимназия. Здание было хорошим и удобным. Учителя, несмотря на войну, были тоже очень хорошими. Школа была переполнена, занятия шли в три смены. Тем не менее, порядок в школе был на очень хорошем уровне. Сейчас здание школы отошло к Пензенскому университету. Весь квартал вокруг него, в годы войны состоявший из деревянных домов, окруженных деревьями, судя по фотоснимкам, перестроен. Построенные вновь здания тоже относятся к университету.

На противоположной стороне Красной улицы находилось двухэтажное кирпичное здание Краеведческого музея. Музей этот стар и имеет богатую историю. В первый пензенский год я активно посещал кружок юннатов, работавший при музее, писал доклад о жуках-плавунцах, наблюдал за синицами и попугаями-неразлучниками. Я думаю, что в этот кружок меня определила мама. Сомневаюсь, что смог бы проявить достаточно смелости и прийти в кружок самостоятельно. Руководительница кружка Руденко, молодая женщина, очень хорошо относилась ко мне. У меня до сих пор хранится ее подарок: биография Ленина с трогательной надписью «юннату-любимчику».

Наша семейная жизнь на улице Карла Маркса складывалась просто. Зимой 1941/42 годов я учился в первую смену. Занятия начинались в 8 часов. Перед моим уходом в школу, примерно в 7.45, по радио ежедневно передавали песню «Священная война». Затем шла сводка Совинформбюро. У наших хозяек был не динамик, а наушники. Помню, как в середине сентября Нина Александровна стояла, приложив наушники к ушам. Вдруг она упала на диван и заплакала. Это передали сообщение о сдаче Киева.

Из школы я возвращался рано. В маминой поликлинике прием больных был длинным. Тем не менее, до вечера он не затягивался. Я часто заходил за мамой в поликлинику. В этот период, имея впервые свободные вечера, она уделяла много времени моим урокам, проверяла все домашние задания, учила меня многим арифметическим премудростям. Она стремилась, чтобы все мои уроки были сделаны в светлое время дня.

Электричества не было и в помине. У хозяев была керосиновая лампа, у нас коптилка. Керосина было мало, и мы вечерами сидели все вместе возле керосиновой лампы. Несколько позже один из маминых пациентов соорудил карбидную лампу и принес ее нам вместе с запасом карбида. Под шипение этой лампы с ее голубоватым светом мы и проводили вечера. В остальной части комнаты была тень. Хозяйки тоже жили скудно. Чай они для вкуса пили с солью. Сахар в войну к нам не попадал. Позже, в более хорошее время, мы пили чай с медом. Его можно было купить на пензенском базаре. Были бы деньги! Были проблемы с туалетом и мытьем. Такой антисанитарии, как во дворе нашего дома, я почти нигде потом не встречал.

У хозяек было много хороших книг. Я прочитал тогда всего Джека Лондона. Это было прекрасное издание 20-х годов. В нем были и «Сердца трех», вещь в те времена редко печатаемая. Были и «Алая чума», и «До Адама». Эти вещи и сейчас печатаются редко. «Железной пяты» не было, но я не считаю это бедой. Похоже, что не было и «Межзвездного скитальца». Правда, я допускаю, что в силу специфики сюжета от меня эту вещь просто утаили. Прочитал я у хозяек и всего Фенимора Купера. Обычно все знают только пять книг про Нати Бумпо и Чингачука, да еще «Шпиона». На самом же деле огромное место в собраниях сочинений Фенимора Купера занимают морские романы: путешествия, сражения и прочее.

Прочитал я и Сенкевича. Это были не только «Кво вадис», роман, произведший на меня сильное впечатление, которое осталось на всю жизнь, но и знаменитая трилогия. «Крестоносцев» я прочитал только несколько лет тому назад. Теперь они кажутся мне очень скучными. В те же годы многотомный «Потоп» читался легко и быстро. Прочитал я и несколько вещей Кэрвуда: «Пылающий лес», «Золотая пет-

ля». Мама читала романы Вернера и Марлит, Мережковского, Жорж Занд. Эти книги мне читать не разрешалось. Дядя Марк записал меня в библиотеку Дома политпросвета. Однако это закончилось конфузом. Властная библиотекарша привыкла жестко следить за детским чтением. Она всегда экзаменовала по содержанию прочитанных книг. Это было несложно, читал я внимательно, но было противно. Однако главная беда была в том, что она сама выбирала книги для чтения. Разные «Метелицы» и «Пакеты» я давно перерос и прочитал. Как кошмар меня преследовала книга «Двенадцать смелых буденновцев». Библиотекарша каждый раз навязывала ее мне. Я отказывался, говоря, что уже прочитал ее, но жутко опасался, что она меня спросит о содержании книги, которую я и в руках-то не держал. В результате я довольно быстро и с большим удовольствием расстался с этой библиотекой и перешел на подножный корм.

В то время я прочитал «Цусиму». В этой книге матросы, ненавидящие своего близорукого офицера, во время сна заклеивают стекла его очков папиросной бумагой и затем будят его криком «Пожар!» Я решил проверить эту идею на Софье Александровне. Старушка часто дремала днем на диване, сняв очки. Я нарисовал краской два глаза и заклеил ими стекла очков. Старушка, проснувшись, страшно удивилась тому, что кто-то смотрит в ее очки. В целом же она к этой выходке отнеслась весьма добродушно.

Дядя Ионя периодически приезжал в Пензу. В один из своих приездов он сказал, что отец находится на совещании в Москве и ему обещали дать возможность заехать на пару дней к нам. Это было осенью, скорее всего, 1942 года. Мы к тому времени уже наладили переписку с отцом. Как-то так получилось, что мама была занята, и я должен был идти один на вокзал встречать отца. Я был очень смущен, так как боялся, что, не видев его более года, просто не узнаю. Дядя подробно описал мне, как одет отец и как он выглядит. Конечно, мы узнали друг друга без проблем. Когда я торопился к вокзалу, то поскользнулся и упал в осеннюю грязь, так что вид у меня был аховый. Отец провел в Пензе всего три дня. Мы ходили в комендатуру отмечать его документы. У него на петлицах уже было по две шпалы: военврач II-го ранга. Впоследствии эти звания были заменены на обычные. Две шпалы — это соответствовало майору. Одна из шпал на шнели отломилась, и отец без всяких сомнений отломил шпалу и на второй петлице. Я очень переживал, что он как бы понизил себя в звании. Отец давал мне играть с наганом и учил его разбирать-собирать. В вечер перед отъездом он пошел в дворовый туалет и сделал пару выстрелов, чтобы оставить мне на память пустые гильзы. Это была великая ценность: из гильз делались так называемые поджиги, из которых стреляли либо спичечными головками, если такие были,

либо охотничьим порохом. Когда отец стрелял, я очень испугался, что ему за это попадет.

В течение войны он приезжал в Пензу еще пару раз. Один раз это было летом 1943 года. Он был уже в погонах, с орденом и медалью «За оборону Ленинграда» на гимнастерке. Помню еще один его приезд. Уезжая, он сказал, что надо слушать радио: под Ленинградом будут события. Действительно, через несколько дней было успешное наступление. Скорее всего, это был прорыв блокады 18 января 1943 года, но, может быть, и ее снятие — 27 января 1944 года. Естественно, что отец в свой первый приезд рассказал нам и о голоде в Ленинграде. Последний раз он появился у нас в августе 1944 года. Я к этому вернусь позже.

Тетя Нина после моих встреч и проводов отца решила, что я крупный специалист по поездам в Пензе. К ней в гости приехал муж ее племянницы Иры — Борис Александров. Ира воевала где-то под Славенском, а Борис был комиссаром у Доватора. Сейчас фамилии многих героев того времени подзабыты. Тогда же имя Доватора гремело. Была даже выпущена посвященная ему почтовая марка. Доватор командовал особой кавалерийской бригадой, которая совершала во время битвы под Москвой рейды по тылам немцев.

Жизненный путь Бориса Александрова очень интересен. До войны он преподавал в ветеринарном или, может быть, в сельскохозяйственном вузе, защитил соответствующую кандидатскую диссертацию. Однако ему пришлось уйти на партийную работу. Здесь он получил новое образование и свою вторую кандидатскую степень. На войну он пошел комиссаром. В этом ранге он и приезжал в Пензу. Воевал Борис успешно и после войны был направлен в военную академию, где и защитил свою третью диссертацию. (Больше таких примеров я не знаю.) Бог знает, сколько он затратил на эти защиты душевных усилий. После войны Борис дослужился до полковника, работал в Генеральном штабе. Он попал под одно из сокращений армии и пошел работать по своей первой специальности в отдел науки Министерства сельского хозяйства. Когда же в старости они с женой решили перебраться обратно в Ленинград, то Борис, имея ученую степень по общественным наукам, пошел преподавать эти предметы в один из вузов. Такую спираль, как говорил Лесков, придумать трудно.

Борис приехал в Пензу храбрым майором, на одном боку револьвер, на другом шашка, как-никак, а кавалерист! И вот тетя решила, что он без моей помощи не сможет сесть в поезд. Посадки действительно были сложные: толпы людей бросались к дверям вагонов. Что толку было от меня, одиннадцатилетнего мальчика, не знаю. И мама, и я были удивлены, но я пошел. Борис прекрасно уехал и без моей помощи. Возможно, тетя преследовала при этом некие воспитательные цели. Остается только гадать.

Летом 1942 года в Пензу приехали родственники тети Нины, перенесшие блокаду. Это были две ее сестры: старшая Вера и младшая Леля. Была с ними и их племянница Галя, девушка на несколько лет старше меня. Я их встретил на вокзале и затем отвел к тете. Они были исхудавшими до безумия, платья на них висели как на вешалках. Особенно тяжелое впечатление производила Вера. Невысокого роста, с горящими безумием глазами, она, казалось, ничего не понимала. Довольно быстро и Вера, и Галя исчезли. Леля же, сын которой Юра жил у тети, осталась в Пензе. Она затем переехала в Москву вместе с дядиной семьей и только через много лет вернулась в Ленинград, снова выйдя замуж. Сын же ее остался в семье дяди на всю жизнь. Как многие бывшие блокадники, Леля быстро растолстела. Конечно, это была нездоровая полнота.

Естественно, что жить в углу у хозяйки столь большому числу людей было невозможно. Поэтому тетя через наркомат получила жилье по улице Богданова, 22. Это была комната, имевшая два выхода — на террасу (дом был одноэтажный) и в общие сени. На отдельной кухне была хорошая печь с плитой, на которой готовили. Сравнительно быстро дяде Ионе удалось забрать своих родственников в Москву, и эта квартира, где-то с зимы 1943 года, перешла к нам. Точно помню, что лето 1943 года мы провели уже в этой квартире, слушая по радио сообщения о боях на Курской дуге и о первых салютах. Здесь мы и прожили до конца августа 1944 года, то есть до отъезда домой.

Все дома в нашем квартале были деревянными, да и черта города была тогда недалеко от нашего дома. Сейчас, надо думать, все перестроено и ничего, кроме номеров участков, не сохранилось. В Интернете я нашел объявление об открытии казино в одном из соседних домов по улице Богданова. Надо думать, это не тот деревянный дом, который существовал под таким номером в войну. В общем, кварталы, в которых проходила наша жизнь, запомнились мне очень хорошо. Пенза достаточно большой город, однако других частей города, так же как и реку Суру, я почти не помню. Что знала мама о других частях города, мне неизвестно. Думаю, что в дальние кварталы она тоже не ходила, а за вокзалом в зоне Велозавода не бывала почти наверняка.

Еще зимой 1941/42 года я пристрастился писать письма. Писал я всем родственникам, получал ответы. Переписку с отцом мама контролировала. Помню, как она хвалила меня за хорошее письмо, которое я написал отцу, прочитав в газете о его награждении орденом. Мои письма и открытки сослужили неожиданную службу. Я упрямо писал старшему брату Юре по имевшемуся у меня адресу полевой почты. Юра же пропал. И вот, неожиданно для всех, одно из моих посланий дошло до него, и пришел ответ из Кирова: там находилась его академия. Так нашелся брат.

Его судьба во время войны сложилась очень нетипично. К лету 1941 года он перешел на второй курс академии и был в Ленинграде. Похоже, что академия успела произвести набор и следующего курса. В критические дни осени 1941 года, когда город был под угрозой, курсантов бросили на фронт. Не знаю, что случилось: или необходимость уже отпала, или будущих медиков берегли, но в тяжелые бои эта группа курсантов не попала. Во всяком случае, я никогда не слышал об убитых или раненных в этот период сокурсниках брата.

В блокаду курсантов вывели из города по льду Ладожского озера. Лед был непрочным. Это могло быть или осенью 1941 года, или, наоборот, весной 1942 года. По рассказам, один курс целиком провалился под лед и утонул. Я уже упоминал об этом. Так как в академии было всего два курса, то это была приблизительно половина личного состава. Академия была эвакуирована, как я сказал, в Киров. Юра там учился до конца войны. Саша Перельман мне недавно сказал, что один из сокурсников брата, поэт Михаил Ботвинник, о котором я много слышал от Юры, в своих воспоминаниях пишет, что в 1943 году часть курсантов была брошена на фронт, причем не по специальности. Кто-то из них погиб, кто-то сменил военную специальность, кого-то затем отозвали обратно. Группу для фронта отбирали в кадровых органах, и брат в нее не попал.

Юра рассказывал Альдику, что он был на практике в районе Малой земли. Но госпитали там были далеко от передовой, и здесь пострадавших курсантов тоже не было. В 1945 году академия вернулась в Ленинград, и Юра закончил ее уже в 1946 году. Ему повезло: его сверстников, 1922 года рождения, уцелело мало. Тут нет его личной заслуги, никаких усилий с его стороны не было. Так сложилась судьба, и здесь нет ни правых, ни виноватых. Если кто и может считаться спасшим Юру от гибели, то это дядя, который, глубоко не задумываясь о реальных последствиях, заставил его учиться именно в этой академии. Попади он в другую военную академию, и все могло бы быть иначе.

В этой истории поражает другое. Если все просуммировать: год до войны, четыре года войны и год после войны, то оказывается, что брат проучился в Академии шесть полноценных лет. Тогда в гражданских вузах медиков учили пять лет. В войну были ускоренные выпуски: после четырех лет обучения давали диплом. Кажется, таких врачей называли «зауряд-врачами». Во всяком случае, ироническое «навряд врачи» я хорошо помню. Этих выпускников бросали на фронт, где они и доучивались, и погибали. А вот людей, которых специально готовили для войны, берегли и обучали по полной программе. Я не думаю, что тут была какая-нибудь интрига. Скорее всего, обычная несогласованность, бестолковость и прочее. Военные академии и гражданские мединституты — это разные ведомства. Но и в

военных училищах были ускоренные выпуски. Здесь можно увидеть еще одну иллюстрацию печального правила, когда в больших войнах основную нагрузку и жертвы несут не профессионалы, а запасники и резервисты

В пензенские годы мама сдружилась со своей пациенткой, бывшей сотрудницей Ленинградской публичной библиотеки, Бебой Григорьевной Збарж. Она была тяжело больна, жила вместе со своими родителями и дочкой, моей ровесницей, на Боевой, 48. Мы с мамой часто бывали у них. С дочкой я подружился на всю жизнь. Дружат сейчас и наши дети. Отец Бебы Григорьевны работал директором молокозавода. Поэтому у него в доме всегда был творог. Потом его посадили, обвинив в каких-то хищениях, однако, не найдя вины, быстро выпустили. В те годы это было большой редкостью.

Мать Бебы Григорьевны была прекрасной хозяйкой и очень чистолюбивой. Я на всю жизнь запомнил ее в фартуке и со шваброй в руках, непрерывно подметающей пол. Так было и по возвращении семьи в Ленинград. Муж Бебы Григорьевны, Яков Михайлович, ушел на фронт еще в финскую войну. В 1942-43 годах в чине майора он был уже фронтовым или армейским стоматологом, но занимался, конечно, не зубами, а челюстно-лицевыми ранами. Однажды он посетил Пензу. В это же время по стечению обстоятельств в Пензе оказался и отец. Мы провозжали их обоих в один и тот же день, они уезжали в Москву одним поездом.

В пензенский период 1942-1943 года нашу жизнь можно было считать устоявшейся. Появился огород. Нянечка, чтобы нас подкормить, пошла в доноры. Она сдала очень много крови и по правилам должна была после войны получить знак «Почетный донор», дававший определенные льготы. Однако необходимые документы были утеряны, и я всю жизнь сокрушался об этом. Донорство давало дополнительное гарантированное питание. Естественно, в первую очередь подкармливали меня. Так что можно сказать, что нянечка вскормила меня не только своим трудом, но и своей кровью.

Внешне регулярное донорство выглядит заманчиво и просто. На самом деле это тяжелая физическая нагрузка, тем более в те годы, когда за один раз сдавалось очень много крови, и даже крепкая нянечка плохо чувствовала себя после этой процедуры. Многие не выдерживали. Так, сестра тети Нины, Леля после пары походов в донорский пункт, которые должны были подкормить ее сына, сдалась и от этого дела отказалась. Так бы и жить нам до конца войны, но тут вмешалась судьба. Однако, прежде чем об этом рассказывать, надо вспомнить о военных путях отца.

До войны, а также в течение нескольких лет после ее окончания, в армии относились к высшему медицинскому образованию более

уважительно, чем сейчас. В нынешнее время любой выпускник медицинского вуза, попав в армию, надевает лейтенантские погоны. До войны два кубика (аналог лейтенантскому званию) давались в Военно-медицинской академии после второго курса. После окончания академии давалась шпала, то есть врача с высшим образованием приравнивали к капитану. То же касалось и гражданских врачей. И мать, и отец перед войной имели капитанское звание. В начале войны, я уже об этом говорил, это звучало иначе: военфельдшер такого-то ранга, военврач такого-то ранга. Где-то после Сталинграда все это упразднили и перешли на обычные воинские звания.

Отец получил назначение армейским эпидемиологом 23-й армии. Армия начинала войну на Карельском перешейке и занимала позиции по нынешней российско-финской границе. Финны официально вступили в войну 26 июня 1941 года. Отец же занял свою должность в начале июля. В самом начале войны Красная Армия имела очень крупные фронты: Северный, Юго-Западный и так далее. Во главе фронтов стояли предвоенные маршалы — Ворошилов, Буденный, Тимошенко. Сейчас эти имена основательно забыты. Кто, например, помнит Оку Городовикова, одного из героев польской кампании 1939 года, или маршала Кулика, командовавшего неудачным наступлением под Харьковом в 1942 году и разжалованным после этого в генерал-майоры. Большинство этих командующих проявило полную неспособность к военному руководству и было сравнительно быстро удалено с постов, которые что-либо определяли.

Отец всегда очень критически относился к этим деятелям сталинской когорты, намеренно искажал их фамилии. Так, Шверника, который, по мнению отца, «развалил профсоюзы», он называл не иначе как Скверник, менял первую букву в фамилии Буденного. Сталина, с моей подачи, он после войны звал Кацо. Отец всегда с глубоким презрением вспоминал речь Сталина 3 июля 1941 года, когда голос говорившего прерывался. В момент, когда Сталин наливал в стакан воду, было хорошо слышно дребезжание графина, так у него дрожали руки. Думаю, что в нынешних радиозаписях все это старательно подчищено.

В критические дни начала блокады Ленинградским фронтом командовал Ворошилов. Отец говорил, что Ворошилов непрерывно двигался с места на место. Относительно его стратегической деятельности отец ничего не говорил, но всегда с уважением отмечал, что Ворошилов несколько раз, выхватив наган, поднимал бойцов в штыковые атаки, проявляя огромную личную храбрость и мужество. Кстати, если вспомнить разные, предназначенные для детей рассказы о действиях Ворошилова в гражданскую войну, то это, в основном, что-либо вроде: остановил бегущих, выскочил вперед и метко стрелял из пулемета и прочее подоб-

ное. Всем было известно, что Ворошилов метко стрелял, недаром до войны существовал соответствующий значок «Ворошиловский стрелок». Таким образом, отец при всем своем критическом отношении к Ворошилову как к полководцу и политическому деятелю всегда отдавал дань его личному мужеству.

В начале войны 23-я армия входила в состав Северного фронта. Однако, после того как 8 сентября 1941 года кольцо блокады замкнулось, фронт разделили на два: Ленинградский и Волховский. 23-я армия оказалась в составе Ленинградского фронта. В его составе она пробыла до 1944 года, занимая несколько особое положение. Мне приходилось слышать шутивное: «Во вторую мировую войну не воевали три армии — австралийская, канадская и 23-я Ленинградская». Как воевали австралийцы на Тихоокеанском театре военных действий, я не знаю. Канадские войска в составе английского экспедиционного корпуса под общим командованием фельдмаршала Монтгомери весьма активно наступали на западно-европейском фронте. Воевала и 23-я армия. Но война с финнами была особой, и, чтобы понять корни несправедливого и не очень уважительного отношения к 23-й армии, надо несколько отвлечься от событий последней войны.

Финляндия и, в частности Карельский перешеек, глубоко и прочно связаны с российской историей. Однако главный, как сейчас модно говорить, вектор российских исторических событий был всегда направлен в другую сторону. Поэтому при поверхностном знании истории, которое характерно для среднего интеллигента, о многих событиях, связанных с Финляндией, просто забывают. Для нас российская история — это, прежде всего, войны с Турцией на юге или же с Западом. Все привыкли, что война с Западом — это дорога через Смоленск, как это не раз бывало в истории. Поэтому мы, например, считаем, что войска Лжедмитрия шли оттуда, в то время как их основной поток шел через Украину, входившую тогда в состав Речи Посполитой. Достаточно внимательно почитать с картой в руках пушкинского «Бориса Годунова». Вот мы все и привыкли к тому, что на Карельском перешейке ничего не происходит.

Недавно я прочитал книгу по краеведению, из которой узнал, что в допетровские времена было заключено 40 мирных договоров, а значит, было 40 войн со шведами только по поводу раздела территории нынешних Финляндии и Карельского перешейка. Два крестовых похода шведов на Россию прошли через Карельский перешеек. Во времена Екатерины Великой была четвертая, после Петра I, русско-шведская война. Если бы ни «Война и мир», мы бы никогда не знали о войне за Финляндию в 1809 году. Мы привыкли, что ничего значительного со стороны Севера не происходит. Про гражданскую войну в Финляндии в 1918 году и ледовый поход из Гельсингфорса (Хель-

синки) русской эскадры в тот же период и о предыстории этого похода мало где пишут.

Участие финнов в Отечественной войне отличалось от участия других союзников. Оно во многом определялось событиями зимней войны 1939/40 годов, которая встретила резкое неприятие на Западе. Советский Союз был исключен из Лиги Наций. Организовался международный комитет помощи Финляндии, готовился к высадке англо-французский экспедиционный корпус. Даже фашистская Германия выражала недовольство. Поэтому, несмотря на то что уже было объявлено о создании финского рабочего правительства на освобожденных территориях, наступление пришлось прекратить и заключить договор, который устанавливал ныне существующую границу.

Дело усугублялось еще и тем, что война шла тяжело, известны трудности и потери на Карельском перешейке. А ведь при наступлении от Петрозаводска Советской армией была совершена традиционная ошибка: войска наступали по дорогам, которые им просто оставляли. Хорошо вооруженные финские лыжные отряды перерезали дороги в тылу, снайперы, знаменитые «кукушки», целенаправленно выбивали командный состав. В общем, окружение со всеми обычными последствиями. Что-то о тактике зимней войны в зоне Петрозаводска можно найти у Тойво Антикайнена, финна-коммуниста, в его книге «Падение Кимас-озера». Однако эта книга описывает несколько иные события. Вообще же о войне с финнами в Карелии обычно предпочитают умалчивать.

22 июня 1941 года финны в войну не вступили. Только не очень разумная политика нашей стороны, начавшей бомбардировки Хельсинки, привела к открытию военных действий 26 июня. При этом финны на Карельском перешейке ставили своей целью только вернуть утраченное. Они дошли до старой границы на Сестре-реке и встали. Немцы никак не могли заставить их активно участвовать в дальнейших боевых действиях. В Карелии картина была иной, но схожей. Там финны заняли Петрозаводск и все финноговорящие районы, замкнули кольцо блокады и стали на рубеже реки Свирь. Далее они тоже прекратили активную боевую деятельность. Так продолжалось до 1944 года, когда началось наступление Советской армии.

Вместе с немцами в войну против СССР вступили Италия, Румыния и Венгрия. Итальянцы воевали, например, под Сталинградом, а румыны под Одессой. Итальянцы в 1940 году при немецком наступлении во Франции заняли Ниццу, которую они считали необходимым вернуть Италии. Румыны и венгры с нашими западными союзниками вообще не воевали. Тем не менее, союзники объявили им войну. Воевали все против всех. Единственным исключением была Финляндия. И Англия, и правительство свободной Франции с финнами

не воевали. Поэтому война с финнами закончилась возвращением советских войск на границу 1939/40 года и заключением с ними мира. Все эти события создают впечатление, что серьезных боевых действий на финском фронте не было.

В 1958 году перед рождением дочери мы с женой проводили лето на коллективной даче АН СССР на Карельском перешейке. Вместе с нами отдыхал один наш сослуживец, который в 1941 году в составе 23-й армии пережил ее отступление. Он рассказывал об очень тяжелых боях. Конечно, окружений, как в Белоруссии и под Киевом, не было, но бои были тяжелыми. Последствия боев 1944 года я видел сам, отдыхая в 1945 году на Карельском перешейке. Эти события носили локальный характер, важный для судеб, в первую очередь, Ленинграда. Тем не менее, и на ходе всей войны они сказались.

Прочтите любую книгу о войне. Помощь союзников шла разными путями: колонны грузовиков через Иран, перегоны самолетов через Сибирь и конвои через Архангельск. Главная же железнодорожная магистраль на Мурманск была перерезана финнами. Эта дорога была построена и пущена в эксплуатацию в 1916 году от Петрограда до Порто-Романов (Мурманск) именно с целью военного снабжения. А ведь в те годы был и второй путь к союзникам: поездом через Финляндию (Рихиймяки, Тампере, Оулу) до Швеции и далее до Бергена, затем пароходом до Ньюкасла. Это все можно прочитать в рассказе Алексея Толстого «Прекрасная дама». Именно этим путем по моим представлениям и добирался домой после революции дядя Ионя.

Итак, отец вместе с 23-й армией отступил в Ленинград. Работа армейского эпидемиолога не связана непосредственно с боевыми действиями. Я уже говорил, что когда она успешна, ее почти не видно. Включите телевизор: события в Косово или что-либо подобное. Бегенцы, большие группы перемещенных лиц в лагерях, перебои с водой, климатические трудности. Сразу заходит речь об эпидемиях. Зимой 1941/42 года в Ленинграде находились армия, местное население и люди, бежавшие в город из области и ряда других мест, даже из Прибалтики. Голод и холод — это известно. Но ведь не было воды и канализации, везде были нечистоты, в квартирах и на улицах лежали мертвые тела. Тем не менее, от эпидемий убереглись. Известно, что к весне все, кто еще мог что-либо сделать, вышли на уборочные работы. Организовывали их не только местные власти, но и врачи. Как это трудно, можно судить по рассказу отца о послевоенном времени.

В конце сороковых годов была большая эпидемия гриппа. Отец после войны занимался гриппом. Грипп — капельная инфекция, поэтому для снижения опасности заражения желательно было проветривать места скопления людей, в частности, кинозалы. Отцу удалось добиться того, чтобы между сеансами делался перерыв для провет-

ривания по 10-15 минут. При этом в каждом кинотеатре в день становилось на один сеанс меньше. Это сулило значительное недовыполнение финансового плана. Добиться нужного решения отцу было очень трудно. Впоследствии он всегда с удовольствием говорил об этом организационном успехе. Какие же усилия приходилось тратить в зиму 1941/42 годов, просто уму непостижимо. Печально писать об этом, но сейчас, в мирное время, непрерывно читаешь о вспышках эпидемических заболеваний, в том числе и в Санкт-Петербурге. Что-то все же разладилось в эпидемической службе города по сравнению с теми тяжелыми временами!

Во время блокады противоэпидемическая работа в городе и в армии должна была вестись совместно и военными, и гражданскими медицинскими службами. Фактически весь военный период отец, будучи в армии, одновременно работал и в Горздраве, Я не знаю, было ли это оформлено организационно, но дальнейшая военная судьба отца показывает, что непрерывная связь с гражданской медициной у него была. Именно за успехи в борьбе по предотвращению эпидемий отцу быстро присвоили следующее воинское звание и наградили орденом Красной Звезды. Тогда еще ордена давали редко. Вскоре отца перевели на ту же самую должность армейского эпидемиолога в больницу по численности и активно действовавшую 55-ю армию. К концу блокады отец передвинулся на фронтовой уровень. По рассказам у меня осталось впечатление, что он был фронтовым эпидемиологом, а в анкете запись: начальник фронтовой эпидемиологической лаборатории или что-то в этом духе.

Я уже писал о том, что в Пензе наша семья познакомилась, а впоследствии и подружилась с Яковом Михайловичем Збаржем. В годы войны он был армейским стоматологом. Яков Михайлович скончался в 1999 году в возрасте 93 лет. Он до конца своих дней сохранил активность и ясную голову. Им написаны две книги фронтовых воспоминаний. Так получилось, что я набирал на компьютере начало его первой книги: время финской войны и начало Отечественной. Яков Михайлович в тот период не был еще армейским стоматологом. Он хороший хирург. Известна методика его имени, какие-то специальные, предложенные им приспособления. Тем не менее, основной материал книги — это организационная работа.

Челюстно-лицевые ранения менее распространены, чем, например, ранения в конечности. Они имеют свою специфику. В частности, язык раненного может завалиться в дыхательное горло, и человек погибнет. Язык привязывают проволоочной петлей, она может отрезать кончик языка. И вот все время: собрали санинструкторов и объяснили, собрали медсестер эвакогоспиталей и показали, объехали санитарные отряды и проверили. Это пишет практикующий в то время

начальник госпиталя. Работа же армейского специалиста сплошь состоит из таких организационных мероприятий. Так же и работа отца: проверка на наличие насекомых, анализы всех желудочно-кишечных заболеваний, статистика, проверка всяческих бань, туалетов в местах скопления людей, прививки, проверка госпиталей. Это повседневный очень тяжелый и не очень благодарный труд. Эпидемия может возникнуть и у мирного населения, и у солдат. И тех, и других надо контролировать. Отец все это успевал делать. Есть даже пара его статей в специальных военно-медицинских сборниках, которые издавались на Ленинградском фронте.

Отец никогда не распространялся о своих служебных успехах в армии, но его часто вызывали в Москву на всякие совещания. Я всегда слышал от него фамилии Скрынникова, Верховского и других людей, управлявших санитарными и медицинскими делами и Ленинградского фронта, и всей армии. Косвенным свидетельством признания его квалификации был захваченный при наступлении зимой 1943 года специальный немецкий справочник. В нем перечислялись все советские армейские деятели, игравшие роль в защите Ленинграда. В основном это были генералы, но в этом списке был и отец. Я думаю, что, если бы его не ценили, ему бы не прощали озорных выходов. Однажды его как начальника армейского уровня поставили ночным дежурным по медуправлению фронта. Прошедший прекрасную армейскую школу в молодости, отец знал все уставы. Он знал, что дежурному ночью можно разуться и лечь на диван. Он дежурил в кабинете начальника. Отец снял сапоги, портянки аккуратно развесил на спинку кресла, а сам лег спать в соседней комнате. Пришедший начальник, увидев портянки, возмутился и стал кричать, требуя фамилию безобразника. Узнав же, что это был отец, он сказал: «Ну, так и не ставьте его больше дежурным».

В другой раз отца пригласили для тактических занятий на традиционной яме с песком. Кто из нас не проходил этого. Простой лейтенант запаса должен решать задачи типа «дивизия в обороне» или «полк в наступлении» — не меньше. Мне и самому пришлось на последних в моей жизни военных сборах обеспечивать передвижение колонны войск, наступавших не более и не менее, чем на Дуйсбург. Это город в западной части Германии, недалеко от французской границы. Закончилось это забавно. Был последний день сборов, погода была морозной. Многие на радостях пришли с выпивкой. Когда мы сели в электричку, некоторых развезло. И вот один менее выпивший кричал на другого, вызывая удивленные взгляды пассажиров: «Какого хрена тебя развезло. Ты же боевой офицер, ты под Дуйсбургом воевал!» Итак, в описываемой ситуации отец молча слушал все вводные, а когда его спросили о принятом решении, он ответил так, как, наверное, его учили еще в военно-фельдшерской школе: «Расчленить

и разбить по частям!» Он был единственным, кто получил хорошую отметку, но и здесь от него довольно быстро отвязались.

Рассказывая об этом периоде, отец чаще всего уделял внимание комичным сторонам своей службы. Он не раз повторял рассказ о том, как однажды, объехав несколько госпиталей, он безумно устал и, добравшись до очередной точки, где ему надо было только переговорить с начальником госпиталя, просто вызвал последнего к машине. Это было время обстрела, и, когда начальник госпиталя выбежал, в его кабинет попал снаряд, и все погибли. Отец с улыбкой и посмеиваясь говорил о том, как этот человек целовал его и чуть ли не на коленях благодарил за спасенную жизнь. Была и другая история, которая мне мальчишке очень нравилась. Вечером перед наступлением нового 1942 года отец очень задержался и шел к месту, где жил. В кармане шинели он нес с трудом раздобытую бутылку водки. От голода отец был слабым и, поскользнувшись, упал прямо на бутылку. У него треснуло ребро, но бутылка уцелела, и Новый год в кругу товарищей был достойно отмечен.

Я здесь коснулся темы голода. Как и многие перенесшие блокаду, отец очень не любил говорить на эту тему. Были только косвенные свидетельства. Так, он рассказывал, что приехал к нам на квартиру, зная, что у нянечки всегда есть запасы. Естественно, все было давно съедено соседями. Он рассказывал, что в ту зиму часто стрелял ворон. Стрелял он хорошо, как многие старые врачи. Зять Збаржа, тоже военный, югослав Рада Кнежевич, рассказывал, как на офицерских стрельбах один молодой офицер очень гордился своим результатом. Пришел старый врач, как и отец учившийся очень давно, чуть ли не до революции, посмотрел, надел очки и настрелял ничуть не хуже. Так что можно поверить в то, что охота отцу помогала. Он рассказывал, что в самые лютые дни голода чувствовал, как у него горит сердечная мышца. В то время он писал нечто вроде дневника. Это был второй настоящий голод в его жизни (были годы недоедания в начале 30-х). В общем, конечно, все это отрицательно сказалось на его здоровье в послевоенное время.

Вне всякого сомнения армию кормили лучше, чем население. Те учреждения, где это было возможно, подкармливали своих сотрудников. Леонид Рувимович Перельман жил на казарменном положении в своем мединституте. Там была организована некоторая помощь. Он даже немного помогал с едой их домработнице Аннушке. Отец в конце зимы нашел на помойке поедающего какие-то отбросы мальчишка Петьку и подкармливал его. После смерти отца мать не раз говорила, что было бы хорошо найти этого Петьку. Да как это сделаешь! Даже более реальное желание найти детей сестры отца на Украине было невыполнимо. Мать это понимала. Она иногда говори-

ла, что было бы хорошо, если бы у отца в войну были внебрачные дети. Их можно было бы найти и воспитать. Понятно, что это фантазия была от горя: она тосковала по отцу.

Когда я сказал, что армия питалась лучше, чем обычные жители города, это не значит, что питание было хорошим. Это совсем не то, что пишут иногда о питании в блокаду высшего руководства города. Последнее и обсуждать неприятно. Осенью 1944 года, после демобилизации, отец снялся в штатском костюме. Худое, изможденное лицо. Таким он после уже никогда не был. так что блокадные дни дали ему не просто. Однако, прежде чем переходить к его демобилизации, вернемся в Пензу.

Я говорил, что в начале пребывания в эвакуации у мамы вечерами оставалось свободное время. Мы часто с ней посещали ростовскую оперетту. Я пересмотрел многое из классического репертуара: всякие «Свадьба Марион», «Марица», «Фиалка Монмартра» и многое, многое другое. Ходили мы и в пензенский драмтеатр. Вечером, когда толпа зрителей шла по домам по центральной улице — Московской — иногда сзади ехали возчики на лошадях. Они кричали «Эй, эй!», и все уступали им дорогу. Я тоже из озорства иногда так кричал, и радовался, когда впереди идущие люди шарахались в сторону.

К началу 1943 года, когда мы уже жили на новом месте, мамина занятость возросла по времени и изменилась по содержанию. Фронт непрерывно требовал пополнений, призывались новые возраста. Мы, мальчишки, считали годы до армии. Известно, что в 1945 году призыв остановился на 1927 годе. Первая половина этого года успела попасть на фронт, вторая же была только призвана и просто отслужила потом свои семь лет. Но призывали не только новобранцев. Снимали брони, пересматривали освобождения, повторно призывали поправившихся после ранений. Все, кого надо было и брать, и освобождать от армии, проходили медкомиссии. Председатель комиссии — всегда военком, его заместитель — врач. В комиссии — врачи-специалисты, представители мандатной части и т. д. Со временем пензенский военкомат перестал доверять своим местным врачам. Думаю, что серьезных оснований для этого не было. Но как-то намекалось на то, что бояться взятки, знакомств и прочего криминала. К тому же молодые врачи уходили из комиссий на фронт и в местные госпитали. Поэтому составы медицинской части комиссий надо было обновлять.

К тому времени, о котором я рассказываю, решили сделать ставку на эвакуированных врачей. Мама была почти что единственным невропатологом в городе. Известно было, что она не занимается частной практикой. Это тоже шло в плюс, так как исключало нежелательные контакты. Короче, маму взяли в состав военкоматской комиссии. Судя по территории, которую охватывала работа комиссии, это была ко-

миссия при Облвоенкомате. Работа невропатолога в призывной комиссии всегда связана с тайными подозрениями. Если человек близорук или имеет ранение конечности, то считается, что это видно и всем понятно. На самом деле не все так просто и в этих случаях. В случае невропатологии человек с виду очень здоровый может страдать припадками, а худенький быть полностью здоровым. Конечно, все члены комиссий это понимали. Однако было много жалоб и доносов — почему такого-то призвали, а другого, на взгляд здорового, не тронули. Бывали и иные случаи.

Мама рассказывала, как на комиссию к ней попал человек, у которого на почве сифилиса начинались серьезные неприятности с двигательным аппаратом. Больной ничего не подозревал, но чувствовал себя неважно. Впоследствии он признался маме, что в предыдущем составе призывной комиссии с него брали деньги за освобождение от армии. Дело было беспроблемное. Больной бы побоялся всерьез признаться, его бы не пошадил. Ну, а взяточники были спокойны: любая проверка подтвердила бы законность их действий. Думаю, что таких случаев было немного. Тем не менее, они были известны и порождали соответствующую атмосферу.

После включения в состав комиссии мама стала возвращаться домой очень поздно. По всей вероятности комиссия заседала в здании маминной поликлиники, но после окончания рабочего дня. В самом опасном и темном месте дороги — в центральном садике — я ожидал ее, чтобы довести до дому. Деталей я не помню. Романтика происходящего затмевала все. Тем не менее, и мама, и нянечка всегда говорили, что, уходя встречать маму, я всегда брал с собой топор. Смутно что-то такое помнится, но, говоря об этом, я опираюсь на воспоминания старших.

К осени 1943 года заседания комиссии стали выездными. Мама на неделю, а иногда и на две, выезжала с комиссией в районные центры: Нижний Ломов, Кузнецк, Чембары и другие. С тех пор эти названия у меня на слуху. Сроки командировок никогда не были точно известны. Сколь долго бы ни заседала комиссия, конец дня всегда оставался свободным. Серьезное медицинское, а тем более невропатологическое обслуживание в тех местах отсутствовало. Местное население обращалось к властям с просьбой его обслужить. Полагаю, что местные власти были и сами в этом заинтересованы. Наконец, во время осенней командировки в Кузнецк маму упростили начать частный прием больных. Помню, как после этой командировки маму утром привезли домой. Она пошла на кухню и стала вынимать из-под кофты пачки денег. Деньги были мелкие, цены на все сумасшедшие, и, как следствие, пачки очень толстые. Так потом повторялось не раз. Особенно большой пользы от этих денег не было: их не на что было тратить. Все было

по карточкам, одежды и чего-либо еще не было и в помине. Что-то иногда присылал мне отец из своего обмундирования.

На заработанные мамой деньги мне сшили на заказ у маминого пациента-сапожника русские сапоги, так называемые «прохорья». На остальные заказали цинковые бидоны и стали складывать в них единственное, что можно было купить на базаре и сохранить: топленое масло и мед. Эти продукты очень помогли нам в первую зиму по возвращению в Ленинград. Ну, а деньги в основном пропали при денежной реформе 1947 года. Естественно, наличие этих денег в 1943 году позволяло нам чувствовать себя спокойнее. Но и только. Такая напряженная работа продолжалась у мамы вплоть до августа 1944 года, когда за нами неожиданно приехал отец.

Общее наступление 1944 года вызвало изменения на Ленинградском фронте и повлияло на дальнейшую судьбу отца. В школе мы учили, что 1944 год — это год десяти сталинских ударов. Их названия и последовательность теперь уже и не вспомнить. Был фильм «Третий удар» про освобождение Крыма, была операция «Багратион», о которой мы знаем из серии кинофильмов «Освобождение». Что-либо другое вспомнить ныне трудно.

Первый сталинский удар начался в январе 1944 года под Ленинградом и закончился 27 января полным снятием блокады. Наступление шло на юг. Поэтому о численности наступающих войск во всех учебниках говорится «без 23-й армии». Армии, шедшие от Ленинграда на юг, повернули в Прибалтику. Наступление других частей всех остальных фронтов не было связано с изменением направлений. Фронты стали Украинскими, Белорусскими и Прибалтийскими, но двигались они все так же на запад. Конечно, менялись и состав войск, составлявших фронты, и их командование. Что-то возникло или ликвидировалось. Но эти изменения были не столь кардинальны, как на Ленинградском фронте.

23-я армия дошла до старой границы и встала. Уже в феврале начались первые переговоры с миссией Паасикиви. Они не привели к желаемым результатам, но в августе финны сменили президента. Вместо Рюти им стал Маннергейм. Учитывая выход Карельского фронта к границе, было ясно, что война с финнами кончается. Новые переговоры шли с августа, а в сентябре Финляндия вышла из войны.

Вблизи Ленинграда был ликвидирован за ненадобностью Волховский фронт. Ленинградский фронт ушел далеко от 23-й армии. Назрели серьезные организационные и кадровые перемены. Положение отца и сделанные ему предложения говорят о том, что его судьба решалась в Москве. Он и приехал за нами из Москвы. Ему предложили перейти фронтовым эпидемиологом в один из наибольших по численности фронтов к маршалу Коневу. Этот фронт наступал об-

шим направлением на Берлин. В его составе был и дядя Марк. Фронт вышел к Берлину первым весной 1945 года.

Отцу сказали, что после перевода его сразу же производят в следующее звание, дают ордена. В общем, было сказано то, что всегда говорится и делается в таких случаях. С точки зрения военной карьеры это было прекрасно. Но в это же время возникла и чисто городская, ленинградская проблема. Армия из города ушла, уводя с собой многие санитарные службы, забирая запасы прививочного материала и, бог знает, что еще. В город же потихоньку начали возвращаться предприятия и жители. Поток еще был мал и слаб, но он был. Конечно, была более серьезная проблема: освобожденные территории области, да и соседних областей тоже. Медобслуживания там не было, и угроза эпидемий была велика. Короче, Ленгорздрав стал хлопотать о демобилизации отца и о срочном возвращении его в Санэпидотдел города.

Ни я, ни, по-моему, мама не понимали всей сложности этого вопроса, точнее, не интересовались деталями происходящего. Во всяком случае, я не знаю, спрашивал ли кто-нибудь мнение отца, и о его тогдашних желаниях я не осведомлен. На фронт он пошел добровольно, так как чувствовал необходимость этого и свою обязанность. Осенью 1944 года острая потребность в его армейской службе как будто бы отпала. Наверно, ему хотелось в лабораторию. Институт им. Пастера был в городе, и там отца тоже ждали. Не знаю, кто все же принял решение и насколько оно было неожиданным для отца. Тем не менее, во второй половине августа 1944 года отец прибыл в Пензу с решением о своей демобилизации и откомандировании в распоряжение Ленгорздравицы. Он привез также вызов на мать и всю нашу семью. Я уже писал, что нянечка по документам с первых дней войны числилась его теткой.

Из армии в войну специалистов иногда отзывали. Так, отзывали физиков-атомщиков, специалистов по радиолокации. Однако врача, успешно действующего на высоком посту, отзывали редко. Тем не менее, это произошло. Вызов, который привез матери отец, давал ей право приехать в Ленинград и обязывал явиться на работу, точнее, в распоряжение Горздравицы. Город был еще на военном положении, действовал комендантский час, в пригороды без пропуска не выпускали, действовало затемнение. Вызов подтверждал только то, что мать нужна и что ее возьмут на работу. Так оно и случилось впоследствии.

Чтобы реализовать право на въезд в Ленинград, нужно было еще получить разрешение на отъезд из Пензы. Вот здесь-то и начались трудности. Думаю, что основную роль здесь сыграл военкомат, а не поликлиника. Мать не согласилась отпустить. Расстроенные родители писали просьбу председателю Верховного Совета. Тогда это был Ворошилов. Писали еще кому-то. Уже в Ленинграде пришел ответ

из канцелярии Ворошилова, кажется, с отказом. Но тогда все это было уже не существенно. И так, отец собирался обратно. Сроки, данные ему на вывоз семьи, истекали. И вдруг в последний момент было получено разрешение на отъезд. Как и кто этого добился, я не знаю, так все были заняты лихорадкой сборов. Буквально в два дня упаковали наш скарб, сложили продукты, сдали квартиру и тронулись на вокзал. Один из маминых пациентов, я его хорошо знал и помнил, мать очень помогла его ребенку, имел лошадь и телегу. Вот на этой телеге нас и отвезли на вокзал.

Между Москвой и Куйбышевым, второй столицей во время войны, регулярно ходил скорый поезд 15/16. В Куйбышеве было полно правительственных учреждений, и поезд ходил аккуратно. Им всегда ездили и отец, и дядя, когда последний бывал в Пензе. Но к этому времени наркомат уже практически весь вернулся обратно в Москву, и дядя в Пензу больше не приезжал. Несмотря на регулярность движения, даже при наличии билета, а получить его было очень трудно, сесть в поезд было сложно. Ну, а нам, с вещами, предстояла просто непосильная задача. Билеты почти сутки доставал кто-то из сослуживцев мамы по военкомату. Может быть, это был кто-то из ее пациентов. Нам, однако, очень повезло: в день нашего отъезда к поезду прицепили дополнительный купированный вагон. Было ли это постоянное нововведение или случай, я не знаю. Сопровождавшие нас лица усадили нас в этот вагон примерно за час до прибытия основного поезда в Пензу.

Получилось так, что уехали мы навсегда. Из Пензы впоследствии к нам приезжали знакомые, а никому из нас так и не удалось побывать там после войны, хотя и очень хотелось. У меня были научные связи с пензенским Политехом, меня звали туда почитать лекции, но вот как-то не получилось. Теперь же наверняка и не выйдет больше.

Мы дождались Куйбышевского поезда. При посадке в вагон сели молодые летчики. Я вместе с ними непрерывно смотрел в окно. Дорога пролетела незаметно. Прикидывая расстояние — 790 км — думаю, что мы приехали в Москву на следующее утро. Пребывание в Москве мне абсолютно не запомнилось. Скорее всего, мы останавливались у тети Нины. Ленинградский вокзал в Москве произвел на нас сильное впечатление. Мать много раз об этом вспоминала в последующие годы. Все на вокзале было чисто, спокойно. Около вагонов стояли проводницы в новой форме с погонами. Все они были в белых перчатках и с флажками в руках. Внутри вагона тоже был порядок. Конечно, поезд шел намного медленнее, чем в нынешние времена. Однако он двигался уже нормальным путем, а не через Мгу. Участок между Тосно и Колпино, где прошли большие бои, был разрушен. Новая колея была проложена чуть в стороне от старой. В последующие годы старый путь восстановили, но до сих пор на этом

двадцатипятикилометровом участке поезда в Москву и в Петербург идут, разделенные расстоянием в пару сотен метров.

На вокзале нас встречал дядя Ионя — он был в Ленинграде в командировке. Как сдавали вещи в камеру хранения, я не помню. Домой мы поехали на троллейбусе. Тогда уже ходило немало трамвайных маршрутов и два троллейбусных. До войны же в городе было четыре троллейбусных линии. В троллейбусе дядя затеял громкий спор, где надо выходить. Он был неправ, но настоял на своем. Я же стеснялся, что вдруг поймут, что мы не были в блокаду в Ленинграде.

При повороте на улицу Гоголя на углу Кирпичного переулка стоял дом, у которого не было одной стены. Вместо нее стоял огромный фанерный щит с нарисованными окнами. Щит этот колебался от ветра. Именно этот дом восстанавливал известный каменщик Куликов. Газеты ежедневно печатали сообщения о ходе кирпичной кладки, а сам дом долго назывался куликовским.

Мы шли к дому от Исаакиевской площади. На соседнем, 97-м доме еще была цела надпись: «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Наши окна действительно глядели в сторону, откуда производился обстрел. До войны взрослые часто рассуждали о ветхости дома. Говорили, дескать, проедет грузовик, и все стекла дрожат. Тем не менее, в нашу квартиру — она ведь была на самом верхнем этаже — попало два снаряда: в одну из угловых комнат и в комнату около кухни. Наружные стены в них были разрушены. В третью комнату, пробив чердачное перекрытие, попала зажигательная бомба. Ее своевременно погасили, и о такой мелочи никто не вспоминал. Несмотря на это, в квартире спокойно жили. Так как жильцов было еще мало, то попадание снарядов просто спровоцировало некоторые внутренние переезды. После конца войны стены сравнительно быстро починили, но новое распределение жильцов по комнатам сохранилось, тем более, что в блокаду многие из старых жильцов умерли от голода.

В большой комнате в окнах была фанера с маленькими вставками из стекол. Света они давали мало. В нашей с нянечкой комнате окно было, но оно было собрано из нескольких кусков стекла. Пока взрослые располагались, я побежал к Перельманам. Саша, его мать и бабушка вернулись назад всего за несколько дней до нас из Перми (Молотова). Ну, а Леонид Рувимович провел всю блокаду в городе. Мы с Сашей сразу же поехали кататься на троллейбусе. Долгие годы мы с ним, как только открывался новый маршрут городского транспорта, проезжали по нему из конца в конец. Тогда это было нетрудно — и отследить, и выполнить.

Кажется, мы вернулись 31 августа, но, может быть, это было в первых числах сентября. Немедленно встал вопрос о выборе школы. Бы-

ло ясно, что мы пойдем учиться с Сашей в один и тот же класс. На весь Октябрьский район города действовала только одна полная средняя школа № 236. Но в этой школе в качестве иностранного языка преподавался английский, которого Саша не знал. Я же во время войны учился в школе, где преподавался английский. В те годы иностранные языки начинали изучать в 5-м классе школы. Так что изучать английский в Пензе я начал вовремя.

Учительница английского в пензенской школе была неудачной. Поэтому в последний год эвакуации я дополнительно занимался с учительницей, дававшей частные уроки и жившей по той же улице Богданова в соседнем доме. Она происходила из знаменитой дворянской семьи Языковых и, естественно, владела тремя европейскими языками. Я занимался с ней два раза в неделю немецким и один раз английским. До нее я, чтобы не забыть немецкий, немного занимался с учителем. Этот опыт был не самый удачный. В общем же, мне было безразлично, каким языком я буду заниматься в ленинградской школе. Кстати сказать, Языкова не только заставляла меня читать готический шрифт — это я умел и до войны, могу и сейчас. После обучения у нее я свободно писал готическими буквами. Сейчас без предварительной тренировки я этого сделать не сумею. Языкова была из заволжских дворян и хорошо знала семью Алексея Толстого. От нее мать, а затем уж и я, узнали, что мать Толстого бросила мужа и Толстой вовсе не граф. Тем не менее развод не мог быть оформлен, а номинальный отец Толстого из благородства допускал использование этой фамилии.

В описываемое время в нашем районе открывалась новая школа № 253. Здание ее было построено перед войной. В 1944 году это была так называемая «растущая десятилетка». Мы с Сашей поступили сюда в 7-й класс. Он был в этот момент старшим. На следующий год он должен был им и остаться, однако в 1945 году был неожиданно набран еще и 9-й класс. Так мы и закончили эту школу вторым послевоенным выпуском: один выпуск школа успела сделать перед войной.

Наша новая школа располагалась в Демидовом переулке, на углу канала. Это всего на один квартал дальше от дома по сравнению с той школой, где мы учились до войны. В нашей старой школе тогда был госпиталь. Когда во время нашей учебы в более старших классах старую школу открыли под номером 232, часть наших соучеников перешла в нее, но мы с Сашей остались в выбранной в 1944 году школе до конца. Когда мы поступали в новую школу, то ходили слухи, что ее возглавит наш бывший довоенный директор Савранский. Однако эти слухи так слухами и остались. После того как нас определили в школу, родители в ней до конца учебы не появлялись: в этом не было нужды. Выяснилось, что занятия в школе начнутся 1-го октября. Потом эта ситуация часто по-

вторялась и в школе, и на старших курсах университета — приходишь к началу занятий, а оно сдвинуто на месяц позже. До сих пор толком не пойму источник этой странности.

Итак, сентябрь у нас с Сашей был свободен. Я, и частенько Саша, крутились возле папы. Ездили мы и на огород к Перельманам. Огород был расположен очень далеко, возле больницы им. Мечникова. Папа занимался оформлением документов, собирал имущество, разбросанное по различным местам его проживания во время войны. Что-то мы забирали в Инженерном замке, что-то в Шемиловском жилмассиве. Заезжали мы и во фронтową лабораторию, где я впервые познакомился с папиным фронтовым товарищем майором Генрихом Марковичем Шубом. Тот пока еще оставался в армии. Папе дали машину, кузов которой был покрыт маскировкой. На ней мы привезли старую кровать: я спал на ней пару лет. Привезли мы еще какие-то папины вещи. Отец ходил уже в штатском пальто. Под ним была гимнастерка, а на ногах русские сапоги. Так же был одет и я. Отец все мечтал, чтобы мы вдвоем сфотографировались в таком виде, но мы так и не собрались это сделать.

Однажды днем папа поехал в Горздрав. Саша и я сопровождали его. В это время стали впервые продавать мороженое — брикеты на палочках, стоимостью по 35 руб. Их продавали возле Екатерининского сквера и напротив, возле Елисеевского магазина. Остановка троллейбуса была как раз у сквера. Отец купил нам по брикету, а затем еще раз повторил это угощение. Тогда это было редкостью и запомнилось мне на всю жизнь. Также запомнилась и чудная, спокойная, теплая осень 1944 года.

Получали карточки. В Ленинграде все было строго. Карточки прикреплялись к магазинам и, как говорили тогда, отоваривались. Хлебные карточки разрезались на десятидневные части — декады. Это было напоминанием о блокаде — потерять месячную норму было трагедией. Ну, а потеряв карточку на несколько дней, иногда можно было надеяться и на выживание. Как кандидат наук, отец получил дополнительную карточку: Литер Б. Профессора получали Литер А. Эти карточки тогда отоваривались на Офицерской улице (улице Декабристов), недалеко от нашего дома. Помню, что на месяц полагалось 6 батонов белой булки, пол-литра водки, спички. Батоны мы не видели много месяцев, водку был повод выпить, поэтому всю эту месячную норму мы забрали сразу. Впоследствии литературный магазин перевели на угол Казанской улицы и Невского. Помню, как уже через пару лет, в очередной приезд дяди Иони, мы все весной по очереди простояли всю ночь около этого магазина, чтобы получить по карточке несколько дополнительных кусков мыла. Сколько знакомых было у родителей в этой очереди!

То, что я описал, это все, так сказать, переходный период. Ну, а дальше началась, на год раньше, чем у большинства, послевоенная жизнь.

Десять первых послевоенных лет

Послевоенная жизнь распадается на два периода: до смерти отца в 1954 году и последующие годы. Здесь я расскажу о первом из них, в котором прослеживаются два этапа, примерно по пять лет каждый. Первый заканчивается защитой мамой кандидатской диссертации, денежной реформой и моим поступлением в университет. Первые два события — это 1947 год, окончание мною школы — уже 1948 год.

Несколько особняком стоит зима 1944/45 года. Наш приезд и демобилизация отца сопровождалась усилиями по организации быта. В момент демобилизации воинская часть, с которой отец был связан по работе, помогла ему с мастером-печником. В большой комнате уменьшили размеры печки и, главное, сложили плиту. На этой плите мы готовили в течение нескольких послевоенных лет. И готовка, и гардероб — все это было в жилой комнате. Сравнительно быстро нам заново установили телефон. Это было тогда непросто. Номер был забавный: 41-28. Он напоминал номер телефона из первого варианта текста маршаковского «Мистера Твистера». Помните: «41-28, Астория, // Можно ли вызвать швейцара Григория?» Номер там, правда, другой, но ритм тот же.

Как вставляли окна в большой комнате (это было не в первые месяцы после возвращения), я не помню. Надо было также достать дрова. Несколько первых послевоенных лет мы с отцом каждое воскресенье вытаскивали из сарая большие, почти трехметровые бревна, распиливали их, кололи, заносили в квартиру. До окончания мною школы в квартире провели газ, затем сделали паровое отопление. В последнем случае был большой ремонт. Это было весной, когда я заканчивал 9-й класс. Когда работы шли в наших комнатах, я даже временно жил у соседей. Это было вызвано тем, что ремонт выпал на пору школьных экзаменов. На это время часть семейных документов для сохранности относили к Перельманам.

Когда сломали плиту в жилой комнате, я не помню, но в студенческие годы она еще существовала. В эти же годы произошла и замена телефонов. В отличие от Москвы, в центральной части Ленинграда и до войны, и в первые годы после нее использовались кнопочные телефоны с устным вызовом телефонистки. На стенах в квартирах висели старинные аппараты фирмы «Эриксон». Сейчас их можно увидеть только в музее связи. Примерно в середине 1948 года все старые аппараты были заменены на трофейные немецкие с дисковым набором. Тогда это было большим событием. У отца кисти рук были больш-

шими. При наборе ему было трудно вращать диск пальцами. Поэтому со временем он стал набирать вызываемые номера, вставляя в отверстие диска карандаш. На номеронабирателе всегда виднелась дужка, прочерченная вращающимся карандашом.

Осенью 1944 года мы получили два ордера: на пару обуви и галоши. Эти вещи достались мне. Кто-то из родителей отвез меня к Нарвским воротам и там, на верхнем этаже универмага, я отстоял полдня, чтобы получить эту обувь. Ни о какой примерке в заполнявшей универмаг толпе и речи быть не могло. Вечером я возвращался из универмага домой. Я еще плохо знал город, стеснялся спрашивать дорогу и не носил постоянно очков. Тем не менее, я кое-как, далеко не оптимальным путем, добрался домой.

Мамин институт ОЗДиП осенью 1944 года обратно еще не вернулся, и она начала работать в детской соматической больнице сначала Петроградского, а затем Приморского района. С января 1945 года она работает в вернувшемся в Ленинград Институте детской ортопедии им. Турнера. Это продолжалось не очень долго. В город возвратился ее родной институт, и она вернулась в него. С институтом же ортопедии мать навсегда сохранила хорошие отношения, более того, некоторое время она совмещала две работы.

Отец стал работать и в Горздраве, и в Институте им. Пастера. Институт считался его основным рабочим местом. Отец принялся создавать новую, на этот раз гриппозную, лабораторию. Лаборатория располагалась в том же здании и на том же этаже, что и его довоенная сыпнотифозная лаборатория, только находилась она по другую сторону лестничной площадки. Обе лаборатории разделял животник. Я часто бывал у отца в это время, а также и позднее. В этом помещении лаборатория пробыла все время до смерти отца. У выхода из лаборатории через несколько лет появился большой холодильный шкаф. Его надо было обязательно выключать после конца рабочего дня. Когда отец закончил работу в Горздраве, он всегда уходил из лаборатории последним. Чтобы не забыть выключить холодильник, всегда вешал свою шляпу на его рубильник.

Лаборатории потребовалась новая методика работы: грипп ведь вызывается фильтрующимся вирусом. Работать стали на белых мышах. Были большие трудности с кадрами — основная сотрудница была очень хорошим человеком, но в работе была бестолковой. Со временем, с помощью Анны Григорьевны, удалось подобрать не очень большой, но работоспособный и толковый коллектив. В некрологе, посвященном памяти отца (он есть в приложении к этой книге), его лабораторию называют лабораторной ячейкой. Это было действительно так. Лаборатория была маленькой. В последние, наилучшие и успешные годы, кроме отца, в ней трудились всего два полноценных научных сотрудника. Тем не менее, результаты их работы были отличными.

В первые послевоенные годы отец уходил в институт очень рано, с тем чтобы после обеда перебраться в Горздрав. С двух-трех часов дня он всегда был в Горздраве, оставаясь там до позднего вечера. В те годы он возвращался домой около одиннадцати вечера. Была карточная система, и поэтому отец брал с собой завтрак. Иногда нянечка или я привозили ему в Горздрав более существенную еду. Ну, а в воскресенье — дрова и работа за письменным столом.

Я уже говорил, что в 1944 году из города без пропуска не выпускали. Той осенью маме за чем-то пришлось ехать в Петергоф. Ей выписали пропуск, прислали военную машину «Виллис». Мама каким-то чудом умудрилась взять меня с собой. Я хорошо помню эту поездку, шлагбаум на выезде из города, сразу же за Автово. Помню Петергофский дворец, вернее то, что от него тогда оставалось. Крыши у дворца не было, только одни стропила. Очень похоже на то, что и отцу часто приходилось ездить за город. Один раз он и Анна Григорьевна взяли меня с собой в Зеленогорск, тогда еще называвшийся Териоками. Мы ехали на крытой машине скорой помощи. Остановились возле разрушенной церкви в центре Териок. Анна Григорьевна имела какое-то отношение к событиям войны 1939/40 годов. Когда мы проезжали Келомяки (Комарово), она показывала места, где во время боев, по ее словам, прятались финские «кукушки». Эта поездка была где-то летом 45 года. Я специально даю все названия по-старому. Руссификация названий произошла намного позже.

Школа не требовала от меня больших усилий, да и учился я хорошо. Единственное, что можно отметить — меня быстро рассадили с Сашей Перельманом и на всю оставшуюся школьную жизнь запретили сидеть рядом: мы слишком хорошо понимали друг друга. Нам достаточно было полунамека, чтобы рассмеяться или иным способом нарушить дисциплину. Из тех, кто учился с нами в 7-м классе, школу закончило только четверо или пятеро. Остальные отсеялись, бросили. Некоторые ушли в военные спецшколы: там были еда, одежда, открывались перспективы учебы в военных училищах. Из моих новых друзей того года отмечу двух. Один — Володя Лепко. Круглый сирота, он был усыновлен музыкантской командой Военно-морского училища им. Дзержинского. Володя был старше нас, крепыш, ходил в морской форме. В училище его крепко били, если он приносил плохие отметки. В восьмом классе он из школы ушел, перешел на какой-то военный корабль, плавал в Финляндию. Мы переписывались с ним еще около года, но потом все постепенно сошло на нет.

Второго моего приятеля звали Ленька Лазарев. Он пережил в городе блокаду. Несмотря на возраст, имел медаль «За оборону Ленинграда». Он получил ее за тушение зажигалок и всегда носил приколотый к старенькой военной гимнастерке. У Леньки был хороший слух,

и, приходя к нам, он всегда с удовольствием играл на рояле. Наша дружба с ним кончилась в 8-м классе, когда Ленку поймали с папиром и моментально исключили из школы. Такие случаи бывали. Учившийся на год раньше нас парень был исключен за курение буквально за несколько месяцев до окончания школы. Зато какое было наслаждение нашим курящим подойти на выпускном вечере к кому-либо из учителей и попросить прикурить. Об этом мечтали долгие дни и заранее обсуждали сценарий.

Той зимой в школе было холодно. Мы учились в зоологическом кабинете. Там же жили и кролики, которым нам пару раз удалось скормить классные журналы. Периодически приходил директор и просил встать тех, кто хорошо учится. Вставало несколько человек. Тогда он просил встать еще и двоечников. Этих бывало побольше. Директор говорил, что и тем, и другим не страшно пропустить занятия, и посылал нас за дровами для школы. Ездили мы на грузовом трамвае в район сгоревших Бадаевских складов. Дрова поздно вечером сбрасывались на тупиковом пути в Столярном переулке. Утром вся школа носила дрова в наш двор. Это было расстояние в несколько кварталов. Учителя стояли цепочкой по дороге, так как иначе местные жители отнимали дрова у нас по пути. Многие из моих соучеников прикрывались для питания к школьной столовой. Там давали чуть больше еды, чем по карточкам. Пытались прикрепить и меня. Однако еда была очень плохая, и от этой идеи отказались. В столовой часто давали едва переваренную и невкусную репу. В такие дни куски репы носились в воздухе на уроках.

В то время все кто мог слушали серийные радиопередачи. По утрам в воскресенье шла передача «Ответственный съемщик». Вел ее артист Шнирман. Позавтракав, все сидели у радио и ждали начала этой передачи. Куплеты и песенки из нее повторялись на каждом шагу. По средам в 6 часов вечера шла детская передача «Амулет». Ее с удовольствием слушали не только дети, но и взрослые. Содержание передачи бесхитростное. Дети находят половинку старинного амулета и ищут вторую. Найденная ими половинка переносит их в самые разные времена — в Древний Египет, Грецию и т. д. Помню, как в школе во время одного из разговоров, когда дошло до знаменитого: «А ты кто такой?», вопрошаемый вдруг ответил: «Я вторая половинка амулета», чем рассмешил всех и снял напряжение. Была еще серия передач по «Трем мушкетерам».

Наш повседневный быт того времени во многом определялся очередями. Я ходил получать хлеб по карточкам на Невский проспект. Иногда надо было выстоять в очереди минут 40. В парикмахерскую надо было выстаивать несколько часов. Очереди в банях были невообразимые. Отец контролировал все санпропускники города. В один из них, он и сейчас

существует недалеко от входа в Боткинскую больницу, отец возил меня и Сашу, а иногда и Леонида Рувимовича мыться. Это бывало поздно вечером. В такие дни мы возвращались домой около 12 ночи. С дорогой мероприятие занимало до 3 часов, но это было все же более приемлемо, чем выстаивать очередь в баню.

Белье стирали в прачечных, которые были при каждом доме. Постепенно их число сокращалось. Ключи от прачечной надо было получить у дворника на весь день, вытопить и т. п. Иногда для этой процедуры объединялись несколько семей. Поздно вечером, когда стирка бывала закончена, мы с отцом с огромными плетеными корзинами, точно такими же, как те, в которых прятали Фальстафа в «Виндзорских проказницах», нагружали корзины мокрым бельем и носили его развешивать на чердак.

Многие наши знакомые в эту зиму еще не вернулись. Приехали только Бронштейны из Самарканда, где в войну была Военно-медицинская академия. О Перельманах я уже говорил. Были еще Аншелесы. Они все еще продолжали жить при Институте им. Пастера, как бы оставаясь на казарменном положении. У них мы и встретили нового, 1945 год. Илья Маркович тоже работал и в Горздраве, и в институте. Но он не был исследователем, и его деятельность в институте протекала или в прививочном, или в орметодотделе. Тем не менее, и в институте он считался прекрасным специалистом.

В общем, наш мирный быт понемногу налаживался. У родителей формировалась нормальная работа. Я здесь пишу много о себе, так как именно мое здоровье определило всю нашу жизнь весной первого ленинградского года. Когда погружаешься в воспоминания, то болезни очень часто выходят на первый план, как некие веши, помогающие ориентироваться во времени. Хочу сразу же сказать, что по настоящему серьезно я практически не болел, был достаточно крепким и здоровым. Но весной 1945 года впервые заболевание было серьезным.

Настоящей школьной компании у нас с Сашей в то время не было. В то же время наша сверстница Иза Бронштейн оказалась в одном классе вместе с двумя или тремя девочками, с которыми мы учились до войны. Возникло некое знакомство. Мы иногда встречались, но чаще перезванивались. На конец весенних каникул 1945 года было решено позвать девочек к нам домой. У Аншелесов был патефон, и вот мы с Сашей проехали даже в Институт им. Пастера за ним.

Перед началом каникул в нашей школе был субботник по уборке двора ото льда. Работать было жарко, мы разделись. Убирали мы смерзшийся лед со всякой имевшейся в нем грязью. В результате в один из последних дней весенних каникул я заболел. Поначалу полагали, что это обычная ангина с высокой температурой. Однако дело оказалось

намного серьезней: болезнь была связана с поражением крови. Официальным диагнозом впоследствии стала моноцитарная ангина. Так ли это было, или просто надо было как-то назвать болезнь, я, право, не знаю. Согласно официальной медицине, от этого заболевания не выживают, по крайней мере, не выживали в те времена. Когда я выкарабкался, главный терапевт города профессор Тушинский, лечивший меня в наиболее критические дни, сделал доклад на заседании городского Терапевтического общества. Нас с мамой пригласили на это заседание, и меня даже продемонстрировали собравшимся, как некий уникальный экземпляр человеческой породы, сумевший выбраться из смертельной ситуации. Но это было позже. В начале апреля ситуация стала критической. Родители делали все, что могли, но их усилия были напрасны.

Не могу обойти молчанием ту помощь, которую оказывали родителям их друзья. Мне надо было что-то хорошее из питания. Купить это можно было, только имея так называемую лимитную книжку. Это было нечто вроде продуктовой карточки, но на талончиках вместо надписей «Мясо. 200 гр.» или что-нибудь иное, были напечатаны суммы денег, например 100 руб., 10 руб. и т. д. С этой книжкой можно было пойти в ДЛТ и купить то, что вам нужно. При покупке вырезались и талончики в книжке на соответствующую сумму. Сумма на книжке определяла допустимый месячный лимит закупок, отсюда и наименование «Лимитная книжка». Были книжки на 2000 руб. в месяц и даже на 3000. Такая книжка была у Аркадия Израилевича Бронштейна, поскольку он служил в армии. Помню, как я лежал в постели, а он пришел и, сняв папаху, стоял в шинели и ждал. Родители суежились вокруг меня и его не замечали. Мама потом много раз вспоминала, как неловко она себя почувствовала, когда наконец его заметила.

Надежда Владимировна Ромодановская, жена Леонида Рувимовича и мать Саши, кормила меня с ложечки — я сам уже ничего не ел. Леонид Рувимович в самые тяжелые дни брал меня на руки и перекладывал на постель к нянечке, когда надо было перестелить мою постель. Рассказывают, что в один такой момент я уже начал бредить и он, успокаивая меня, сказал: «Смотри, ведь это папа». На это я якобы ответил: «Какой это папа! Это Попов». В те дни много говорили об изобретателе радио Попове.

Как бы то ни было, дело неожиданно пошло на поправку. Может быть, тут сыграл свою роль и пенициллин. В конце марта 1945 года в Ленинград приезжала жена Рузвельта (а может быть, и Черчилля). Она привезла первую партию пенициллина в подарок стране. Отец и мать были об этом наслышаны, но достать лекарство в Ленинграде было невозможно. Позвонили в Москву дяде Ионе. Он кинулся к Ермольевой — известной женщине-профессору. Она сказала, что то лекар-

ство, которое у нее имеется, не очень хорошего качества, и рекомендовала обратиться в посольство США. Дядя кинулся туда и сумел заполучить порцию. В тот же вечер он отправил лекарство в Ленинград с проводником поезда «Красная стрела». Вот такой был у меня дядя. Он, как обычно, сумел сделать то, что другим было бы не под силу, и всегда молчал об этом. Молчали и другие. Ведь это было так естественно, что в трудные минуты дядя делает невозможное. Лично я узнал обо всех этих деталях от брата через много лет после смерти и дяди, и отца, и мамы.

Итак, пенициллин достали, и мне его вкололи. Тогда с растворителями было еще не очень просто, и объем вводимой жидкости был велик. Естественно, что колот меня сам отец. Не знаю, пенициллин ли помог, или то был счастливый случай, но к концу апреля я был уже вполне здоров и даже пошел в школу.

Родители, конечно, были измотаны этой историей. Они хотели освободить меня от экзаменов, но это был 7-й класс. Мне надо было сдавать экзамены на аттестат о неполном среднем образовании, и меня от экзаменов не освободили. Кстати, сдал я все спокойно. Была, кажется, одна четверка и только. Сравнительно недавно, в 1999 году, кончал среднюю школу наш внук. Мы были на выпускном вечере и с удивлением узнали, что на два класса, не более 45 учеников, были по состоянию здоровья освобождены от экзаменов на аттестат зрелости 15 человек. Это делалось с обоюдного согласия и педагогов, и родителей. Тогда же, в конце войны, все было и строже, и серьезней.

Наступали майские дни 1945 года. В том году была чудесная теплая весна. Настроение у всех было радостное. 2 мая у нас были гости — обычный состав: Аншелесы, Бронштейны, Перельманы, может быть, кто-нибудь еще. В дни карточной системы гостей приглашать было непросто. Тем не менее, после моего выздоровления надо было и пригласить всех, и отметить и внешние, и семейные события. Помню, как мы все сидели за большим столом, и Илья Маркович сокрушался, что нет к празднику подарка. Ну, а подарок был один: взятие Берлина. Наконец, буквально через полчаса после высказываний Ильи Марковича долгожданный приказ передали. Радость была неопишуемая.

Неделя перед Днем Победы прошла в ожидании и нетерпении. Чуть раньше была встреча на Эльбе и многое другое. В войну у всех отобрали радиоприемники. Сын нашего школьного директора в Пензе, Григорий Иванович Склизкова, получил 10 лет по 58 статье за то, что, будучи радиолюбителем, собрал радиоприемник. Ну, а в весенние дни 45 года приемники начали возвращать их хозяевам. Не знаю, у кого из знакомых были приемники, но новости распространялись быстро.

Известно, что капитуляция Германии в Берлине была подписана 8 мая. Так День Победы отмечает вся Европа. У нас же в момент под-

писания было полпервого ночи 9-го числа. Предварительное перемирие в Реймсе было подписано еще 7 мая. По радио все европейские станции передавали звон колоколов. Все уже обо всем знали, но у нас, как обычно, ничего не сообщали. В школе 8 мая реальных занятий не было. Учителей почти не было видно. В классе жгли учебники, ломали парты, в общем, делали то, что всегда делают мальчишки в таких ситуациях. Мама дежурила в ночь с 8 на 9. Мы с отцом долго ждали сообщения. В дни маминых дежурств я всегда спал вместе с отцом. Вот и сейчас легли спать и все время ждали. Сообщение передали около двух часов ночи.

9 мая сразу же объявили нерабочим днем. Утром улицы были полны народа. Ничего не работало. Газеты не вышли. Вместо «Ленинградской правды» всем желающим давали в руки листовки с сообщением. Газеты вышли только на следующий день. Той зимой я начал собирать вырезки из газет. Сохранились у меня и газеты за 10 мая 1945 года, газеты, посвященные послевоенному вручению Ленинграду ордена, газета с докладом Сулова: «Югославская компартия во власти шпионов и убийц», а также многое другое. Сейчас это представляет великую ценность. Все газеты за 10 мая были практически одинаковы — на первой странице портрет Сталина в форме генералиссимуса, сообщение о победе и о взятии Праги. Последнее сообщение тогда не все поняли. Война кончилась, а мы еще воюем. Были портреты глав основных союзных государств. На третьей странице портреты всех советских маршалов и командующих союзными войсками: Александра, Эйзенхаура, Монтгомери, портреты Спаакса и Делатра де Тассиньи.

Вечером 9-го мая мы пошли в гости к Бронштейнам. Кто был из взрослых, не помню. Нам с Сашей впервые в жизни дали выпить коньяк, и это произвело на нас огромное впечатление. Мы, молодежь, помчались на салют. В войну была строгая градация салютов. Город поменьше — 12 залпов из ста с чем-то орудий. Большой город — 20 залпов из 220 орудий. Ну, а в День Победы было 30 залпов из тысячи орудий. Мы несколько опоздали, и салют начался, когда мы еще бежали по Вознесенскому проспекту. Но салют был длинный, и мы успели добежать до Дворцовой площади, прежде чем он закончился. В нынешнем 2005 году отмечали 60-летие Победы. И вот одна из дикторов петербургского радио (не буду называть ее фамилии) вдруг сказала, что салют в честь взятия Берлина в 1945 году был только в Ленинграде, а 9 мая салюта в нашем городе не было. Так теперь безответственно готовятся к выступлениям. А ведь людей, помнящих все эти события, в живых еще немало.

Последующие дни и школьные экзамены мне не запомнились. Было хорошо и весело. Отменили затемнение, комендантский час. До этого только на Пасху 1945 года в первый раз разрешили ходить

всю ночь без специальных пропусков. Начало лета у нас с Сашей прошло в гуляньях по городу и частых поездках на работу к родителям. К отцу было интереснее ездить, чем к маме. У мамы в палаты к детям не пускали, и дальше ординаторской пройти было нельзя. У отца же можно было бродить по лаборатории, помогать анализировать пробы, зайти в животники. Я уже говорил, что особо большой и интересный животник был во дворе. Как и до войны, это было множество клеток, стоявших в несколько этажей. Основными жителями в них были кролики и морские свинки. Со временем во дворе появились даже бараны, у которых брали кровь для различных реакций. Я научился проходить на территорию института без пропуска и без телефонного звонка. Неплохо было заходить и в Горздрав. Я там много знал. Приходил в Горздрав я довольно поздно и часто возвращался потом домой вместе с отцом. Иногда вечером я встречал его у троллейбуса. Троллейбусных машин в городе было мало, и выглядели они по-разному. Я отличал их по внешнему виду и заранее с уверенностью называл бортовые номера, чем очень удивлял взрослых.

Мое увлечение городским транспортом началось именно в эти годы. Тогда достаточно серьезной технической проблемой было создание удобной троллейбусной стрелки. Та громоздкая конструкция, которая применялась до войны, оказалась непригодной. Поэтому в первые послевоенные годы троллейбусы при необходимости перейти на другое направление просто останавливались, и водитель, выйдя на улицу, вручную переставлял токосъемные штанги. Это было неудобно и требовало большого времени. Мы с Сашей Перельманом не раз обсуждали эту проблему. Наконец мне пришла в голову идея о том, что при сильном боковом давлении, которое может создать отошедший вбок и движущийся троллейбус, возможен переход штанг на новый путь.

Я проделал несколько экспериментов на детском конструкторе, а затем направил письмо с моим предложением — «на деревню дедушке». Как ни странно, но письмо дошло, и неожиданно я получил ответ от главного инженера Первого троллейбусного парка Уздина с приглашением зайти к нему для беседы. Я, конечно же, пошел с отцом. Нас хорошо приняли, показали много интересного, но предложение мое совсем не обсуждали. Отец был очень доволен, что меня вызвали по столь важному делу и я «профессионально говорил». Он часто рассказывал об этом своим друзьям и сослуживцам. Самое интересное, что троллейбусная стрелка на этом принципе была действительно создана через пару лет. Сейчас такие стрелки уже не применяются. Им свойственен ряд недостатков по сравнению с современными стрелками, имеющими электромагнитное управление.

Были у меня в школе и другие идеи, но я с отцом ими, по глупости, не делился. Конечно, если бы это была биология! Но интерес-

ные идеи в этой области у меня возникли уже после смерти отца. Ими я делился только с одним из моих друзей, который теперь навсегда уехал из России.

Тогда, летом 1945 года, родители решили, что нам с Сашей незачем болтаться в городе. Достали путевки в детский санаторий Выборгского района, отец сам возил меня в поликлинику на медосмотр. Санаторий располагался возле Финского залива в поселке Тюрисево, ныне это Ушково. Карельский перешеек тем летом был пуст. Раньше это была коренная финская территория, поэтому в 1944 году все население переехало в Финляндию. Зимой 1939/40 годов на всем Карельском перешейке также оставалось лишь 118 человек, остальные успели уйти.

В 1944 году рядом с нашим санаторием был такой же санаторий Петроградского района. Оба располагались в старых финских домах, все остальные дома стояли пустыми. Мы ходили и били в них стекла. В нашей старшей группе детей было мало, и на нас особого внимания не обращали. Конец лета был дождливым и холодным, мы ходили в свитерах. В окрестных лесах было полно оружия, как-никак война здесь за несколько лет прошла три раза. Найти винтовку с разбитым прикладом, пару-другую гранат или россыпь патронов не требовало никаких усилий. Мы искали вещи посерьезнее и находили их. Найденную взрывчатку мы размещали в банки из-под свиной тушенки и подрывали. В конце концов мы нашли настоящий клад.

Оба побережья Финского залива плоские, здесь проходит Приморское шоссе. Подъем начинается метров через 200 от берега. На одном таком подъеме вблизи Черной речки мы нашли несколько подбитых танков Т-34. Башни отлетели, внутри все выгорело. Мы долго пытались вытащить из одного танка башенный пулемет. Саша помнит и финское оружие, которое стояло наверху и подбило эти танки. В нем был просто вынут замок. Но самое ценное: вблизи подъема была целая куча ящиков со снаряженными для миномета минами. На них были надеты дополнительные заряды в виде колец с ленточным порохом. Мы снимали эти заряды, вынимали из мин взрыватели. Как мы уцелели — непонятно. В те годы во всех больницах города было полно детей, жертв подобных забав. Один из нянечкиных внуков погиб таким образом на Украине.

Наши запасы взрывчатки мы хранили в спальне, на этом и попались. Леонид Рувимович, который в это время заехал нас навестить, досрочно забрал Сашу и меня в город. Тем не менее, кое-что из взрывчатых материалов нам удалось прихватить с собой. Кончилось это тем, что я подорвал капсуль от мины у себя в комнате, страшно напугав родителей. Со мной был серьезный разговор, и больше я уже этим не занимался. Когда мы на следующий год приехали в тот же санаторий,

то там был полный порядок. Сам минный склад был подорван. Шепотом рассказывали, что в момент подрыва саперы не поставили охранение сверху. Там было минное поле. Ну, а мы-то в тех местах ходили. К месту взрыва забрело двое мальчишек, которые и погибли. Правда ли это, или это были специальные рассказы взрослых, проводившиеся в воспитательных целях, я не знаю.

Начиная с осени 1945 года моя учеба шла нормально и особых волнений ни она, ни мое здоровье у родителей не вызывали. Я занимался дополнительно с учительницей английского языка, которая очень много мне дала. С маминной помощью я определился на занятия легкой атлетикой при Институте им. Лесгафта. Эту группу вел родственник Надежды Сергеевны Лебедевой. К 10-му классу я понял, что все эти нагрузки сказываются на учебе, и бросил все дополнительные занятия. В результате у меня освободилось много времени, и я по маминной рекомендации стал посещать лекции, а также согласованные с ними экскурсии по истории западно-европейского искусства при Эрмитаже. У отца в это время назрела очередная длительная командировка: его собирались отправить в Югославию. Ему этого очень не хотелось, поэтому он использовал тактику, которую специально отработал в послевоенные годы.

Любая поездка или же продвижение по службе требовали предварительного заполнения анкет. Поскольку никто никогда не знал, чи анкетные данные полностью удовлетворят начальство, число кандидатов выбиралось с запасом. Зная это, отец всегда затягивал заполнение анкет и нарочно опаздывал. Так случилось и на этот раз, в Югославию он не поехал. Кстати, после разрыва отношений с Югославией все поехавшие туда были репрессированы. Был и более анекдотический вариант использования этой тактики. Отцу в очередной раз дали анкеты, и он опять с ними затянул. Впоследствии выяснилось, что это были анкеты, предшествовавшие выдвигению отца в депутаты городского или районного совета. Не думаю, что отец жалел об этом. Все же ему пришлось поучаствовать в работе участковой избирательной комиссии в качестве заместителя председателя. Это были выборы в Верховный Совет РСФСР, а участок располагался на Сытном рынке.

Тактика разного рода уклонений была отработана в те годы многими. Так, Аркадий Израилевич Бронштейн, который был немного глуховат, рассказывал родителям, что, когда ему предлагали вступить в партию, он специально начинал хуже слышать, переспрашивал, не понимал, и от него отвязывались. Отец в подобных случаях говорил, что пусть сначала научатся соблюдать устав. Но он, вообще, позволял себе достаточно много по сравнению с другими.

Итак, отец остался в Ленинграде и продолжал работать. В это время вернулся назад и институт — основное место работы матери. Мать

вернулась в свой институт и сразу же стала работать над кандидатской диссертацией. Диссертация была посвящена содержанию витамина С в крови при различных нейроинфекциях. Мать в это время много рассказывала мне о содержании этого витамина в разных ягодах и овощах. В это же время, не без ее совета, я прочитал все основные книги Поля де Крюи. Леонид Рувимович, когда мы с ним обсуждали эти книги, рассказывал, как их автора выставили из Рокфеллеровского института за участие в написании «Эроусмита».

Защита маминой диссертации по моим воспоминаниям пала на весну 1947 года. Перед этим Саша и я несколько недель помогали оформлять работу: вписывали иностранные ссылки в список литературы, делали какие-то правки. С нами наравне работала и Мария Александровна Паперно, впоследствии Дадиомова. Она была в то время или аспиранткой, или интерном, но мама, хотя и не имела прав на это, фактически принимала активное участие в руководстве ее исследованиями. Мария Александровна как раз перед этим демобилизовалась. До войны она жила в Киеве, посещала одну языковую группу с писателем Виктором Некрасовым. Впоследствии Мария Александровна очень выросла в научном плане. Она навсегда сохранила самое хорошее отношение к маме.

Я уже писал, что нашел в Интернете несколько упоминаний о деятельности отца. Они находятся на сайте Института им. Пастера. Просто так, по фамилии, эти ссылки найти невозможно. Это так называемый «Deep Web» (я уже упоминал это название). Для того чтобы найти в нем что-либо, надо быть очень квалифицированным пользователем, если на материал не наткнуться, как было в моем случае, случайно. Материалы про отца и мать в общедоступной части Всемирной паутины — «Surface Web» — за давностью лет отсутствуют. Поэтому про маму я никогда ничего в Интернете и не пытался искать, не нужно было. И вот недавно по просьбе двоюродного брата я производил поиск ссылок на его однофамильца с фамилией Пратуевич. Каково же было мое удивление, когда при этом на одном из украинских сайтов я наткнулся на прямую ссылку на одну из маминих брошюр. Она была написана вместе с Марией Александровной Дадиомовой. Так что мои оценки научной квалификации Марии Александровны действительно справедливы. В конце жизни Мария Александровна эмигрировала в Израиль, где и умерла. Ее сын Шурик — высококвалифицированный программист, работает в фирме «Майкрософт» и живет в Сиэтле (США). Мы с ним иногда обмениваемся электронными посланиями.

Наша работа над оформлением диссертации шла очень весело и дружно. Папа репетировал с мамой ее доклад. Защита проходила в Институте физиологии на Тучковой набережной. Почему-то мама

очень боялась первого оппонента по фамилии Барбос. Защита прошла успешно. Очень приветливым по отношению к маме был председатель совета академик Леон Абгарович Орбели. Почти в это же время защищала кандидатскую диссертацию и Елена Гурьевна Бронштейн. Она защищалась в Педиатрическом институте, где членом совета был Леонид Рувимович. Кто защищался раньше — мама или Елена Гурьевна, я вспомнить уже не могу. Я был на обеих защитах. Это были мои первые посещения такого рода заседаний. После маминой защиты у нас собрались гости. Мы готовили стол — на каждое блюдо или бутылку приготавливалась специальная стихотворная надпись. Когда основные гости разошлись, оставшиеся вышли на Исаакиевскую площадь. Была белая ночь, и все гуляло вокруг памятника. Анна Григорьевна, по своей привычке, сняла туфли и гуляла на ступенях памятника в чулках.

После маминой защиты надо было всерьез подумать о летнем отдыхе. Нас с Сашей решили больше не отправлять в санаторий на Карельском перешейке. Некоторое время я с нянечкой и младший сын Анны Григорьевны с их домработницей Грушей жили на станции Сусанино в доме у родителей одного из маминых пациентов. Глава этой семьи был лесником, и как-то уже в студенческие годы мы с Сашей зимой останавливались у него и катались несколько дней на лыжах.

Тем летом у нас дома несколько раз обсуждали, куда поехать на август. Почему-то более всего речь шла об Анапе. Следует сказать, что в тот год поездки на отдых были связаны с некоторыми трудностями, еще действовала карточная система. Надо было получить специальные транзитные карточки и поехать туда, где по ним можно было получить реальные продукты. Ну, а такой гарантии, естественно, никто дать не мог. Решение пришло неожиданное и очень удачное. Среди многочисленных учеников Леонида Рувимовича, которые его очень любили, был профессор Буртниец. Он был латышом, и, возможно, правильно его латышская фамилия звучит Буртниекс. До войны он жил в СССР, после войны уехал в Ригу и занимал там высокий административный пост. Если я не ошибаюсь, он даже некоторое время был министром здравоохранения Латвии. Семья Буртниеков снимала дачу на рижском взморье. Они организовали там дачу и Перельманам, ну а те, в свою очередь, сняли дачу и нам. Таким образом, в конце июля 1947 года мы вчетвером отправились в Ригу.

Мы ехали в обычном плацкартном вагоне. Было достаточно душно. Рядом с нами ехала бедная крестьянская семья. Отец, который всегда жалел крестьян, дал им денег и еды. Когда же мы подъезжали к Риге, отцу вдруг стало плохо. Все свалили на желудок. Только потом, когда отец уже умирал и на кардиограмме нашли следы предыдущих инфарктов, мама пришла к выводу, что его первый инфаркт

произошел тогда в поезде. Мы приехали в Ригу. Я тащил основные вещи, встретил же нас только Саша. Так что поездка на дачу была связана с разными эмоциями. Через день отец оправился, и мы провели очень хорошее лето, не понимая, конечно, какой сигнал нам дало состояние отца.

Жили мы в Лиелупе на улице Олеви, 21. В 1977 или 1978 году, отдыхая в санатории в Кемери, я прошелся по всем местам, где мы отдыхали в былые годы. Этот дом тогда еще сохранился, хотя и обветшал. Улица Олеви в 1947 году была застроена только с одной стороны, с другой был сосновый перелесок. Мы там выбрали ровное местечко, натянули сетку и играли в волейбол. Садик возле нашего дома был сплошь закрыт с улицы кустами. Мы даже не замечали, что дом угловой и его боковой фасад выходит на маленькую улочку, так же как и наша, ведущую к станции. Дом наш имел и отдельный номер по этой улочке. Однажды, гуляя возле станции, я забрел на эту улочку и нашел наш дом. Я пришел к отцу и,

сделав удивленный вид, рассказал ему, что по такому-то адресу живет юноша, похожий на меня. Не успели все оглянуться, как отец снялся с места и пошел посмотреть на этого юношу. Я, конечно, сел во дворе на скамейку и стал ждать. Результат этой истории — много шуток и смеха.

В том году на даче я начал регулярно бриться, а отец стал учить меня играть в преферанс. В этой игре, однако, серьезных успехов я никогда достигнуть не смог. Был в тот год и забавный случай. Семья Перельман пригласила как-то раз к ним в гости Буртниексов и моих родителей, а может быть, и всех нас, точно уже не помню. Буртниексы были раньше, их начали угощать. С продуктами тогда было непросто. Перельманы выставили на стол банку с баклажанной икрой, в Латвии таких деликатесов тогда еще совсем не знали. Оказалось, что во время пути из Ленинграда консервы испортились. Буртниексы же, не зная что это за еда, ели, давась, и похваливали угощение. Пришли родители, отец взял порцию и сразу же сказал, что консервы «бомбажные». Слава богу, все обошлось без отравлений.

Рига в тот год полюбилась нам сразу и навсегда. Вместе с отцом мы отдыхали там в 1949 и 1950 годах. Затем, после его смерти, под Ригой в 1955 году. Впоследствии мы несколько раз приезжали в Ригу с Галей, была пара лет в санаториях, потом в 80-е годы мы ездили туда на машине. Я, наверно, отдыхал там не менее 10 раз, город и особенно взморье знаю очень хорошо. На реке я научился грести, затем научил сына. Для меня — это город моей юности.

Рига 1947 года очень отличалась от той, которую узнали в последующие годы наши соотечественники. До революции государственным языком в российской Прибалтике был немецкий. Все представ-

ители старшего поколения говорили и на русском, и на немецком языках. Молодежь же того времени русским владела плохо, но знала немецкий. Коренное население было растеряно после многократных перемен власти, начавшихся с 40-го года. Студент нашего факультета, учившийся на год младше меня и приехавший из Вильнюса, долгое время говорил: «Это было до первого прихода советской власти», а это «после второго прихода советской власти».

В Риге 1947 года было очень просто спросить о чем-нибудь у прохожего по-немецки. Ответ, однако, можно было получить самый неожиданный. Так, один раз мама спросила о расположении магазина и в ответ услышала: «*An der Ecke Adolf Hitler Straße und Rot Armee Straße*», то есть на углу Красноармейской улицы и улицы Адольфа Гитлера. Отвечавший даже не задумался о нелепости подобного сочетания. В городе было полно извозчиков, в рестораны и кафе женщин без сопровождающих мужчин не пускали. В магазинчиках, а их было много, покупателей еще, а также и на рынке благодарили за покупки. По городу ходили старые трамвайчики с открытой задней площадкой и длинным ручным тормозом. Была оригинальная и понятная схема движения городского транспорта. В городе было два рядом расположенных вокзала: верхний и нижний. Родителям, особенно отцу, понравились латышские кладбища. Я говорю не о знаменитых кладбище латышских стрелков и кладбище Райниса, а об обычных. Нравились их ухоженность, аккуратность, то, что вокруг могил нет острой необходимости ставить решетки, так как могилы не обворовывают. Отец не раз повторял, как хорошо быть похороненным на таком кладбище.

В последующие годы многое в Риге изменилось. Как-то раз в 80-е годы я спросил экскурсовода, куда исчез знаменитый кинотеатр «Сплендид-палас». Экскурсовод очень растрогалась тем, что я помню, какой была послевоенная Рига, и мы долго с ней говорили и вспоминали старое. Кстати, «Сплендид-Палас» после его перестройки стал называться кинотеатром «Рига». Как он сейчас называется, я не знаю. Улицы в 1947 году еще не были переименованы. Главная так и называлась Бривибас иела, то есть улица Свободы. До революции это была Александерштрассе, а в более поздние советские годы ее переименовали в улицу Ленина. Побывала она и улицей Революционас и улицей Гитлера. В общем, после 1918 года эту улицу переименовывали семь раз.

На продолжении этой улицы в конце бульвара Бривибас стоит знаменитый памятник свободы. У него достаточно прозрачная символика: женская фигура свободы держит в поднятых руках три звезды — символы трех латвийских провинций. Женщина обращена лицом на запад. Внизу памятника с западной стороны радующиеся фигуры, а с восточной стороны фигуры в цепях. В застойные годы власти ре-

шили поставить на этом же бульваре памятник Ленину, естественно, лицом на восток, куда он и протянул руку. Не сообразили только, что при этом Ленин повернулся спиной к свободе. Это вызывало шуточки, передававшиеся шепотком.

В Риге тех лет было много интересного. В частности, продавалась куча товаров местного производства, которые все еще были в диковинку в основной части страны. Нас, однако, больше всего волновали книжные магазины. В конце 40-х-начале 50-х годов в Риге на русском языке издавалось много хороших переводных книг. Качество полиграфии было неважным, но зато книги были доступными. В те годы мы приобрели там несколько романов Драйзера, Джека Лондона, Марка Твена. Самыми же интересными в книготорговле были букинистические отделы. Однажды летом в магазине на Бривибвас мама обратила внимание на первую часть знаменитой трилогии Алексея Толстого «Сестры». Книга была издана в 1921 году, скорее всего, в Берлине. Казалось бы, ничего особенного. Но каково было предисловие! Оно начиналось приблизительно так: «Сейчас, когда под игом большевизма льется кровь русского народа.....» Я думаю, что продавцы или не читали того, что было выставлено на прилавках, или же просто не понимали того, что они на самом деле продают.

Уезжать домой из Риги было сложно. В 1947 году мы с трудом достали билеты только в день отъезда. Мама и я остались ждать на вокзале, а папа с нянечкой, схватив у вокзала военную машину, помчались за вещами. Они приехали только за 10-15 минут до отхода поезда, когда мы уже начали волноваться. В другой раз три вагона поезда были отобраны для перевозки пионеров, возвращавшихся из лагерей. Всех пассажиров этих вагонов распахивали по багажным полкам. В 1947 году в Ленинграде на Варшавском вокзале, когда мы уезжали в Ригу, у отца вдруг стали проверять чемоданы: искали спекулянтов. В общем, поездки были напряженными, но всегда веселыми.

В 1949 году сняли большую дачу в Дублти, около церкви на улице Базницас, 5. Жили там мы и семья Анны Григорьевны. Старший ее сын Август с семьей снял дачу недалеко от нас. Еще одну дачу снял приятель сына Анны Григорьевны Августа. Приятеля звали Лева, он был хорошим шахматистом. Недалеко сняла дачу и семья родственников Анны Григорьевны. Когда все садились за стол на веранде, то было шумно и весело. Анна Григорьевна по этому поводу говорила, что «за настоящим столом, когда много народа, масленка всегда должна быть в чьих-то руках, а не стоять на столе».

Я приехал на дачу после месяца работы на стройке сельских электростанций. Меня шумно встречали. Перельманы в тот год снимали дачу на старом месте в Лиелупе. Саша остался на стройке на второй срок, и его на даче не было. Взрослые же часто бывали у нас в гостях.

Недалеко в Майори, в санатории отдыхала и моя студенческая приятельница Флора. Тот год мне надолго запомнился. В следующем году мы с мамой сняли комнату недалеко от этого места на Дублти проспект, 1. Здесь мы затем сняли комнату маминой сослуживице. Мы с отцом по утрам ходили мыться на реку. В этом месте расстояние от реки до моря совсем маленькое. Рядом была библиотека. Помню, что отец с удовольствием читал взятую там «Исповедь» Руссо. Я читал «Белые ночи» Достоевского.

В тот год провели электричку из Риги на взморье, она ходила тогда только до Дублти. Река между Майори и Дублти имеет изгиб, который повторяет и железная дорога. С платформы вокзала вечером хорошо видно, как прожектор электрички освещает путь на этом изгибе. Отец часто ходил со мной любоваться этим зрелищем. В ожидании его мы сидели на скамейке, стоявшей на перроне. Здание вокзала тогда еще не было перестроено, это был старинный деревянный вокзал, построенный по типовому проекту еще во времена независимой Латвии.

В конце 40-х-начале 50-х годов папина лаборатория в обновленном составе начала делать большие успехи. Как я уже говорил, на нее сразу же «положил глаз» академик Смородинцев. Отголоски разговоров о его натиске я слышал не раз. Это отнимало у отца много сил, и стоило ему немало нервов. Отца признали и в Москве, поговаривали, что ему надо избираться в АМН. Однако он был всего-навсего кандидатом наук. На совете института ему в весьма дружелюбной форме задали вопрос: «Какие объективные факторы мешают Вам защитить докторскую диссертацию?» Отец спокойно ответил: «Никакие». Он изголодался по работе и просто не хотел тратить время на защиту. Может быть, он понимал, что здоровья ему хватит ненадолго. Надо отдать должное руководству института: его после этого не очень беспокоили. Мне же отец часто повторял: «Надо вовремя сделать все формальности и потом спокойно работать». Он был прав, но даже преодоление формальностей, как показал мой жизненный опыт, далеко не всегда помогает творческой свободе.

Говорят, что в последние годы отец написал несколько очень хороших обзоров по проблеме гриппа, сформулировал ряд интересных положений. После смерти отца его уцелевшая лаборатория продолжала успешно работать. Его преемница Элла Абрамовна Фридман успешно защитила докторскую диссертацию в Военно-медицинской академии. Естественно, мы с мамой были на ее защите. Затем пришел большой успех. Не помню уж, на каком съезде партии в отчетном докладе Брежнева говорилось о достижениях лаборатории. Как выразился Брежнев, была «сделана бомба от гриппа». Мы все были счастливы. После такого выступления на съезде встал вопрос о Ленинской пре-

мии. Судьба, однако, распорядилась иначе. Сын Эллы Абамовны, Сашка, как раз развелся в это время с женой. Развод был очень негладким, мать жены, озлившись, написала жалобу в Обком партии. Что там было написано, я точно не помню. Знаю только, что ничего не подтвердилось, но во избежание дальнейших писем и в качестве принятого мер представление на премию аннулировали. Элла Абрамовна сейчас живет в США в Калифорнии. Она уже очень преклонного возраста. Сашка в очередной — четвертый — раз развелся. Работает там водопроводчиком. Скажу только, что и сейчас, когда говорят о прививках от гриппа и пишут в газетах о вкладе Смородинцева, в конце всегда добавляют, что прививочный материал готовят в Институте им. Пастера. Это последние следы отцовских разработок, хотя прошло уже более 50 лет со дня его смерти. Это вызывает чувство удовлетворения.

В маминной работе тоже наметились некоторые положительные изменения. В эти годы начались относительно массовые заболевания полиомиелитом, и борьбе с ним приходилось уделять все больше и больше сил и внимания. Мама незаметно стала одним из ведущих специалистов по этой проблеме. Так во всяком случае было в городе. Клиника, которой мама начала заведовать в эти годы, была одной из ведущих по проблеме и лечению полиомиелита и его последствий. Одной из первых публикаций, опубликованных в СССР по проблеме полиомиелита, была статья, которую совместно готовили мои родители. Мама писала о клинике, а папа об эпидемиологии. Возможно, что именно в силу сочетания этих двух подходов статья, по моему мнению, получилась удачной. Как принято говорить сейчас, она имела высокий уровень цитирования. Естественно, это было цитирование в русскоязычной литературе.

Немного более подробно остановлюсь на этой статье. Формально научным руководителем клиники, где работала мама, была профессор Нина Александровна Крышова. Ознакомившись с работой, она немедленно потребовала поставить себя в соавторы и, естественно, по алфавиту, то есть на первом месте. Так и получилось, что это была статья «Крышова и другие». Меня по молодости лет это возмутило, мать меня успокаивала и что-то объясняла. В действительности, это настолько типичное явление, что сейчас, с годами, я бы об этом и не упоминал, если бы не одно обстоятельство. Оно не связано с тем, что Нина Александровна впоследствии не раз присовокупляла свое имя к маминым работам, к которым, похоже, отношения не имела. Объясню подробнее. Нина Александровна происходила из очень культурной старинной семьи. По здравом размышлении, в ее внешнем облике было что-то схожее с пожилой Ахматовой. Те же следы былой красоты, некоторая внешняя запущенность, неприспособленность к быту. Она трижды была замужем. О первом ее браке я ничего никогда не слы-

шал. От второго брака с французом Изнармом у нее был сын Федор, живший в Москве и благополучно дослужившийся до генерала. Я его несколько раз видел. Красавец мужчина с очень красивой женой. Они всегда играли в теннис, что по тем временам было редкостью. От третьего брака с известным психиатром профессором Бруханским у Нины Александровны был сын Саша. Он был на два-три месяца старше меня. Я с ним был знаком и не раз встречался в школьные годы. Это был типичный профессорский сын, избалованный, не очень хорошо учившийся и водивший компанию с различного рода золотой молодежью. Он поступил в университет на один из гуманитарных факультетов. В университете он познакомился с неким Михеевым. Тот был изрядно старше Саши и учился на юридическом факультете. Где-то во время студенческой практики Михеев похитил бланки ордеров на обыск и соответствующих протоколов. Вместе с приятелями он оформил документы на обыск в доме одного торгового работника. Во время обыска была совершена кража. Расчет был на то, что пострадавший, не очень чистый перед властями, побоится пожаловаться. Роль Бруханского в этом деле была мала. Он остался на улице и в условленное время позвонил с телефона-автомата в обыскиваемую квартиру. Михеев снял трубку и сказал: «Все в порядке, товарищ полковник. Уже кончаем». Так бы, наверное, все и закончилось. Но Бруханский был очень напуган. Его внешний вид был настолько дик, что к нему на улице подошел случайный милиционер. Саша кинулся бежать, его сразу же задержали, и он немедленно во всем признался. Начались следствие, а потом и процесс. В то время вопросам детской преступности в руководящих семьях уделялось огромное внимание в печати. В театре им. Комиссаржевской даже шла, основанная на реальном событии, пьеса «Преступление на улице Марата». Мы всем классом ходили ее смотреть. Короче, дело было под контролем. Нина Александровна старалась, как могла, помочь сыну. Сначала она пыталась получить справку об его психической невменяемости, затем еще что-то. Причем она все время обращалась к знакомым, чтобы ей помогли реализовать ее планы. Ничего, естественно, не вышло. Тогда встал вопрос о хорошем адвокате, деньгах ему, а затем помощи в том, чтобы Сашу отправили в лагерь недалеко от Ленинграда. Не знаю деталей, но хорошо помню, что на этом этапе процесса, также как и впоследствии, мама много времени потратила на поиски адвоката, организацию посылок с продуктами в лагерь и прочие подобные дела. Все это было довольно естественно. Но вот в 1954 году заболел отец. За неделю до его смерти мать заметила у отца какие-то признаки типа пареза или чего-то подобного. Она сама достаточно хорошо разбиралась в этих делах, но ей хотелось нейтрального взгляда, дружеской поддержки. Было лето, город был пуст. Мама попросила меня съездить в Комарово, где на государ-

ственной даче, недалеко от такой же дачи Ахматовой, жила Нина Александровна. Надо сказать, что и мать и отца хорошо знали в медицинских кругах города, и в консультациях никто нам не отказывал. В воскресенье 1-го августа я поехал за Ниной Александровной с деньгами на такси и т. п. Она была страшно недовольна и всю дорогу ворчала: «Ну что меня беспокоят, неужели нельзя было найти кого-нибудь другого». Мама впоследствии старалась это позабыть, а я, помня об истории с сыном, никогда не мог ей этого простить.

Вероятно, есть некая сила привычки в подобных делах. Когда мой брат Юра, после защиты докторской, выпускал своего первого кандидата наук, его шеф — Георгий Нестерович Сперанский, потребовал поставить себя руководителем. О Сперанском можно говорить только хорошее. В то время ему было уже 93 года, он был Героем Соцтруда, заслуженным деятелем, академиком АМН и членом-корреспондентом АН СССР. Я все время удивлялся, зачем ему понадобилось еще одно, к тому же фиктивное, руководство. Ничем, кроме привычки, я этого объяснить не могу. Я не случайно заговорил здесь о своем двоюродном брате. В конце сороковых годов он вновь появился в Ленинграде и вызвал большую суету, косвенно задевшую и маму. Юра получил хороший диплом, да и вообще он был очень способным, знающим, возможно даже талантливым человеком. Он всегда был поглощен своими проблемами и в результате его общение с окружающими выглядело очень и очень странным. Это поведение раздражало начальство Академии. Как следствие, после окончания Академии его послали служить подальше — на Дальний Восток, в Советскую Гавань. Он служил в морской авиации, но все время рвался в Ленинград для дальнейшей учебы. После нескольких попыток ему это удалось, и он довольно быстро защитил кандидатскую диссертацию под руководством ученика И.П. Павлова академика Красногорского. Это были годы дискуссий и постановлений. Боролись с генетикой, с «искажениями павловского учения», обсуждали теорию Лепешинской о переходе живого в неживое и труды Бошняка о превращении вирусов в кристаллы и обратно. Все это вызывало острое неприятие серьезных людей, но спорить с проводившимися сверху мероприятиями было трудно и опасно. Были приняты фигуры умолчания и прочие методы пассивного сопротивления. Юра хорошо знал общественные науки не только в объеме ВУЗа, но и более глубоко. По юношеской наивности он считал себя крупным знатоком марксистской диалектики и полагал, что поскольку ведущие ученые-биологи ее плохо знают, он должен активно включиться в проходившие дискуссии. Что он говорил, и верны ли были его идеи, я не берусь судить. Знаю только, что в Ленинград с Дальнего Востока его вернули после письма в ЦК с какими-то философскими идеями, предла-

гаемыми для биологии. Я точно знаю только то, что его деятельность вызывала массовое раздражение и отторжение. Далеко не всегда это было справедливо, но что поделаешь, так было. К этому отторжению добавлялось полное неумение Юры дипломатично вести себя и признавать последствия своих поступков. Чашу терпения переполнило его выступление на заседании в институте физиологии, где был, что называется, «Весь город». Как и во всякой большой научной школе у академика Павлова были ученики первого ряда, второго и даже третьего. Первый ряд — это такие ученые, как академик Орбели. Как и всегда, ученики более далекие от центра исследований, были более правозверными, чем их учитель и берегли каждое слово учения. Среди таких учеников была и профессор Петрова, в то время уже очень немолодая женщина. Всем было хорошо известно, что она была когда-то влюблена в Павлова. Считалось, что поэтому она осталась старой девой. На самом деле в молодости она была замужем за известным религиозным деятелем, чью фамилию и носила. Однако, об этом все давно забыли. В ее всем известном завещании по поводу Павлова было написано: «В ногах его меня похороните». Это, кстати, и было выполнено после ее смерти. На упомянутом заседании Юра вышел на трибуну сразу же после Петровой и сказал: «В своем выступлении предыдущая девушка...». Это было сочно намеком на семейное положение Петровой и расценено, как страшное хулиганство. Лично я, зная Юру, убежден, что, увлеченный своим выступлением, он даже не понимал того, что он говорит. Могу привести и другой пример. Когда у нас с Галей в 1958 году родилась дочь, неожиданно их Москвы приехал Юра. Он увидел жену и сказал: «Где вы достали такую кормилицу?». Какие кормилицы могли быть в это время! Ничего плохого в этом не было. Но могло и обидеть. Во всяком случае, у Гали в памяти это отложилось на всю жизнь.

Итак, тучи, и довольно серьезные, стали сгущаться над головой моего брата. Не знаю, как Юра это сделал, но в документах он числился русским. Он тогда в связи с этим объяснял всем нам, какой он умный. В последнее же наше свидание, происходившее в конце 90-х годов, он с жаром рассказывал, что он происходит из очень знатной еврейской семьи. Это та его откровенная житейская беспринципность, которая всегда всегда раздражала отца. Ни для кого в медицинских кругах города не было секретом, что Юра племянник мамы и что мама отнюдь не русская. Юра же был членом партии. В начале 50-х все это могло плохо кончиться не только для него, но и для нас. В свой последний и очень суматошный приезд в наш город, когда он со своей последней женой сумел наломать немало дров, Юра вдруг разоткровенничался и сам рассказал (я об этом догадывался и ранее), что Леонид Рувимович Перельман имел с ним в те дни долгий и серьез-

ный разговор. Юра уважал Леонида Рувимовича и часто бывал у них в доме. Во время упомянутого разговора Леонид Рувимович просто велел Юре во избежание неприятностей немедленно и навсегда уехать из Ленинграда. У Юры хватило ума последовать этому совету. Он быстренько уволился и навсегда уехал в Москву. В нашем городе после этого он бывал очень редко, и все о нем быстро забыли. А могло это кончиться и по-другому. Отец, конечно, ко всей деятельности Юры относился с осуждением. Тем не менее, уважая мать, он был достаточно сдержанным. В то же время он не раз говорил по поводу Юриной критики Орбели и других ученых, «плохо знавших философию»: «Надо сначала самому что-то сделать, а потом учить других». Сейчас Юры уже нет в живых, все его приключения подзабылись и в памяти остались его научные успехи — он был доктором наук не последнего ряда, его доброта и наивность. Таким он окончателем запомнился нам, его братьям. Надеюсь и другие, забудут и простят его житейские ошибки, оценят его тяжелое детство и помянут брата добрым словом.

Я в эти годы узнавал характер отца. С матерью мне было проще — всю жизнь мы прожили рядом, целых 48 лет. Она влияла на мое воспитание всегда. Отца же я по-настоящему узнал поздно и жил рядом с ним недолго. Многие в его характере мне стало ясно позднее из рассказов матери. В чем-то мне облегчает понимание схожесть наших характеров. Отец очень не любил отклонения от норм товарищеского поведения и дружбы. Когда он полагал, что товарищеская этика нарушалась, он сразу же мог вспыхнуть и пойти на решительные поступки. Недаром известный ученый академик АМН Зильбер, хорошо знавший и уважавший отца, называл его «неистовый и бесноватый Романенко». В то же время в таких ситуациях отец был отходчив, никогда потом не возвращался к проблеме, если она была разрешена. Тем не менее, если он всерьез признавал неправильной линию чьего-нибудь поведения, он относился к человеку с внутренним неуважением. Думаю, что здесь переубедить отца было очень трудно. В то же время он не был мстительным или злопамятным.

Относительно его горячности можно рассказать забавную историю. Как-то раз он пришел домой и вдруг узнал о некоем поступке своего друга Ильи Марковича Аншелеса. Поступок он посчитал беспринципным и немедленно помчался в Горздрав «стрелять Илью». Что при этом в горячности подразумевалось, сказать нельзя, так как оружия у нас никогда и в помине не было. Однако мать очень опасалась скандала, драки, ссоры на всю жизнь или чего-либо подобного. Дело, однако, закончилось иначе и, в общем, весьма комически. Когда отец в гневе ворвался в свой общий с Аншелесом служебный кабинет, то у Ильи Марковича был приступ ущемленной грыжи. При-

ехала скорая помощь, но не знаю в силу каких причин вынести Илью Марковича к машине они или не сумели, или не захотели. И вот отец один на руках нес достаточно тяжелого Илью Марковича по коридорам второго этажа Горздравицы вниз к машине. Тем дело и кончилось.

Был и другой случай, когда аспирант одного из профессоров тайком воспользовался материалами кого-то из сотрудников Института им. Пастера. Отец был очень возмущен, грозился пойти на защиту и выступить, но потом пожалел молодого человека, тем более что основная вина была за руководителем. Так он и отмолчался. Отец весьма иронично относился ко многим околонучным обычаям и нравам. Вместе с мамой они часто вспоминали защиту диссертации тогдашним министром здравоохранения Смирновым. Когда во время защиты или на предварительном докладе на коллегии Смирнову достаточно дружелюбно был задан вопрос по существу работы, он, не смутившись, ответил: «Что Вы меня спрашиваете. Это написал и не объяснил мне». И он назвал фамилию известного ученого, написавшего за него всю работу. Возможно, что под влиянием этого рассказа, я всегда в своей деятельности очень настороженно относился ко всяким «директорским защитам».

В политическом отношении отец был ярким противником сталинизма и никогда особенно не скрывал этого. Он мог донять собеседника, которому доверял, этой проблемой. Помню, как в один из приездов дяди Марка они мирно разговаривали, сидя за столом. Вдруг Марк, тоже человек горячий, вскочил и закричал: «Что же ты хочешь, чтобы я вышел на улицу и кричал «Долой Сталина!»» На меня это произвело очень сильное впечатление. В тридцатые годы отец написал ругательное письмо Сталину. Он часто говорил, что если бы не боязнь за маму и меня, он бы так тихо не отсиживался. В годы борьбы с космополитизмом отец встретил в Зеленогорске своего фронтового знакомого. Они сели попить пива, и знакомый отпустил резко антисемитское замечание. Отец тут же въехал ему по зубам. Обоих забрали в милицию, составили протокол и отпустили.

Отец часто давал лекции в Доме санпросвета на Итальянской улице. Пару раз доносили, что он без должного уважения отзывается о Лепешинской и иже с ней — обошлось без последствий. Был случай, когда один из начальников что-то потребовал от отца. Отец, отказываясь, сказал: «Вы что же хотите, чтобы я вступил в Союз русского народа?». Тут дело обошлось только потому, что при разбирательстве никто из начальства уже не мог толком вспомнить, что же это такое. Отец очень не любил солдафонство. В этом плане у него на языке было много всяких историй, чаще всего из жизни царской армии. В различных жизненных ситуациях он часто с усмешкой приводил соответствующие анекдотические примеры.

Память у отца была хорошая. Он всегда мог сказать сколько, например, стоил фунт хлеба в 1913 году, и можно было его не проверять. Художественную литературу в эти годы за недостатком времени он читал мало. Но то, что он читал, навсегда оставалось у него памяти. В молодости, однако, отец прочитал много всяких книг и иногда мог привести на память такие данные, особенно из древней истории, что просто диву можно было даваться. Он очень любил и внимательно читал книги общебиологического характера, много раз их перечитывал, подчеркивал карандашом понравившиеся ему места. Книги Лепешинской и Бошняна он также внимательно проработал, и из его маргиналий можно составить хороший сборник высказываний.

Отец весьма внимательно читал газеты, особенно в 1949 и последующие годы, после февральских событий в Чехословакии и событий в Румынии. Я хорошо помню, как он возмущался каким-то сообщением в газете о выступлении румына Петру Гроза. Сейчас это имя наверно никто, кроме специалистов, и не помнит. Отец никогда не верил в самоубийство младшего Масарика. Кстати сказать, в любом хорошем историческом пособии можно при изложении истории Чехии прочитать о дефенестрации: национальной средневековой традиции выбрасывания политических противников из окон. Ну как после этого поверить в то, что Масарик, испугавшись разъяренной толпы и своей ответственности, сам выбросился из окна! Был период, когда на газеты подписаться было очень непросто. Не помню уж в каком году мы с отцом выстояли полдня на Главпочтамте в дикой очереди, чтобы подписаться на газеты. Каждому можно было подписаться только на очень ограниченное число изданий. Я в ту пору газеты почти не читал, чем очень огорчал мать.

Хорошо помню свой яростный спор с отцом в то время, когда учился на первом курсе университета. Я никак не мог поверить ему, что в 1941 году в событиях на фронте нам очень помогли английские танки «Матильда» и еще какое-то оружие союзников. Мы этого не проходили, и я не верил. Вообще же у нас с отцом были очень хорошие, дружеские отношения. С детства он звал меня «петушок», ну а я, став постарше, стал звать его по-украински «пивником».

Отец очень любил кино, и в последние годы его жизни мы часто вечером ходили всей семьей в Дом культуры работников связи, благо это было через дом от нас. В период блокады радиотрансляция в городе не выключалась круглые сутки. Если не было передач, то звучал стук метронома, темп которого менялся во время арналетов. Поэтому у многих блокадников вошло в привычку спать с невыключенной радиотрансляцией. Была эта привычка и у отца. Радио ночью он никогда не выключал, приучил к этому и меня. Звук радио, а теперь и телевизора, начиная с тех пор абсолютно не мешает мне спать и работать.

Другой памятью блокадной поры была любовь отца к артистке Преображенской, которая оставалась в блокаду в городе и часто выступала по радио. Как и все ленинградцы того времени, отец любил и певца Ефрема Флакса, тоже блокадника, очень любил слушать «Элегию» Массне. Отец никогда не сердился и не гневался на своих сотрудников, даже если они допускали ошибки. Он пользовался среди них огромным авторитетом, поэтому, по словам его ученицы, Эллы Абрамовны Фридман, для всех его сотрудниц самой страшной была спокойная фраза отца: «А Вы тут не напутали, мадам?»

Отец мог и пошутить. Когда я закончил 10-й класс, у меня появилась первая девушка. С ней и с ее матерью мы все пошли в кафе «Норд». Когда нам подали счет, отец вдруг сделал вид, что ему не хватает денег. Затем, основательно смутив всех, он достал со смехом из внутреннего кармана бумажник и спокойно расплатился с терпеливо ожидавшей официанткой.

Физически отец был крепким человеком. Но если характеризовать его в этой плоскости, то надо, прежде всего, указать на его ловкость. Он обычно удачно падал, умело поворачивался и всегда обходился без травм. Однажды он ехал в машине с большой группой сослуживцев по какому-то льду. Машина заскользила и перевернулась. Все получили сильные травмы, один отец сумел каким-то образом выскочить, вовремя приоткрыв дверь. Он единственным вышел из этой истории без единой царапины.

В лето, когда мы жили на Сиверской, начальство санатория решило подвезти отца и мать к поезду на пролетке. На крутом спуске лошадь понесла, и пролетка перевернулась. Матери повредило ногу крылом пролетки, а отец, как всегда, вышел из этой истории невредимым, взял мать на руки и принес ее домой. Он был решительным и смелым, всегда останавливал хулиганов и вообще вел себя в таких ситуациях по-мужски. Отец уважал подобные поступки. При мне он несколько раз с восхищением вспоминал о человеке, который успешно дрался сразу с четырьмя противниками, при этом отец повторял: «Он был очень ловок драясь».

Я окончил школу весной 1948 года. В декабре 1947 года была знаменитая денежная реформа. Слухи о ней ходили долго, все что-то продавали и покупали. Утром в день реформы мы, наконец, продали наш роанль. Деньги нам отдали сразу же, и к вечеру они пропали. День реформы я помню хорошо. О ней объявили вечером, назвав «последней жертвой». Деньги на сберкнижках после некоей суммы менялись на новые в соотношении 1:3, деньги, бывшие на руках, менялись в соотношении 1:10. Реформа начиналась со следующего дня, а до закрытия сберкасс оставалось еще около часа. Я никогда не видел больше такого: по улицам по направлению к сберкассам бежали толпы людей. Естественно, все сберкассы были давно закрыты.

Официально объяснялось, что удар направлен против спекулянтов, которые «держат деньги в кубышках, а не на сберкнижках». При этом стыдливо умалчивалось о том, что с первых дней войны все довоенные вклады на сберкнижках были заблокированы — можно было снять со вклада только 100 рублей в месяц. Так что деньги на сберкнижках во время войны обесценились и, кроме того, были долго недоступны. Одновременно с обменом денег были конвертированы и займы, тоже в соотношении 1:10. В 1956 году займы были приостановлены к оплате на 20 лет. Начиная с 1928 года и в послевоенные времена на заем всегда подписывали не менее чем на месячный оклад. Деньги по займам стали возвращать в конце 70-х годов. За все труды родителей в течение столь большого срока мы с Галей фактически смогли купить только цветной телевизор и еще какую-то ерунду. Поэтому, когда сейчас ретивые болтуны говорят о грабеже 1991 года, им полезно оглянуться назад и вспомнить свою предыдущую деятельность. Вместе с реформой отменили и карточную систему. На следующий день в городах все бросились смотреть прилавки продуктовых магазинов, которые действительно ломались от невиданных долгое время товаров.

Школу я кончал легко, и родителям не надо было волноваться. В то же время я не входил в число намеченных, если так можно выразиться, отличников. На то были свои причины, о которых говорить неинтересно. Родители особенно не вмешивались в выбор мною специальности. Под влиянием отца и Леонида Рувимовича я интересовался биологией, в 9-м классе подумывал о биологическом факультете. Это был единственный случай, когда отец очень активно вмешался в мои планы. Он сказал, что биолог — это всегда недоделанный врач, ему никогда не разрешат экспериментировать на людях. Так что если есть желание заниматься биологией, то надо идти на медицинский. Впоследствии я подумывал о биофизике и о совместной работе с отцом, но жизнь рассудила иначе. Выбор физического факультета университета был до известной степени случайным, хотя, похоже, разумным.

Был и еще один случай активного вмешательства отца в мои действия. Сразу же после войны в Ленинграде был судебный процесс над четырьмя немцами, обвиненными в преступлениях против мирного населения. Они были приговорены к повешению. Казнь была публичной и производилась на площади у кинотеатра «Гигант». Я хотел туда поехать, но отец меня категорически не пустил. Он понимал, что такие зрелища бесчеловечны. Я очень благодарен ему за это. В день казни я возвращался домой и видел дикие толпы людей, стремившихся к месту казни. Ехали даже на крышах автобусов. Об остальных впечатлениях проще прочитать в воспоминаниях Веры Фигнер, в главе, посвященной казни Софьи Перовской.

Интересно, что на похороны Сталина отец отпустил меня в Москву. Точнее сказать, он не вмешался, когда мать сказала мне: «Поезжай! Такое в жизни бывает только один раз». Конечно, никто из родителей не мог себе представить, какое смертоубийство творилось в толпе. По счастью, я приехал на следующий день после знаменитой давки. Мы с Альдиком, приехавшим из Рязани, сумели все же пробраться, не без приключений, в Дом союзов и увидеть Сталина в гробу.

Прошло чуть меньше 30 лет со дня смерти Сталина. Следующими большими государственными похоронами были похороны Брежнева. Об его смерти объявили 11 ноября. На следующий день в одном из докторских советов Горного института защищался мой одесский приятель Вадим Мокрицкий. Я был и членом совета, и одновременно оппонентом. Еще одним оппонентом был наш общий приятель Миша Мильвидский — москвич, зам. директора, лауреат и т. д. Все рестораны были закрыты. Конечно, одесситы привезли с собой выпивку. Пошли к нам домой и спокойно отметили успешную защиту. Отношение к похоронам руководства было уже не то, что в дни смерти Сталина, и большинство, в общем, уже игнорировало всяческие запреты.

Вернемся, однако, к концу 40-х годов. В те годы с четверками за сочинение и письменные работы на выпускных экзаменах по математике медалей не давали, у меня в сочинении была одна лишняя запятая, и на этом все кончилось. При этом я получил хороший урок лицемерия. Нам по ряду причин во время написания сочинения не додали около получаса, и я, как и многие другие, не успел до конца проверить свое сочинение. Исправил ли бы я ошибку, будь достаточно времени, не знаю. Один из записных медалистов, ходивший в моих близких друзьях, тоже допустил погрешности в сочинении. Он не знал, что моя мама была знакома с нашей учительницей литературы. Последняя и рассказала маме, что наш отличник прибежал вечером в школу и с ведома учителей тихонько исправлял сочинение. Никого из нас, кому бы разрешили сделать то же самое, он не предупредил. Я после этого охладел к нему, но об этой истории рассказываю впервые. Ряд других подобных происшествий с нашими отличниками просто обхожу молчанием. При защите кандидатской я столкнулся с чем-то похожим, но это уже не было для меня удивительным.

Тогда же в 1948 году все было просто: сдал 11 выпускных экзаменов в школе, сдам и 8 вступительных. Так оно и вышло. Я был одним из двух или трех человек, поступавших на факультет, которые получили пятерки по сочинению. Не обошлось и без анекдота. Я писал сочинение по Маяковскому, которым тогда восхищался. Мною был выбран эпиграф: «А что, если я и народа водитель// И, одновременно, народный слуга!» Привел я эпиграф, естественно, по памяти. Памя-

туя об особенностях грамматики Маяковского, я написал «народоводитель» одним словом. Дома кинулись проверять — конечно, пишется раздельно. Надо думать, что проверяющий совершил ту же ошибку, что и я. Во всяком случае, все обошлось.

Математика сдавалась тяжело. Я растерялся, да и черновик у меня стащил фронтовик, будущий парторг курса. Сумма по трем экзаменам по математике у меня была 3. Все остальное я сдал на 5. Тогда считали средний балл. Он получился у меня 4,8. Такой же балл был и у некоторых других абитуриентов, но более высокого балла ни у кого не было вообще. Тем не менее, меня приняли не на физфак, а на матмех, исходя из единственной отметки, отличной от 5. Саша Перельман просто не поступил. Ничто тайное нельзя утаить. Быстро вычислили, что экзаменационные листы были подписаны синими и красными чернилами. Все, у кого был синий цвет, экзамены не сдали. В их числе был и Саша. Было не очень трудно установить, что у всех, чьи листы были подписаны синим, фамилии были нерусские по звучанию.

Отец вместе со мной пошел разбираться по поводу моего приема к декану физического факультета профессору Краеву. Тот решил «намекнуть» на национальность матери и сделал это достаточно прозрачно. Он также упомянул о командировке отца в Персию. Краев сделал ошибку, ибо такие вещи говорить вслух тогда было нельзя. Короче, учиться на матмехе я не желал из принципа. Меня, уже с помощью Анны Григорьевны, знавшей по райкому ректора ЛЭТИ Скотникова, приняли в ЛЭТИ. Однако отец, используя ошибку Краева и обращаясь в очень серьезные организации, добился того, что меня приняли на физфак с 22 сентября. До этого целый месяц я проболтался на матмехе.

Мать всегда говорила, что отцу это дорого стоило в связи с его заболеванием сердца. Может показаться странным, что я много говорю о болезни отца, а он, врач, этого не понимал. Это не так. Через несколько лет после смерти отца я в его бумагах нашел письмо, адресованное нам с мамой. Отец все хорошо знал, но просто не хотел заранее огорчать нас.

В критические дни поступления в университет меня проняло, и я заговорил об Израиле, что тогда было абсолютно нереально. Я очень люблю и университет, и свой факультет, который окончили и мои дети и на котором учится мой внук. С горечью должен признать, антисемитизм в университете был намного мощнее, чем во многих других вузах города. В чем-то он был «творческим».

Месяц моей учебы на матмехе свел меня с одним неплохим парнем, Славкой Серебряковым. Учеба его не очень волновала. Я тоже тогда думал о другом. Мы облазили со Славкой все закоулки факультета. Под одной из аудиторий, после грязного низкого прохода, на-

шли забытый богом чуланчик, где по правилам дореволюционной грамматики было написано: «Клуб любознательных людей» и стояли подписи мелом. Там же была надпись, датированная первыми годами революции: «Профессор подлизывается к большевикам». В последующие годы в бывшем здании матмеха прошли большие ремонты, и навряд ли это помещение существует и сейчас.

Когда я пришел на прием к декану матмеха профессору К. Ф. Огородникову подписывать приказ о моем переводе на физфак, я страшно боялся. Я ждал своей очереди перед дверьми и, наверно, имел бледный вид. В это время появился знаменитый профессор Фихтенгольц, автор известных учебников, блестящий и остроумный лектор. Я слушал его лекции в течение тех трех недель, что проучился на матмехе. Фихтенгольц взглянул на меня и сказал: «Что, боишься? Ничего! Я сюда уже 30 лет хожу и все боюсь». Когда меня принимал Краев, он отметил, что будет внимательно следить за мной и в случае чего немедленно отчислит. Я все это воспринял всерьез. Кстати, Краев очень быстро после этого перешел в ректорат, а к моему третьему курсу просто умер.

Учился я в университете легко. У меня за все время была только одна четверка в первую сессию, и то из-за того, что вся группа опоздала на экзамен и нас сознательно потрясли. Родителям моя учеба забот не доставляла. После первого и второго курсов был по месяцу на стройках сельских ГЭС, на август в те годы мы ездили в Ригу. После третьего курса мать раздобыла мне туристскую путевку на Кавказ, и я прошел всю Военно-Осетинскую дорогу. Это мне очень понравилось. Родители тем летом отдыхали в Зеленогорске.

На первом курсе началось и военное обучение. Готовили из нас метеорологов. До сих пор помню классическое: «В сильную облачность самолет может лететь а) под облаками, б) в облаках и в) над облаками». Все это было вроде бы и ни к чему. Я имел белый билет по зрению и быстренько от военной кафедры освободился. К концу университета отец все же настоял, чтобы я сдавал офицерский экзамен. Я сдавал его уже с младшим курсами и по хорошей специальности — радиолокация. Эти занятия давали знание радиотехники. Летом после 4 курса и на следующий год, уже с дипломом в кармане, я бывал на военных сборах, после этого вместе с родителями проводил остаток лета в Зеленогорске на даче. Это был самый спокойный период нашей общей жизни. Послевоенные трудности кончились, политической атмосферы я не чувствовал.

Отец получал пенсию, о которой я уже говорил. Пришел относительный достаток, он меньше времени тратил на совместительства. Мама, которая всю жизнь боялась опоздать на работу и всегда бежала к остановке, завидев трамвай и автобус, очень удивлялась, что отец

перестал торопиться. Сейчас, после моего инфаркта, я понимаю, что отцу просто было тяжело бегать. Со временем, чтобы не толкаться в транспорте, отец даже стал ходить пешком на работу и уходил из дому попозже. Думаю, что и здесь истоки его поведения связаны с сердцем. Раньше по утрам в выходные мы с ним часто боролись. Теперь он стал уклоняться от этого.

В 1953 году мы летом жили в Зеленогорске на Полевой улице, 3. Возможно, что мы жили там и в 1952 году, сейчас мне вспомнить трудно. Лето 1953 года было связано с моим окончанием университета, экзаменом в аспирантуру и прочими хлопотами. Тем не менее, на даче было спокойно. До моря было не близко, и лето было не очень теплым, однако отец с матерью ежедневно ходили на пляж. Отец купался в любую погоду. Мы часто ходили в кино. Отец вообще кино очень любил, поэтому и в городе мы тоже нередко вечерами ходили в Дом культуры работников связи. Я уже писал, что этот дом культуры был по соседству с нашим домом. Я покупал билеты за 10-15 минут до начала сеанса и возвращался домой за родителями. И мы всегда успевали.

Неподалеку от Зеленогорска, в Комарово, снимала дачу и Элла Абрамовна. Она часто навещала нас со своим мужем, военным летчиком и книголюбом, и тогда еще маленьким сыном Сашей. Саша был очень доверчив. В те годы летом часто бывали грозы. Когда вдали сверкала молния, я подсчитывал, сколько секунд проходит до грома. Когда молния сверкала в следующий раз, я в нужный момент махал рукой, и в это время слышался раскат грома. Я уверял Сашу в том, что я волшебник и могу вызвать гром. Самое удивительное, что в течение многих лет он верил, что я настоящий волшебник. Все взрослые получали огромное удовольствие от этой шутки.

Возвращаюсь к последним годам жизни отца. Он по утрам стал делать зарядку. Холодное же обтирание до пояса он делал всю жизнь, вызывая уважение соседок, так как процедура выполнялась на общей кухне. Летом отец купался допоздна. Последние пару лет жизни, почти до 1-го октября, он купался на пляже возле Петропавловской крепости. Это как раз недалеко от Института им. Пастера и вполне реализуемо в обеденный перерыв. Мы всей семьей в тот период часто ходили в театры. Иногда ходили и большими компаниями. Сначала мы увлеклись театром Образцова, потом стал приезжать на ежегодные гастроли МХАТ. Отец был консерватором в одежде и долго носил столь модные до войны парусиновые туфли, которые чистились зубным порошком. Однажды мы с мамой в БДТ ждали отца. Он шел с работы и задерживался. Мать вдруг в сердцах высказалась, что ни один идиот уже таких туфель, как отец, не носит, на что я резонно указал на чьи-то ноги в проходе. Когда подняли глаза, то оказалось, что это был отец.

Отец очень не любил ходить покупать одежду. Как-то раз мама взяла его с собой выбирать себе шляпу. Отец стоял и говорил: «Дайте, пожалуйста, эту, которая похожа на воронье гнездо». После этого мать его никогда к таким делам больше не привлекала. Перед праздниками, а их было-то всего три: Новый год, майские и ноябрьские, всегда делалась тщательная уборка квартиры, отец сам натирал полы. Вечером шли покупать всем подарки. В предпраздничные дни универмаги тогда работали до полуночи. Отец вообще любил делать подарки, особенно на 8-е марта. За год до смерти он подарил маме золотые часы. Мама всегда потом говорила, что дарить часы плохая примета. Когда впоследствии она хотела сделать подобный подарок моей дочке, то дала деньги и попросила ее саму купить часы. Утром в праздники в комнатах всегда пахло пирогами. Приходил Леонид Рувимович. Он берег фигуру, но очень любил нянечкины пироги, говорил ей: «Опять напекла отраву» и садился за стол.

По воскресеньям с утра мы с отцом играли в шахматы. Не знаю почему, но мама часто сердилась, говоря, что мы вовремя не начинаем завтракать. Три вопроса всегда вызывали у нее разногласия с отцом: первый — воскресные шахматы, второй — зачем отец откровенно говорит со мной, критикуя политические порядки, ну, а третий традиционный — почему отец иногда заходит выпить к приятелям по фронту. Надо сказать, что отец умел выпить, но пьяным никогда не бывал. На Невском возле Садовой и Большой Морской были магазинчики, где в розлив продавали вино. Туда часто заходили люди интеллигентного вида выпить вина или коньячку. Продащицу в магазине около Садовой звали Тамара. Так это и называлось — «зайти к Тамаре». Однажды приехал из Москвы дядя Марк. Узнав про такую продажу вина, он тотчас же отрядил меня за ним. Идти надо было со своей бутылкой, и дядя учил меня: «Вино продают по 0,5 и по 1,0 литра. Ты же всегда бери у отца бутылку 0,75 литра, но оплачивай один литр. Вино в бутылку не поместится, и ты законно выпьешь свой стакан». Видно, эти уроки не пошли мне на пользу. Выпивки в моей жизни бывали, и большие, но по таким поводам я в магазины никогда не ходил.

Отец всегда много курил. Это были, если так можно выразиться, средние папиросы: «Беломор», «Звездочка» («Красная звезда»). «Беломор» покупался тот, который выпускался фабрикой им. Урицкого, считалось, что он лучше того, который выпускался фабрикой им. Клары Цеткин. Одно время отец набивал трубочным табаком гильзы и даже курил трубку. Ни о каких папиросах в коробках с красивыми крышками, всякие там «Борцы», «Северная Пальмира», «Дерби», «Зефир», никогда не было речи. Такие папиросы на моей памяти курил до войны только старый адмирал Беклемишев. Отец не запрещал мне курить, понимая бессмысленность запретов, он только говорил: «Кури дома».

Именно поэтому я и не курю. Один раз отец заснул, положив папиросу на свои часы. Они были с органическим стеклом, оно прогорело, и отец долго ходил с такими часами. Сожженные спички он вкладывал обратно в спичечную коробку. Однажды коробка вспыхнула у него в руке, дело окончилось ожогом. Когда отцу сообщали номер телефона или что-нибудь иное, он делал запись на оборотной стороне спичечной коробки.

В этот период награждали медицинских работников города. Отца наградили орденом Трудового Красного Знамени, мать — орденом Знак Почета. Особо эти награждения в семье не отмечались, зато отметили 55-летие отца и 25-летие свадьбы родителей. Отмечали их достаточно скромно, но атмосфера была очень теплой.

Конец 40-х — начало 50-х годов — это непрерывные постановления, борьба с чем-либо. За неделю до знаменитого постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» мы были в Зеленогорске. Была жаркая погода, Анна Григорьевна на улице с восторгом показывала рассказ Зошенко «Про обезьянку» и повторяла: «Вы подумайте, как здорово! Обезьянка не человек, она не понимает, что к чему». Кроме этого постановления были и другие, например «Об опере Мурадели «Великая дружба». После него была в ходу шарада: «Первое это то, что он пишет, а второе то, что он курит. В целом же это советский композитор». Были статьи о космополитизме и прочем. Естественно, родители при нас о многом говорили, и мы достаточно хорошо все понимали. Однако мы были еще слишком юными, для того чтобы разобраться в этих вопросах до конца. Это по-настоящему нас не затрагивало, родители же, естественно, чувствовали себя иначе. Недавно я узнал, что одним из фигурантов по делу врачей был главный терапевт Ленинградского фронта. Понятно, что в годы войны отец не мог с ним не сталкиваться. Что он должен был чувствовать, встретив эту фамилию в газетах!

Я закончил университет весной 1953 года. Распределение на работу делалось на комиссии, заседавшей 26 апреля, в день рождения мамы. Мама всегда говорила, что этот день для меня особый. Действительно, в 1966 году именно в этот день была предзащита докторской диссертации. Но с этим днем связаны и неприятные события в моей жизни. Я делал диплом в ГОИ и ждал на распределении чего-либо, связанного с этой работой. Совершенно неожиданно я и еще несколько моих сокурсников получили распределение в аспирантуру Физико-технического института. По существу вопрос был решен заранее. Никто из сдававших вступительные экзамены в эту аспирантуру, за одним исключением, их не сдал. Исключение же было очевидным — отец поступившего играл в теннис с председателем приемной комиссии аспирантуры академиком Лукирским. В общем, ни-

чего страшного не случилось. Нас зачислили на работу в тот же Физтех, но туда, куда было нужно институту. На наши же места кандидаты были приняты раньше. С помощью мамы (она обратилась к Вулу) меня было отпустили в ГОИ, но в последний момент все сорвалось.

Я начал работать по новой специальности. Помню, как Аркадий Израилевич Бронштейн успокаивал меня, говоря, что теорией я всегда смогу заниматься. Так и вышло, хотя теоретическая физика, с которой была связана учеба в университете, это другая специальность. Отец был спокоен — ведь я попал в институт АН СССР. Той зимой я уходил из дома около половины восьмого утра, домой же приезжал часов в 10 вечера. Я страшно уставал и в пятницу ложился отсыпаться. В субботу после работы я сживал дома, ну, а по воскресеньям — лыжи. С родителями виделся я в тот год реже, чем обычно. Они всегда относились с уважением к работе и не очень моей занятостью огорчались. На Новый год я собирался уйти из дома, но на работе мы предварительно крепко выпили. Дома я заснул и проснулся уже после 11 вечера. Так я и встретил этот Новый год в семейной обстановке. Отец был этим очень доволен.

Приближалось лето 1954 года. Я пошел покупать туристскую путевку. В продаже были только парные путевки в Закарпатье. Я купил две, а потом с трудом нашел себе попутчика. Им был мой 38-летний шеф, у которого только что родился второй ребенок и который от хлопот подальше двинулся в молодежный поход. Поход начинался во Львове и кончался в Ужгороде. Из похода я пару раз звонил домой, к телефону походила нянечка. Родители, по ее словам, были в гостях на даче у Бронштейнов. Меня это и не волновало: я ведь звонил сообщить, что у меня все в порядке. Когда мы возвращались домой через Львов, возникла идея поехать посмотреть Киев, у одной из наших девушек там были родственники. Так и сделали. Остановились в районе улицы Саксаганского. В Киеве я был в первый раз, и впечатлений было много. Обратном мы ехали поездом без денег, нас подкармливали соседи по вагону.

В Ленинграде на Витебском вокзале меня встречала мать. Она сказала, что в июле, кажется 10, у отца, который возвращался домой с работы, во время грозы случился инфаркт. В Ленинграде начало июля — это всегда грозы и это, действительно, инфарктный период. Отец добрался до своего служебного кабинета. Не знаю почему, но отца решили не перевозить в больницу, так он и лежал в своем кабинете. Мы с мамой заехали домой, оставили мои вещи и поехали в Институт им. Пастера. Это было воскресенье 25 июля: День Военно-морского флота. Когда мы в полдень переезжали через Дворцовый мост, был салют.

Отец очень ждал меня, он был уже слаб. Приходили самые лучшие врачи, около отца ночами дежурила женщина, бывший врач. Ма-

ма часто говорила, что буквально через несколько лет появились мощные средства борьбы с инфарктом и отца можно было бы спасти. Помню, что в эти дни мы с нянечкой часто бегали за кислородом для отца. В аптеке нас уже знали. Как хороший врач, отец прекрасно понимал свое реальное состояние. Во всяком случае, за пару дней до смерти он сказал: «У меня начинается отек легких». Так оно и было на самом деле. Он очень жалел мать, говорил ей: «Бедная ты моя». Мама и дневала, и ночевала в лаборатории отца. Мы же с нянечкой уходили ночевать домой, откуда я по утрам уезжал на работу. Отец в эти дни говорил мне: «Ну что ты здесь сидишь, пойдешь, погуляй с девочками». Последний раз он сказал мне это вечером 7 августа.

Отец умер в воскресенье 8 августа около 4 часов дня. Мы все были в это время в лаборатории, только нянечка побежала за кислородом. Как раз приехал Леонид Рувимович. Он стал успокаивать меня, говорил, что тоже рано потерял отца, поил меня валерьянкой, хотя я был спокоен. Он и сам непрерывно пил валерьянку. Ночью в дождь мы вызвали две машины такси и вывезли домой весь отцовский архив. Мы боялись, что он попадет в чужие руки. Архив так и пролежал долгое время у нас. Со временем я понял, что на самом деле с толком разобрать чужие бумаги — это очень тяжелая и трудоемкая работа, редко кто на нее способен. Но в тот момент нужна была какая-то активная деятельность.

Было одно обстоятельство, в которое очень трудно поверить, но это так. В институте для проб крови держали большого петуха. Он был важным и кукарекал сильным голосом. Все утверждали, что его кукареканье напоминает голос отца. За глаза все так и звали этого петуха Николаем Николаевичем. Не знаю, был ли отец об этом осведомлен. Петух умер в первую же ночь после смерти отца.

Это была первая смерть, с которой я встретился. Я все старался сделать сам. Ездил договариваться о могиле. Сперва мы хотели похоронить отца рядом с дедом. Затем мы перерешили и купили участок на Обуховском кладбище «Жертв 9-го января». Потом все спохватились, что оно расположено очень неудобно, и с помощью Анны Григорьевны и ее старшего сына Августа переоформили документы на Серафимовское кладбище, что было очень непросто. Хотя в газете было дано объявление, все полагали, что из-за летних отпусков придет не очень много народа: отец ведь не был лечащим врачом. На самом деле актовый зал института не смог вместить всех пришедших.

Из Москвы приехал дядя Ионя. Альдик, готовившийся ко женитьбе, по понятным причинам приехать не смог. Утром в день похорон позвонил из Москвы Юра. Я послал и ему телеграмму о том, что папа умер. Он же решил, что умер его отец и позвонил узнать, в чем дело. Узнав, кто умер, он успокоился и больше ни о чем со мной не гово-

рил. Ну, кто мог на него обидеться в такой момент! Я очень был недоволен тем, что на гражданской панихиде в первую очередь дали слово Смородинцеву и Токаревичу, считал, что мать зря проявила терпимость в этом вопросе. Теперь с годами я полагаю, что ничего плохого в этом на самом деле не было. Выступал и Аншелес. По стилю его выступления похоже, что именно он написал впоследствии текст некролога для ЖМЭИ.

После похорон стали расходиться. В то время поминки еще не вошли в быт. Вдруг, расталкивая толпу, на кладбище вбежал дядя Марк. Он был в туристском походе с какими-то школьниками, у которых учителем был один из его фронтовых друзей. Без предупреждения, сюрпризом он решил заехать к нам в гости и попал в нашу квартиру в день похорон. После кладбища поехали домой. Мы все оказались в районе Сенной площади. В опустевшую квартиру идти не хотелось, и мы пошли в кино посмотреть английский фильм «Пиквикский клуб». Естественно, в голове у меня от этого фильма ничего не осталось. Впоследствии я пару раз видел этот фильм по телевизору, но, может быть, в силу инерции ничего в голове не задерживается. Когда дяди уехали, нас каждое воскресенье брал к себе на дачу, снятую в Разливе, Аркадий Израилевич Бронштейн, проявивший удивительную теплоту и отзывчивость.

В институте память отца долго чтили. Была даже посвященная его памяти научная сессия, не помню уж в какую годовщину. Приглашали на это заседание и нас с матерью. В Физтехе после смерти отца меня вызвал к себе начальник первого отдела. Он завел меня в комнату для исполнителей и сказал: «У тебя умер отец. Я проверял твое личное дело. У тебя в семье только бабы. Я дам тебе пару советов, как держать их в руках».

На похоронах отца я освоил ряд новых понятий и умений. Теперь я знал, как ведут себя могильщики, знал, что на похоронах в кармане надо всегда иметь несколько купюр разного достоинства, необходимо не забыть молоток и гвозди, иначе из этого сделают проблему. Вскоре мне это пригодилось и на похоронах дяди Иони, и похоронах Аркадия Израилевича. Анна Григорьевна с грустью говорила про меня и своих сыновей: «Ребята научились хоронить». Она дожила до преклонных лет. После ее похорон на поминках нынешний директор Института им. Пастера Жебрак говорил мне, что он чтит память отца и что очень хочет что-либо по этому поводу сделать. Увы! Этими разговорами все и ограничилось. Винить его за это нельзя, так как институт активно работает, и у директора всегда очень много дел.

Теперь можно сделать некоторый перерыв в моем повествовании и рассказать о жизни моих дядей в войну и после нее и об их смерти. После этого можно будет вернуться к рассказу о жизни мамы после смерти отца.

О жизни моих дядей в войну и после нее

Я оборвал повествование о моих дядях на годах, которые предшествовали войне. К началу войны дяди отошли от своей активной революционной деятельности и мирно работали. Оба они уже не были членами партии, им в 1941 году было за 40 лет. Старший брат мамы дядя Ионя работал, как я уже писал, в одном из наркоматов. Этот наркомат, к концу войны ставший министерством, был с началом войны преобразован в Наркомат минометного вооружения. Минометы были важной составляющей вооружения армии. Однако их производство менее сложно, чем производство артиллерийских орудий и танков, не говоря уже о самолетах. Тем не менее, и в этом наркомате требовалась работа по согласованию действий разных предприятий, снабжению, отладке новых технологий.

Дядя никогда не был конструктором или технологом-производственнымником, он был организатором и, вероятно, снабженцем. Чем он занимался конкретно в военные годы, я толком не знаю. Мне известно только, что за исключением очень короткого промежутка времени дядя основную часть военного времени провел в Москве. У него было много разъездов, связанных с работой. Внешние обстоятельства показывают, что работал он достаточно успешно, и работой его были, судя по всему, довольны. В то же время никаких особых наград и отличий, сдается мне, он за эту деятельность не получил.

В конце войны, когда мы уже были в Ленинграде, он несколько раз по делам бывал на заводах нашего города. Бывал он, надо думать, и в других местах. Вскоре после войны его министерство снова вернулось к приборостроительной деятельности. Уже через много лет после смерти дяди мне довелось побывать в том министерстве, которое стало преемником Министерства минометного вооружения. О военной деятельности министерства там уже никто не вспоминал.

Я уже писал, что тетя Нина во время ее кратковременного пребывания в Пензе проработала некоторое время в том же наркомате, что и дядя. По возвращении в Москву на рубеже 1942-43 годов она трудилась в этом же наркомате и проработала там почти до самой смерти. Территориально ее место работы было в огромном доме разных ведомств на площади Ногина. Я один или два раза был у нее на службе. Что привело меня туда, я не могу вспомнить. Министерство, в котором трудилась тетя, после войны занималось, в частности, и производством часов. Тетя работала всесоюзным куратором часовой промышленности. Иными словами, к ней стекались все сведения о случаях брака в производстве часов. Она эти данные анализировала, давала рекомендации, выезжала для разбора ситуаций на места. Насколько я знаю, ее ценили. Непосредственно же она изучала произ-

водство и использование часовых камней. Тетя всегда много ездила по разным часовым заводам, бывала она и у нас, на Петродворцовом часовом заводе. Но это были редкие приезды. Когда к окончанию школы, родители решили подарить мне первые наручные часы «Победа», то за советом и рекомендациями обратились к тете. Наручные часы тогда еще были редкостью, у нас в классе их имело всего несколько человек.

В отличие от тети, карьера дяди в послевоенные годы складывалась менее удачно. Сравнительно быстро, точно сказать не могу когда, дядя потерял работу и вышел на пенсию. Что здесь сыграло роль, я не знаю. Решающим мог быть и возраст дяди, и его начинавшаяся болезнь. Надо думать, дядю подпирали более молодые, энергичные люди, знакомые с приборостроением. Несомненно, значительный вклад в это внес и национальный вопрос. Он может быть, даже был главным. Всерьез причины дядиного ухода на пенсию никогда у нас дома, во всяком случае при мне, не обсуждались. Казалось бы, активная рабочая жизнь дяди после его ухода из министерства закончена, и ему предстоит тихое старческое прозябание. Но он был не из тех людей, кто сдается. Я думаю, что в глубине души он был ущемлен и обижен. Наверно, это обсуждалось с его друзьями и ближайшими родственниками. Внешне же дядя продолжал оставаться активным и деятельным.

Он нашел себе новое занятие, в котором достиг несомненных житейских успехов — стал заниматься издательской деятельностью. Я не берусь судить, какие именно обстоятельства подтолкнули дядю Ионю именно к этому виду деятельности. Он не состоял в штатах ни одной редакции. Может быть, его трудовая книжка и лежала где-нибудь, но я сильно в этом сомневаюсь. Дядя работал по договорам. Как говорят англичане, он трудился free lance. Он не был техническим или литературным редактором, хотя, как я понимаю, эту работу он тоже выполнял. Дядя вел, как теперь любят говорить, большие издательские проекты. Одним из таких очень успешных проектов было издание справочника или, быть может, энциклопедии машиностроителя. Издание это состояло из нескольких томов.

Издать несколько томов справочного материала очень сложно. Для начала надо убедить в необходимости такого издания издательство, заключить договор. Для этого человек, ведущий проект, должен обладать опытом и авторитетом. По этой причине упомянутое мною издание не было первым шагом в издательской деятельности дяди. Этому предшествовали другие, менее масштабные проекты, о которых я толком ничего рассказать не могу. Заключение договора — это результат большой подготовительной работы по сбору отзывов, рецензий и иных аналогичных материалов. Окончательное решение

выносит редакционный совет издательства. Там всегда имеются один-два человека, которые все и определяют. Так как издательская деятельность оплачивается достаточно хорошо, тот тут возникают требования того, что в нынешние времена называют «откатом». Это все придумано не в наше время. Дядя откровенно рассказывал маме в моем присутствии, какой большой процент от суммы за всю работу по упомянутому мной проекту с него запросили в издательстве. Он всегда был, с моей точки зрения, слишком откровенен в таких вопросах. Я считаю, что эта откровенность отрицательно сказалась на характере его усыновленного племянника Юры Соколова.

Я рассказал о финансовой стороне вопроса. Но есть и чисто производственная сторона. Одновременно с заключением договора надо пригласить в редакционную группу, ведущую издание, видных ученых, специалистов в данной области. Далеко не все из них будут реально работать, но без такой группы ничего сделать нельзя. Выбирают все же достаточно трудолюбивых людей, желательны с хорошими характерами. Затем редактор-организатор с помощью редсовета создает словник — алфавитный список статей, которые надо написать для издания. Ни одна важная тема не должна быть опущена, и ничего лишнего не должно быть включено. Для составления словника надо обладать большой технической культурой в соответствующей области, хорошим кругозором и чувством нового. После составления и утверждения словника нужно подобрать редакторов тематических отделов, найти сведущих авторов для будущих статей, договориться со всеми, раздать работу и следить за ее выполнением.

Авторы оказываются разными. Кто-то работает быстро и надежно, кого-то, наоборот, надо деликатно заменить. Полученные статьи надо выровнять по стилю, отрегулировать их объемы, изготовить качественные иллюстрации, обеспечить единую терминологию. Для этого надо вычитывать все тексты вместе с техническими и литературными редакторами. Не надо забывать, что работа, уже стоящая в плане издательства, должна четко укладываться во временной график. В противном случае получение зарплаты сотрудниками редакции, выплата гонораров и многое другое могут быть сорваны, что, в свою очередь, приводит к конфликтам.

Все это — тяжелая и напряженная работа, требующая серьезной квалификации и организационного опыта. У дяди Иони эта деятельность протекала успешно, его издания хвалили. Поэтому со временем он мог обеспечить себя нужным количеством заказов. Это позволяло ему снабжать редакционной работой для заработка брата Марка, давать разную мелкую работу для приработка племянникам и другой работоспособной молодежи. Все были ему очень благодарны за такую помощь.

Материально дядина деятельность полностью обеспечивала все нужды его семьи. Он сравнительно быстро приобрел автомобиль «Победа». Права он так и не сумел получить. Дядя не доверял тете водить машину, хотя у нее особых проблем с вождением не было. Усыновленный племянник быстро научился хорошо водить машину, но это было уже позже. Пришлось дяде держать своего шофера. Это был немолодой уже человек, где-то работавший и в свободное время обслуживавший дядю. За год до смерти дяди он свозил его во время своего летнего отпуска вместе с тетей Ниной, ее сестрой Лелей и мамой на юг.

Дядин пример был поводом для моих подшучиваний на тему о том, как у нас хорошо живут безработные. Летом дядя с тетей снимали постоянную дачу на платформе 42-й км Казанской железной дороги. У него там всегда было полно народа — он с тетей и племянником, мать племянника, дядя Марк. В 1955 году и я прожил на этой даче пару недель, приехав после Риги посмотреть выставку картин Дрезденской галереи. Вечером по всей дачной комнате и прилегающей веранде расставлялись раскладушки, на которые все и укладывались. Днем все гости исчезали, а дядя и тетя уезжали в город по делам.

Я уже писал о том, что, после того как я начал работать, дядя предложил мне сделать доклад на приборостроительной конференции и затем написать брошюру, издававшуюся обществом «Приборпром». Дядя был связан с заочным университетом этого общества через общество «Знание». Надо сказать, что материалы, которые я писал, укладывались в тематическую серию брошюр, издававшихся заочным университетом в качестве учебного материала. Вероятно, дядя подбирал авторов для этой серии и сам редактировал тексты брошюр. Во всяком случае, я точно знаю, что текст моей рукописи редактировал сам дядя. Он умер сравнительно рано, и его помощь мне оказалась эпизодической.

Свой путь к изданию книг я пробивал сам. В последующие годы я печатался в издательстве «Металлургия». Моя первая книга была отмечена издательством, как одна из лучших к юбилею Советской власти. Со временем я вошел в редакционный совет одной из его редакций. Когда издательство в связи с его пятидесятилетием наградили орденом Трудового Красного Знамени, то меня пригласили в Москву на торжественное вручение ордена. И вот там я узнал, что наше издательство ранее входило в состав более крупного, которое потом разделилось на два: одним была наша «Металлургия», а другим «Машиностроение». Только в этом году, размышляя о том, что надо включить в эти воспоминания о моих дядях, я вдруг понял, что до его разделения дядя Ионя подвизался в том же издательстве, с которым впоследствии был связан и я. Глубоко уверен, что проживи дядя дольше, он при его активности и доброжелательности обязательно помог бы

мне в начальный период моей деятельности. Это, вполне вероятно, могло бы сыграть положительную роль в моей судьбе. Увы!

После войны я стал бывать в Москве будучи студентом. Альдик приезжал к нам раньше, еще в бытность его школьником. Я самостоятельно поехал в первый раз в Москву во время зимних каникул на втором курсе, то есть в феврале 1950 года. Тогда нас приехало в Москву несколько человек. Я, естественно, жил у дяди Иони, но ночевал и у Вулов, и, кажется, у дяди Марка тоже. Затем я был в Москве летом 1951 года, отправляясь в туристский поход на Кавказ. На вокзале меня встречали оба дяди и брат Альдик. Дядя Ионя был страшно возбужден, торопился, вскочил в поезд метро, не дожидаясь нас, и уехал. Была страшная жара. Он сидел у себя дома около вентилятора и непрерывно пил минеральную воду, у него уже вовсю разыгрался диабет. В то же время шутить с питьем ему было нельзя: у него была болезнь почек.

С этих пор я стал часто бывать в Москве. Болезнь дяди прогрессировала. Тем не менее, он продолжал оставаться модником. После смерти отца мне понадобилось купить летний костюм. Естественно, что мама попросила заняться этим дядю Ионю. Во время одной из моих летних командировок он съездил в какой-то хорошо знакомый ему магазин, подобрал костюм. Затем мы поехали в ателье на Волхонке, и здесь мне моментально подогнули костюм по фигуре. К сожалению, я в тот период стал набирать вес, и в силу этого костюм этот прослужил мне не очень долго. Дядя много ездил на машине по своим делам и брал меня с собой. Помню, как я ждал его возле одного из издательств в улочке позади памятника первопечатнику Ивану Федорову. Интересно, что в 2003 году мы с женой были по издательским делам в этом же здании. Конечно, это было уже другое издательство, теперь оно издает туристическую литературу.

Почечная болезнь дяди прогрессировала. Он лечился, но чувствовал себя все хуже и хуже. Наверно, чувствуя, что дело идет к концу, он летом 1959 года, будучи в Ленинграде, попросил меня свозить его на могилу деда. Мама говорила, что это было в первый раз после того, как деда похоронили. Дядя умер в больнице 27 января 1960 года. Это был день смерти деда, и возраст у дяди был почти тем же. Второй дядя умер приблизительно в том же возрасте. Я долго полагал, что мужчины по материнской линии в моей семье доживают только до этого возраста. Однако и оба моих двоюродных брата, и я сам пережили этот возраст.

Дядя умер буквально на руках у тети Нины. В это время в Москве была вспышка оспы, завезенной, кажется, из Индии. Вспышка была небольшая, но для поездки в Москву требовалось свидетельство о новой прививке. Тем не менее, мы с мамой спокойно взяли билеты на

поезд и добрались до Москвы. Похоронили дядю Ионю на Ваганьковском кладбище. Поминки были дома у дяди Марка. Мы с мамой на следующий день вернулись домой из Москвы самолетом. После смерти дяди и я, и моя жена часто останавливались в гостях у тети. Она пережила дядю ненадолго. Когда она умерла, я был в командировке в Минске. Несколько раз я перезванивался по поводу моего приезда на ее похороны с ее племянником Юрой Соколовым, но обстоятельства как-то так сложились, что попрощаться с ней я все же не смог. После тетиной смерти я в том доме уже никогда не бывал. Юра Соколов, после смерти в Ленинграде его матери, давно пропал из вида и никто не знает его адреса. Дом, в котором жил дядя, если не ошибаюсь, уже снесен.

Судьба младшего маминого брата дяди Марка в военные и послевоенные годы складывалась по-другому. Я уже писал, что события октября 1941 года привели дядю в Пензу. Он работал в Доме политпросвета. В начале 1942 года его призвали в армию. Дядя попал в учебный лагерь, расположенный в Пензенской области. Из этого лагеря его направили сначала в Саратов, а затем, почти сразу, под Сталинград. Очень быстро дядя стал работать в армейской газете.

Не думаю, что при призыве дяди в армию военкомат планировал его использование в этом качестве. Скорее всего, политотделы активно искали грамотных людей среди новобранцев для работы в армейских изданиях. В Сталинграде дядя начинал работать в газете в звании рядового, затем его произвели в офицеры. За участие в сталинградских событиях дядя был награжден медалью «За боевые заслуги». Награды в то время были еще редкими, и боевая медаль, полученная в то время, особенно если на ней сохранилась старая прямоугольная колодка с красной ленточкой, всегда высоко ценилась знатоками. После войны дядя тоже оценивал эту награду более высоко, чем последующие свои ордена.

Дядя участвовал в боях на Курской дуге, затем та воинская часть, в газете которой работал дядя, вышла к Днепру где-то в районе Киева. В это время происходило переформирование фронтов. В результате дядю направили в газету одного из танковых корпусов, который сражался под командованием Рыбалко. В составе этого танкового корпуса дядя прошел всю вторую половину войны. Он участвовал в боях под Львовом и Сандомиром, а затем и во взятии Берлина. После этого он участвовал в броске танковых армий через Дрезден на Прагу. Имеется несколько фотоснимков дяди весны 1945 года, сделанных, вероятно, в Германии. Есть кадры военной кинохроники, где первые советские танки входят в Чехословакию. Из одного из них выскакивает дядя и пляшет с чешской девушкой. Из Праги дядя прислал нам открытку с видом Вацлавской площади.

Я не помню, писал ли он нам с фронта. С сыновьями и с братом он переписывался. Мама говорила, что был какой-то перерыв с его письмами, адресованными моему брату. По ее словам, это было связано с тем, что дядя был тяжело ранен. Мой брат о ранении своего отца не вспоминает, так что было ли это ранение на самом деле, я не знаю. Скорее, перерыв с письмами был связан с тем, что дядина часть попала в окружение, из которого затем успешно пробилась к своим.

Дядя принимал непосредственное участие в боевых действиях. Для сбора материала он мог неделями участвовать в боях, сидя в танке любимшегося ему командира. У него появилось много новых друзей и среди сотрудников редакции, и среди офицеров-танкистов. С рядом из них он поддерживал активные отношения и после войны. Во время одного из его приездов в Ленинград в послевоенные годы он рассказывал мне о своем боевом товарище того времени, полковнике танковых войск, дважды Герое Советского союза. Этот очень храбрый и решительный человек был представлен к третьей Золотой звезде, но Сталин, лично решавший такие вопросы, тянул с награждением, так как считал, что первым трижды героем должен стать только летчик. Пока суть да дело, дядин товарищ погиб. А мертвому решили трижды героя не присваивать.

Дядя был награжден двумя орденами, дослужился до звания капитана. Он говорил, что в конце войны его начали «придерживать» из-за национальности. Но ближайшее начальство за него заступалось. Сразу же после окончания боевых действий в Европе дядю направили из Праги в Вену. Он демобилизовался в октябре 1945 года и вернулся в Москву.

Лида ждала его в Москве. В начальный период войны она работала на рытье оборонительных сооружений, затем трудилась на Главпочтамте. В это время она выхаживала Сергея Молчанова, у которого случился инсульт. В конце войны знания и опыт Сергея стали востребованными, и он даже был командирован в Германию. Таким образом, его проживание в Москве стало легальным. Старший сын дяди — Юра — был в это время со своей академией на Урале, оттуда академия вернулась в Ленинград. Младший сын дяди вместе с семьей матери вернулся в Москву в 1943 году. Вызов их в Москву, конечно же, организовал дядя Ионя.

Я снова встретился с дядей Марком, только когда он вместе с братом Ионей приехал навестить нас сразу же после окончания войны. Дядя был на подъеме, в костюме с огромным количеством наградных ленточек, при деньгах, которые он предлагал маме. Он чувствовал себя тогда нужным и успешным. В это время с ним произошла забавная история. Отправляясь к нам домой, дядя на ходу спрыгнул с трамвая на Понцелуевом мосту. Его задержал милиционер и попросил документы. У

дяди в паспорте не было штампа о месте работы, и ему пришлось долго объяснять, что он писатель, лицо свободной профессии и штампа в паспорте ему не положено. Милиционер долго думал и сказал примерно следующее: «Это у вас в Москве такие порядки. У нас бы наверняка нашли способ поставить нужный штамп».

Дядя начал работать корреспондентом в журнале «Огонек». В первые послевоенные годы он часто бывал в Ленинграде, затем у дяди начались сложности в редакции. Помню, как во время одного из приездов он рассказывал о своем конфликте в редакции «Литературной газеты». В чем была суть этого конфликта, я не помню. Знаю только, что дядю вынуждали написать что-то такое, с чем он принципиально согласиться не мог. В результате он должен был расстаться с какой-то должностью. Мои встречи с дядей в тот период были мимолетными, и я по младости на многое в его рассказах просто не обращал внимания. Но шутки шутками, но на самом деле, может быть, и не сразу после окончания войны, но дядя на самом деле оказался без постоянного места работы. Он перебивался случайными заработками. Старший брат доставал ему какую-то редакторскую работу.

Однажды, кажется в 1951 году, дядя Ионя помог ему получить договор на написание повести из жизни учеников ремесленных училищ, то, что всегда называли «нужняк». Я читал эту повесть, изданную в виде книжечки небольшого формата. Профессионально повесть была написана хорошо, однако ни фабула, ни характеры, описанные в соответствии с предъявленными требованиями, большого интереса не представляли. Лидина работа на Главпочтамте в отделе контроля жалоб и проверки сроков доставки писем (название я даю по памяти) больших денег не давала. Так что жили они нелегко. Надо думать, что именно поэтому дядя всегда несколько обижался на то, что я чаще останавливаюсь во время приездов в Москву у его брата. На самом деле мы считали, что старший брат — глава семьи, поэтому подразумевалось, что все родственники, приезжавшие в Москву, должны в первую очередь побывать у него. Никто в справедливости этого правила никогда не сомневался. Что касается меня, то я часто останавливался и у дяди Марка, стремясь как бы поддержать справедливое равновесие. Насколько это мне удавалось, не знаю.

После того как дядю Марка отыскали его товарищи по гражданской войне, его общее мировосприятие улучшилось. Скорее всего, это сказалось и на улучшении его материального положения. Однако это только мое предположение, и что было на самом деле, я сказать не могу. После поездки на юг, приведшей к ухудшению его здоровья и операции на сердце, дядя, конечно, не мог вести особо активный образ жизни. Он много времени проводил в скверах возле своего дома, играя в шахматы, нарды и другие игры, стал вспыльчивым. Однажды он даже

подрался с кем-то, оспаривая результаты игры. Я тоже в дни приездов часто и помногу играл с ним в шахматы, но у нас все протекало на редкость мирно и дружелюбно.

Кто-то из его фронтовых товарищей преподавал в школе недалеко от Москвы. Этот учитель летом отправлялся в туристские походы со своими учениками. Дядя несколько раз принимал в них участие. Бывали они с Лидой и в Ленинграде, один раз гостили у нас летом. Вся наша семья жила тогда на даче в Зеленогорске, а я был в командировке в Новосибирске. Дядя с Лидой знали, когда я прилетаю, и ждали меня в городе, чтобы я отвез их на дачу. Я прилетел часа в 2 ночи и на такси добрался домой. Сколько я ни звонил, дверь мне не открывали. Дядя был глуховат и звонка не слышал, ключа же у меня не было. Была белая ночь, я сидел во дворе и читал диссертацию, которую мне дали на отзыв. Как только открыли метро, я помчался в Зеленогорск. Оттуда мне сразу же пришлось возвращаться в город за нашими гостями. Я тогда был подвижен, и вся эта операция заняла у меня чуть более трех часов. Пожалуй, это был последний приезд дяди Марка к нам.

Я писал, что летом 1955-го года был в гостях у дяди Иони в Москве. В это время у дяди Марка родился внук Витя. Мы с дядей ходили в ЗАГС его регистрировать, и дядя был очень доволен тем, что его приняли за отца, а не за деда. В 1954 году, спустя некоторое время после свадьбы своего младшего сына, на которой он отчаянно плясал, дядя перенес инсульт, а в 1957 году инфаркт. Мой брат Альдик утверждает, что после этих событий дядин характер изменился. Мне трудно об этом судить, так как часто ездить в Москву и встречаться с дядей я начал уже после этих событий. Отношения с ним у меня всегда были очень ровными и дружескими. Он показывал мне некоторые из своих сохранившихся военных документов, но все-таки главными темами наших бесед были текущие события.

Дядя умер спокойно, во сне. Это было в ночь на 13 марта 1964 года в день рождения моей жены. Нам позвонили из Москвы вечером, когда мы сидели за праздничным столом. В тот же вечер мы с мамой отправились в Москву и сразу же отправились в Институт им. Склифософского. После кремации урну с дядиным прахом подхоронили в могилу Сергея Молчанова. Моя мама была очень удручена тем, что у ее брата нет своей могилы, которую он, по ее мнению, заслужил.

Лида после смерти Марка прожила достаточно долго. Я часто оставался у нее, в ее квартире готовился к защите докторской диссертации, которая происходила в Москве. Там же я правил рукописи своих первых книг, также издававшихся московским издательством. Лида хорошо знала всех моих московских друзей, которые частенько заходили ко мне на ее квартиру. Со временем дом пошел на капитальный ремонт,

и Лида перебралась в отдельную квартиру в Измайлово, недалеко от моего двоюродного брата. Она еще несколько раз приезжала к нам в гости при жизни мамы. Лида считала, что мой сын Коля по характеру похож на дядю Марка, и очень привечала его.

Оба моих дяди ушли из жизни, пережив моего отца почти на 10 лет. Они были еще не очень старыми и, возможно, сложись жизнь несколько иначе, смогли бы прожить и подольше. Оба дяди имели послереволюционный взлет в своих биографиях, но по разным причинам и разными путями отошли от своей политико-хозяйственной деятельности, проведя основную часть своей жизни на обычной работе. Они всегда вели себя достойно. На нас, своих родственников молодого поколения, они оказали большое влияние. Марк влиял на нас примером своего достойного поведения во время войны, своей добротой и отзывчивостью. Помню, как однажды у нас дома он о чем-то горячо заспорил с отцом. Скорее всего, это была политика. С отцом дядя был дружен, и никаких иных предметов для спора у них быть не могло. И вот, когда страсти накалились, дядя, вдруг улыбнувшись, сказал: «Ну ладно, Николай. Ты был не прав, я был виноват. На этом и кончим!» Это навсегда врезалось в мою память.

Дядя Ионя влиял на нас своей заботой. Он помогал, чем мог, всем нам. Моему брату Альдику он помог при его поступлении в аспирантуру и при его возвращении из Рязани в Москву. Пытался он помочь ему и с выбором темы диссертационной работы, но смерть прервала эти хлопоты. Помог он и мне, как я уже писал. Его забота во многом определила жизненный путь мамы и моего старшего двоюродного брата Юры. Вся его помощь осуществлялась чисто добровольно и просто по зову сердца. Такой у него был характер! Как всякому человеку, ему хотелось только одного — благодарности. Ну, а все мы по молодости часто нашу благодарность в явном виде не проявляли, хотя, вне всякого сомнения, испытывали ее. Пусть же эти слова восполнят недосказанное нами при жизни. Дяде это уже не нужно. Скорее всего, раз мы это ощущаем, эти слова не нужны и нам. Но они нужны нашим детям и внукам. Пусть они иногда вспомнят добром ушедшие поколения!

У дяди Иони своих детей не было. Его племянник по линии тети Нины затерялся в житейском море, и все наши попытки отыскать его к успеху не привели. У младшего сына дяди Марка есть и сын, и внук. Так что линия продолжается, и имеются потомки, чтобы о нем помнить. Старший сын Юры имеет дочку Машу. Она врач, у нее трое детей. Юра с Машей контактов по не вполне понятным причинам не поддерживал. У нас в гостях в Ленинграде Маша была лет 15 тому назад. Недавно мы разыскали ее. Хочется надеяться на то, что памятные строки об ее деде доставят ей радость.

Последние годы жизни мамы

Первое время после смерти отца мы все приходили в себя. Довольно долго мы занимались оформлением могилы, что было по тем временам непросто, могильный камень доставали где-то в Латвии. В оставшиеся дни лета 1954 года мы много времени провели на даче у Бронштейнов. Они тогда снимали ее в Разливе, и Аркадий Израилевич даже завел моторную лодку. Пару последующих лет мы тоже часто заезжали к ним на дачу.

Круг маминых постоянных контактов несколько изменился. Конечно, старые друзья и знакомые остались. С Анной Григорьевной, которая все же имела большее отношение к отцу, мы стали встречаться намного реже. Много времени у мамы стали занимать встречи с Натальей Сергеевной Васильевой. Родом она из интеллигентной семьи. Первым браком была замужем за одним из братьев Васильевых, поставивших знаменитого Чапаева (на самом деле эти были не братья, а однофамильцы). Вторым мужем Натальи Сергеевны был крупный политработник Лаптев. Он погиб во время войны, Наталья Сергеевна осталась без средств к существованию и без профессии. Она поступила работать сестрой-хозяйкой в мамину клинику. Одновременно она была тем театральным уполномоченным, который снабжал нас всех театральными билетами. В студенческие годы я тоже широко пользовался ее услугами. Наталья Сергеевна искренне любила маму, они часто виделись. Не могу сказать, что я был в большом восторге от этого. Где-то интуитивно я чувствовал, что область маминых интересов при этих контактах несколько принижается. Возможно, я был не прав. Наталья Сергеевна была страстным по натуре человеком. Она всегда кем-то и чем-то безумно восторгалась и всегда кем-то глубоко возмущалась. Ее дружба с мамой продолжалась до самой смерти Натальи Сергеевны от рака. Мы все вместе отдыхали под Ригой в 1955 году. Мама с ней ездила путешествовать по Волге, часто вместе они посещали театры и концерты, бывали друг у друга в гостях. В общем, эти отношения определенным образом компенсировали матери ее одиночество после смерти отца.

Рабочие дела у мамы шли превосходно. Еще в 1950 году она была назначена заведующей отделением. (В 1952 году, она, по вполне понятным причинам, была переведена на должность старшего научного сотрудника). С 1966 года мама научный руководитель отдела. В эти годы она член Областного прививочного комитета, зампреда межобластного Центра по борьбе с нейроинфекциями, член комиссии Минздрава по борьбе с полиомиелитом. Она читает лекции в Институте усовершенствования врачей, тогда называвшемся ГИДУВ, иногда выступает с просветительскими лекциями по Ленинградско-

му телевидению. Интересно, что эту эстафету он как бы передала моей дочке, которая сейчас часто выступает в программах местного телевидения.

Мама стала одним из лучших и признанных специалистов по полиомиелиту, стала часто ездить в командировки. В первые годы после смерти отца она часто ездила в Москву вместе с директором их института профессором Александром Леонидовичем Либовым. Это был очень культурный, хорошо образованный человек. Его научная карьера была не всегда легкой, защита первой докторской диссертации закончилась неудачно. При наличии больших способностей он очень быстро написал и защитил совершенно иную работу. Его брат был знаменитым кардиохирургом, работавшим в Минске, о его работах часто писали в то время в газетах и популярных журналах.

Александр Леонидович недолго был директором маминого института. Сравнительно быстро он уехал в Европу. Работал он или в международном обществе Красного Креста, или же непосредственно в ЮНЕСКО, точно я уже не помню. После окончания первой иностранной командировки Либов уехал работать в Индию. Александр Леонидович прекрасно использовал свое пребывание за рубежом. Он написал и издал несколько учебников и методических пособий на английском языке. В СССР печаталась его воспоминания, он собрал альбом фотографий, не чужд был и стихотворству. Когда он вернулся обратно, у него возникли проблемы с трудоустройством, во всяком случае, в институт он уже не вернулся. С мамой он встречался и после возвращения, но как частное лицо. Встречи эти не были частыми.

Следующим директором института был некто Бондарев. Имени и отчества его я не помню. Когда мы получили отдельную квартиру, он со своей семьей, в порядке улучшения жилищных условий, въехал в наши комнаты на Мойке. Не помню только, въезжал ли он сразу после нас или перед этим там жил кто-либо еще. С точки зрения культуры и знаний Бондарев был противоположностью Либову. Маленького роста, вечно торопящийся, с неясной дикцией и горящими глазами — таким я его запомнил навсегда. Он хорошо знал меня. Тем не менее, когда мы однажды встретились в институте — я шел навестить Галю, которая с дочкой лежала там в боксе, он долго в меня всматривался, не узнал и сказал: «Папаша, здесь прохода нет, подождите гардеробщика». Он пошел по дороге Либова: тоже сравнительно быстро уехал в Швейцарию. Тут не обошлось и без анекдота. Во всех европейских международных организациях два официальных языка: английский и французский. Бондарев, едучи в Швейцарию, выучил на курсах английский и поэтому в быту оказался беспомощным. Выяснилось, что он даже не имел представления о том, что в Швейцарии говорят по-французски и по-немецки..

Следующим директором института была Лидия Семеновна Кутина. Это был человек совсем иной закалки и иного стиля. Она была типичным исполкомовским или райздравовским работником, но в хорошем смысле этого слова. Кутина прекрасно разбиралась в людях, была отличным организатором. При ней институт очень поднялся во мнении окружающих и начальства. У Кутиной не было степени, и она защищалась под руководством мамы. Официальным или неофициальным было это руководство, я не знаю, фактически же мама очень много времени уделяла ее диссертации. Мама говорила, что и здесь Кутина была очень организованным и толковым человеком. Всего же мама официально выпустила пять кандидатов наук. Через некоторое время после защиты диссертации Кутину забрали в Москву — она стала заместителем министра по детству. Как это часто случается, в Москве ее быстро сожрали местные чиновники. Тем не менее, назад она не вернулась и навсегда осталась в Москве. Мама часто с удовольствием встречалась с ней там во время своих командировок.

Этот период до 1962 года отмечен моей женитьбой. У меня родилась дочь, и мы все вместе стали подумывать об отдельной квартире. Тогда еще это было невообразимо сложно. Если бы все пошло обычным путем, то, наверное, мы бы стали строиться в первых кооперативах. Неожиданно, в 1961 году, кажется, сам Хрущев дал указание улучшить жилищное положение ведущих медиков Ленинграда. Мама попала в соответствующий список, было решено выделить ей трехкомнатную квартиру. Она много раз говорила, что если бы не Кутина, нам бы квартиру никогда не видать. На каком этапе и что сделала Лидия Семеновна, я не знаю, но мама всегда была ей очень благодарна и не раз об этом говорила.

Решение о выделении квартиры было по тем временам несколько странным. В нем не оговаривался метраж. Таким образом, это могла быть маленькая квартира в 38 м², а могла быть и большая. Мы с Галей стали ходить по городу и осматривать новостройки. В конце концов, на проспекте Стачек нашли недостроенный дом с большими квартирами. Туда, после многих хлопот, мы и въехали 27 января 1962 года. Это было радостное время: мы обустроились, приглашали гостей — тогда еще хорошие отдельные квартиры были в новинку. Эта квартира была связана со множеством приятных событий. Живя в ней, я защитил обе диссертации, написал и издал первую книгу. Галя тоже защитила кандидатскую, живя в этой квартире. Здесь же родился и наш сын. Со временем нам стало тесно, и мы, в конце концов, переехали. Но это уже иная, более поздняя история.

Количество маминых командировок и выездов к больным бурно росло. Бывало всякое. Помню, когда мы жили еще на Мойке, как-то

поздно вечером к дому подъехал черный ворон. Оказалось, что в Силамяэ — был такой закрытый городок в Эстонии, недалеко от российской границы — у местного начальника КГБ заболел ребенок. Ему рекомендовали обратиться к маме. Иного транспорта у него не оказалось, вот и состоялась такая поездка. Но, кроме местных вызовов, было много иногородних поездок. Мама летала в Омск, в разные города Поволжья, часто выезжала в Прибалтику, ездила и на Крайний Север. Где-то в Мурманской области в закрытой зоне есть малый рыбачий поселок Териберка. Туда мама добиралась на катере. Она всегда с интересом и воодушевлением рассказывала об этих поездках. Нянечка за все эти полеты и пароходы называла маму отчаянной.

Началась кампания по вакцинации от полиомиелита. Вакцина изготовливалась так, что по виду и по вкусу она напоминала конфеты. Мама рассказывала, что когда первая партия вакцины была доставлена самолетом из Москвы, то очень быстро обнаружили недостачу одной коробки с упаковками. В дело включились самые серьезные организации. Выяснилось, что грузчики в аэропорту стащили одну коробку вакцины и использовали ее вместо сахара, когда пили чай. Как ни странно, на их здоровье это никак не сказалось.

Полиомиелит пошел на спад. Успехи врачей были очевидны, и пришла пора раздавать награды. Маму представили к ордену. В ту пору государственный антисиметизм набрал уже полную силу. Однако мама так много сделала в эти годы, что просто вычеркнуть ее из наградного списка было нельзя. Тогда ей заменили орден на медаль. Официальное объяснение этому состояло в том, что орден у нее уже есть, а два ордена давать неприлично. Если вспомнить, как награждали в те годы доярок и слесарей, то смехотворность этого объяснения станет очевидной.

Надо сказать, что на излете жизни мама несколько раз столкнулась с незаслуженными и часто логически необъяснимыми обидами. Так, в то время, когда она, уже будучи в пенсионном возрасте, работала в институте на должности лечащего врача, производился обмен личных врачебных печатей на печати нового образца. Обмен производился по месту службы, маме обменять печать отказались, ссылаясь на ее возраст. Как будто пенсия лишает врача диплома! Мама это очень переживала. Она всегда любила сама выписывать себе и всем нам рецепты. Конечно, все ее ученицы и сослуживцы дали ей кучу заранее подписанных бланков с печатями. Тем не менее, незаслуженная и, главное, бессмысленная обида была налицо.

Другая обида была в 1970 году, когда ей неожиданно не дали юбилейную ленинскую медаль. В то время я был председателем месткома в «Макаровке» и невольно стал участником подобной ситуации, механизм которой тоже был абсолютно нелепым. Юбилейные медали всегда да-

вались всем подряд. Так, медаль «В память 250-летия Ленинграда» давалась всем работавшим в то время в городе. Галя даже умудрилась получить ее два раза: один раз в Физтехе, а второй в РК комсомола, так как она была секретарем комсомольской организации того же Физтеха. Ленинскую медаль решили дать только достойным. Лучшей ситуации для разных обид придумать нельзя. Я прекрасно помню, как в «Макаровке» при составлении списка выделенные медали сначала дали тем, кто по статуту обязательно должен был их получить, оставшиеся распределили по кафедрам.

На нашу кафедру дали одну медаль. У нас был хороший коллектив, и мы спокойно отдали медаль заведующему учебной лабораторией Ивану Михайловичу Михайлову, которого все любили и уважали. Он точно был в списке, так как я, будучи председателем месткома, все тщательно проверил. Меня самого в списке не было: я работал в училище только три года и, значит, не мог на медаль претендовать. В те годы я уже прекрасно понимал, чего все это на самом деле стоит. Всем награжденным сообщили о приглашении на вечер, где должны были вручаться медали. Пошел и Иван Михайлович, и вдруг ему медали не дали. Пригласили и не дали! Он хоть и умный человек, а очень переживал.

Причина была глупая. Райком партии не утвердил список, так как председатель месткома, то есть я, остался без медали. Такого в других учреждениях не было. Начальство растерялось и, вместо того чтобы попросить еще одну медаль, кто их особенно считал! пошло по простейшему пути. Председатель месткома с кафедры физики — вот и отобрать медаль у того, кому кафедра ее дала, и отдать председателю МК. Ничего не объяснили, не сказали и породили обиду. Нечто похожее было, скорее всего, и в мамином случае. Она была ужасно обижена. С годами мы все становимся чувствительными ко всякой ерунде.

Уже в более поздние годы встал вопрос о защите мамой докторской диссертации. По ряду причин, скорее всего, из-за большого объема практической работы, в институте было решено, что мама должна защищать «по докладу», то есть без написания полного текста работы. В отличие от отца мать научные труды писала не торопясь, отделивая литературную сторону. Она затратила уйму времени и, наконец, написала большой доклад. Помню, что там было заметно больше 100 страниц. Все было готово, но требовалось разрешение ВАКа, который его, по вполне ясным причинам, не дал. Будь в то время директором института Кутина или Либов, они бы поехали в ВАК и, возможно, добились бы результата. Но тогдашнее руководство не стало этим заниматься. Не знаю почему, но мама после этого полностью писать диссертацию уже не захотела. Или она чувствовала, что это

уже не нужно, или была очень обижена. Этими соображениями она со мной не делилась и все перенесла молча.

Должен сказать, что последний щелчок, абсолютно бессмысленный, был уже после ее смерти. В последний момент райком партии не разрешил напечатать в газете объявление об ее смерти, кажется, объяснялось это малым количеством наград. Директор и тут ничего не захотел делать. Это была уже новая порода руководителей, которым все было безразлично. Я вспоминаю Анну Григорьевну, Лидию Семеновну, ряд людей старшего поколения, с которыми мне приходилось сталкиваться. Это были иные люди, которые иначе ко всему относились и поэтому многого добивались. Естественно, что и память о них иная.

Внешне мамина работа в те 25 лет, что она прожила вдовой, сначала шла на подъем: было много поездок, докладов, она подготовила ряд кандидатов наук. Постепенно она стала стареть: были формальные возрастные показатели, но было и самочувствие. Ей пришлось уйти из заведующих, затем из научных сотрудников в практические врачи. Сначала это была ставка, потом половина, а в последние год-полтора даже четверть ставки. Маме было трудно ездить на работу, и она стала пользоваться такси. Расходы на такси были сравнимы с ее заработком в то время, но ведь она работала не из-за денег. Так как она стала мало бывать на работе, к ней часто приезжали домой или возили ее на консультации. Долгие годы она еженедельно, раз или два в неделю, вела консультативный прием в 19-й поликлинике на Петроградской стороне. На этот прием были большие очереди, и иногда маму просили, в порядке исключения, посмотреть кого-нибудь в другом месте. Она консультировала детей многих моих сослуживцев, помогала им попасть к другим врачам, хорошо ей знакомым. Многие из тех, с кем я работал, пользовались этими услугами не раз.

Мама очень внимательно следила за здоровьем внуков, старалась повлиять в нужном смысле на атмосферу в семье. Я убежден, что если бы в моей семье начались нелады, мама бы меня не поддержала: она всегда была за целостность семьи. В последние годы ей приходилось непросто. Она себя уже плохо чувствовала. У нее был диабет, ей сделала операцию по поводу катаракты. Несмотря на это, ей было трудно читать, и она, естественно, чувствовала себя не у дел. Нянечка тоже дряхлая. Она сломала руку на даче и пролежала в больнице в Усть-Нарве большую часть лета. Кстати сказать, нам с Галей Усть-Нарва очень понравилась, и мы стали предпринимать попытки купить там дачу. Мама же мне по этому поводу не раз говорила: «Не торопитесь, вдруг они отделятся». Как выяснилось, правота была на ее стороне. В последний год жизни нянечка с сердечной болезнью летом попала в Зеленогорскую больницу. Она умерла в воскресенье

5 сентября 1976 года. В момент смерти мы сумели увести маму из квартиры в гости к Надежде Сергеевне. Естественно, она через несколько часов все узнала.

Нянечка была очень спокойным и доброжелательным человеком, внутренне очень интеллигентна. Кстати сказать, в мои школьные и студенческие годы она, несмотря на неграмотность, всегда понимала, чем я реально занимаюсь. Обмануть ее было невозможно. Нянечка всегда успешно сглаживала намечающиеся конфликты. Она любила нас всех: и маму, и меня, и моих детей, и Галю. Она оставила по себе самую добрую память. Нянечка прекрасно готовила, но добиться от нее каких-либо рецептов было невозможно, она всегда давала один и тот же ответ: «Кладу по вкусу».

После смерти нянечки мать прожила около трех лет. В моральном плане это были непростые годы. И у нас с Галей в эти годы было непросто на работе. Мы не обо всем, естественно, рассказывали ей. Мама очень много уделяла внимания внучке, часто беседовала с ней. В этот период она уничтожила большую часть своего архива. Ее друзья и знакомые постепенно уходили из жизни, все чаще она уезжала из дома на чьи-либо похороны. Ухудшилась работа сердца. В последнее лето с болезнью сердца она, так же как и нянечка, попала в ту же самую Зеленогорскую больницу и даже лежала в той же палате, где несколько лет тому назад лежала и нянечка.

Мы тем летом делали ремонт квартиры. Осенью все вернулись домой, вернулась и дочка Катя. 16 сентября мы отметили Катин день рождения. После этого мама устроила Галю на лечение в Боткинскую больницу: у Гали были проблемы, вызванные неудачным лечением летом в Минеральных Водах. 19 сентября мама пригласила проконсультировать ее состояние как весьма сложное. Возможно, что это очень ее расстроило, спровоцировало сердечный приступ, от которого она и умерла поздно вечером.

Маму похоронили рядом с отцом. Поскольку прошло уже много лет со дня смерти отца, больших проблем с совместным захоронением не возникло. Приезд родных, похороны, поминки — все было традиционным. Приехали родственники из Москвы, было много народа. Маминими похоронами я занимался мало — мне помогли. Наверно, последние похороны, которыми я занимался, были похороны тестя. Подросло новое поколение, и такие дела теперь его забота!

Мамин характер был мягким. Она прощала людей даже тогда, когда, казалось бы, надо было бы этого не делать. Так, в ее клинике работала некая Зинаида Мироновна Французова. Она была исполнительна, но несколько глуповата. Во всяком случае, мама почти полностью продиктовала ей кандидатскую диссертацию. Французова была чле-

ном месткома института. Когда надо было утверждать ордер на нашу новую квартиру, она стала требовать, чтобы ордер отдали ей, как члену МК. Это было особенно смешно, так как брат Французовой был первым секретарем одного из городских райкомов партии, и, как и ожидалось, свою жилплощадь она вскоре получила без проблем. Мама на это не рассердилась, говоря, что ничего другого от нее ждать нельзя. Представляю, как к этому отнесся бы отец. Меня такое поведение возмутило. За описываемые мною 25 лет было несколько случаев, которые я оценивал не столь снисходительно, как она. Но в конечном итоге это касалось ее личных отношений с людьми. По большому же счету получается, что и жесткая и мягкая позиции на самом деле приводят к схожим результатам.

Мама превосходно делала уколы. Ее сослуживцы говорили, что лучше нее никто не может сделать пункцию спинного мозга. Тем не менее, внукам она уколы никогда не делала. Для этой цели она всегда приглашала кого-нибудь из своих сослуживцев. Как только внук или внучка заболели, она сразу же укладывала их вместе с Галей в бокс при своей клинике, чтобы они были под хорошим медицинским присмотром. Она также очень внимательно следила за учебой внуков, их занятиями музыкой. Когда у дочки возникли сложности с поступлением в английскую школу, она подключила к решению этой проблемы свою сослуживицу — депутата Верховного Совета РСФСР. С внуком вышло забавнее — у него тоже были проблемы с поступлением в эту школу. В тот год, однако, первый класс приняла учительница, у которой раньше занималась Катя. Эта учительница разрешила Коле ходить в ее класс, фактически, нелегально. Так и продолжалось весь первый год: Коля учился в школе, и никто из руководства об этом ничего не знал.

Мама всегда интересовалась делами моих друзей, расспрашивала их достаточно подробно и часто хорошо помнила обстоятельства их жизни. Это мне говорили многие из них в последующие годы. У мамы была странная привычка, я обратил внимание на это только в последние годы ее жизни. Она почти никогда не писала на настоящих листах бумаги. Всегда какие-то обрывки, отрезанные кусочки больших листов и тому подобное. Все их края при этом были аккуратно обрезаны ножницами, но два листа одинакового размера найти было сложно. Может быть, это была привычка, выработанная в тяжелое и бедное время молодости. Не знаю. Тем не менее, и статьи, и другие важные вещи обычно писались на таких кусочках, хотя бумаги в нашем доме всегда было полно.

В конце сороковых годов быт очень отличался от современного. В театр и в кино часто ходили большими компаниями — взрослые и дети. Было много посещений вечеров художественного чтения, ма-

ма их очень любила. Кстати, многих постоянных посетителей таких вечеров мы все знали в лицо, а с некоторыми даже познакомились. В те годы взрослые и дети, собираясь вместе, играли в разные игры, даже в жмурки. Мама, Анна Григорьевна, а иногда и отец, принимали в этом участие. Летом на даче или в домах отдыха почти все играли в волейбол. В отличие от других взрослых, мама очень часто играла в разные «культурные» игры с моими гостями. Удивительно, но многие из них до сих пор помнят об этом. Такой интерес к забавам молодежи я наблюдал только у отца одной нашей школьной приятельницы Лены Векслер. Эти мамины черты запомнились мне на всю жизнь.

Несколько слов в конце

Вот и закончены воспоминания о жизни моих родителей. Как уже говорил, я пишу для детей и для внука, но мне кажется, что некоторые моменты биографии родителей могут вызвать и более широкий интерес.

Писать об отце мне было легче. Я с ним прожил мало, и многое в его жизни воспринималось мною несколько со стороны. Мать же была всегда рядом со мной. Она оказала на меня и на моих детей, особенно на дочку, огромное влияние, сумела сохранить во мне активную память об отце. Когда я закончил свое обучение, отец благодарил мать: в силу особенностей нашей жизни он не мог обеспечить повседневный контроль за моей учебой. Моя жизнь очень тесно переплелась с событиями из жизни мамы, поэтому писать о ней мне было намного труднее, так как при этом поневоле переходишь на события личного плана. Наша семья, включая московских родственников, была невелика. Я любил обоих дядей, но отношения с ними, как я уже писал, были очень разные.

Сейчас, когда уже прошло много лет со дня смерти старшего поколения, вспоминаешь не только то, какое влияние они на нас оказали. Я часто размышляю о том, как сложилась бы их жизнь в других условиях. При этом приходит на память один из рассказов О'Генри. У многих известных писателей есть произведения, стоящие особняком. Так, повесть «Черный монах» считается очень нетипичной для Чехова. У Джека Лондона к таким произведениям можно отнести «Межзвездного скитальца», у О'Генри — это рассказ, который называется «Дороги судьбы». Название обманчиво — оно схоже с другим рассказом того же автора: «Дороги, которые мы выбираем». Их часто путают. «Дороги, которые мы выбираем» хорошо знаком читателям, достаточно напомнить фразу из него: «Боливару не снести двоих».

Рассказ «Дороги судьбы» совсем о другом. Его героем является молодой мечтатель, поэт Давид Миньо. Поссорившись со своей возлюб-

ленной, он уходит из родных мест и, как в русской народной сказке, останавливается на перекрестке трех дорог. Дальше повествование делится на четыре самостоятельных новеллы: путь героя по каждой из дорог и, как четвертый вариант, возвращение домой. На каждом из этих путей герой попадает в разные обстоятельства, однако его восторженный, наивный характер во всех случаях приводит к одному и тому же концу — его гибели. Драматизм повествования усугубляется тем, что Миньо каждый раз гибнет от выстрела из пистолета с буквой Б.

Если вдуматься, то в этом рассказе заложена глубокая идея — многие поступки и беды человека не зависят от внешних обстоятельств, они заложены в нем самом, в его характере. По существу, в более завуалированной форме эта мысль присутствует и в «Межзвездном скитальце» Джека Лондона, где каждый раз героя вставили новеллы губит «Багровый гнев», неожиданно проявляющийся в его действиях. Исходя из идеи о том, что многое в нашей судьбе кроется в нас самих, я попытался представить себе, как протекала бы жизнь тех, кого я описал, в других условиях.

Судьба отца для меня достаточно ясна. Даже если бы не было революции, его непрерывная тяга к знаниям, интерес к биологии сыграли бы решающую роль. Скорее всего, он все равно получил бы высшее образование и занимался бы исследованиями. Конечно, некоторые стороны его характера, некоторая непрактичность, чрезмерная доверчивость сказались бы в любом случае. К каким результатам это бы привело, даже не стоит пытаться себе представить. Со старшим маминим братом — дядей Ионей — тоже все достаточно ясно. Даже если бы он стал врачом он, скорее всего, не занимался бы чисто лечебной деятельностью. Он бы мог стать организатором лечебницы, фирмы по снабжению лекарствами, вокруг него, вне всякого сомнения, группировались бы родственники и знакомые, которых бы он опекал в меру своих сил и способностей.

А вот в отношении дяди Марка ничего определенного представить нельзя. При его романтическом характере он мог втянуться в революцию, может быть, окупился бы в террор. Но возможен и другой вариант — писательская стезя. Характер один, а возможное его развитие весьма неопределенно. Относительно судьбы мамы тоже нельзя сказать ничего определенного. Она могла полностью уйти в семью, но могла пойти в театр или в литературу, могло быть и что-нибудь иное. Почти то же самое, что и в случае с ее младшим братом.

Естественно, все это фантазии, жизнь не переделаешь, Тем не менее, нечто с моей точки зрения поучительное в этих рассуждениях все же кроется. В пользу моих построений говорит и судьба нескольких моих друзей и знакомых, оказавшихся за рубежом. Совсем в но-

вых условиях у ряда из них схема развития жизненной ситуации была схожа с российской. Естественно, это надо понимать с учетом особенностей зарубежной жизни.

Я не хочу, чтобы создалось впечатление, будто я думаю, что вся судьба человека заложена в нем самом и внешние условия мало на нее влияют. Наоборот, они влияют достаточно сильно. С моим тестем, Василием Ивановичем Никитиным, у меня были хорошие, нормальные взаимоотношения. В то же время особой близости у нас не было, разве что за исключением последних лет его жизни. Некоторые детали его биографии были известны мне только вчерне. И вот в прошлом 2004 году я помогал моей жене издать военный дневник моего тестя. Для этого пришлось познакомиться с рядом документальных материалов. Попробую сформулировать свои выводы.

Внешняя сторона жизни моего тестя была очень успешной. Он дослужился до полковника, одно время был деканом, пользовался любовью студентов. Был на войне, но обошелся без ранений. Как и мой отец, он происходил из простой семьи. Так же как и мой отец, он всю жизнь хотел получить образование, стремился к творческой работе. Так же как и отца, его отрывали от работы в пользу «высших государственных соображений», часто достаточно бессмысленных. Посылали его и бог знает куда, далеко от семьи и дома. В общем, развернуться ему тоже не дали, скомкали его жизнь. Как и мои дяди, он отошел от партийной работы, хотя после войны его приглашали на ответственную партийную работу. Короче говоря, и в его жизни и в жизни отца четко прослеживается сходство, которое определяется условиями того периода истории.

Можно пойти дальше и проследить сходство влияния внешних условий на жизнь моей тещи и моей матери в их молодые годы. Теще не очень-то разрешали учиться, не принимали в комсомол, закрывая многие пути. Она была социально чуждым элементом, а ведь происходила из семьи простого служащего железной дороги, который просто стремился дать детям образование. Вот в таких параллелях и прослеживается влияние внешних условий на судьбу человека.

Почти все, что так или иначе определяло жизнь родителей и их друзей, было проблемами всего поколения. Обычай родителей и их окружения имели те же корни. Приходится иногда жалеть об очень многом из ушедшего вместе с ними. Хочу отметить еще одно обстоятельство, характерное и для отца, и для ближайших друзей семьи: они никогда не пытались сожалеть о потерях и упущенных возможностях, то есть были изрядными оптимистами.

Леонид Рувимович Перельман в 1938 году по инициативе академика Богомольца был номинирован на Нобелевскую премию. В тот период ни о какой посылке материалов в Швецию в ответ на запрос

Нобелевского комитета не могло быть и речи. Так и закончилось это представление ничем. Конечно, номинация — это не обязательно награждение. Но Леонид Рувимович никогда на свою судьбу в этом плане не сетовал, всегда сохранял достоинство. Я пишу об этом, так как мне известны аналогичные случаи с совершенно иной реакцией участников событий.

Отец в начале своей научной деятельности столкнулся с фактом отрицательного влияния плесени на рост культуры бактерий. Он понял причину и просто избавился от присутствия плесени, мешавшей его исследованиям, по молодости не стал заниматься изучением механизма этого воздействия. Тем самым он упустил потенциальную возможность открыть пенициллин. Отец никогда об этом не скорбел, не жаловался, не пытался кого-то или что-то обвинить, он даже об этом не рассказывал. Эту историю я знаю от мамы, помнившей логику его начальных научных работ. Вот это достоинство, отсутствие поисков внешних причин в своих бедах и трудностях — великий принцип, оставленный нам на память нашими родителями.

Я уже писал, что иногда задумываюсь над тем, как бы реагировали они на те или иные события наших дней. Мне достаточно просто представить реакцию матери, неплохо представляю и позицию отца по многим вопросам современной политики. В то же время осталось много недосказанного, и невольно хочется угадать мысли давно ушедших относительно тех проблем, которые волнуют нас. Это особенно интересно сейчас, когда так неожиданно для многих повернулась ситуация на Украине. Увы! Очень многое остается без ответа.

После смерти отца мать часто удрученно говорила, что при его жизни она была против покупки радиоприемника: опасалась, что он будет слушать БиБиСи. Отец так никогда и не пользовался телевизором. Мы пару раз ходили смотреть что-то к Бронштейнам. Мать очень сокрушалась, что отец не дожил до XX съезда и его решений. Хотелось бы, чтобы он дожил и до ряда более поздних событий, но что поделаешь! Во всяком случае, его любимая фраза о политике: «Никакая глупость не может вечно продолжаться!» часто мне вспоминается. Отец мечтал жить и работать в маленьком университетском городке с хорошей библиотекой. По-настоящему мы такие лишь городки повидали лишь тогда, когда открылись границы.

Мама всегда уделяла большое внимание воспитанию внуков и их здоровью. Иногда ее требования было очень непросто выполнить. Тем не менее, ее вклад в их воспитание и в характер жизни моей семьи очень велик. Сейчас с обидой думаешь, что многие тяготы, прерывные разлуки родителей по существу были бессмысленными. Но таково было время. Уже нет возможности поделиться чем-то с родителями, рассказать им что-либо, узнать их мнение. Это общая бе-

да, но в прошедшие годы она была многократно усилена внешними обстоятельствами. То поколение, которое ушло вместе с родителями, резко отличается от нынешнего. Эти люди были не лучше и не хуже нынешних, но они были другими.

Иногда приходишь домой и думаешь, как бы интересно было рассказать о том или ином событии именно Леониду Рувимовичу. Он так любил подобные вещи! Сейчас же, например, тонкостями научного протокола просто никто не интересуется. Когда встречали новый 1949 год, у нас в гостях были Бронштейны. И вот Аркадий Израилевич стал объяснять мне и моим друзьям, что студенты в Новый год обязаны прийти домой к ректору университета и лично поздравить его. Он стал звонить в справочную, пытаясь узнать телефон ректора. Кто сейчас помнит о таких обычаях!

Обидно то, что эти люди не повидали многое из того, что их интересовало. И Леонид Рувимович, и Аркадий Израилевич успели в разные годы побывать в Германии, но видели они ее не так, как можно увидеть сейчас. В 1970 году я был в Париже и в ряде других городов Франции. Удалось даже заехать на пару часов в Испанию. Мама еще была жива, и я, конечно, ей рассказывал о своих впечатлениях. Только много позже я понял, как отличается Париж от других городов мира. Мы в России воспитаны, прежде всего, на классической литературе и искусстве. Поэтому почти каждая улица в этом городе, каждая картина в Лувре нам знакомы. Мама так много читала, как бы ей это было интересно! Она очень любила такие вещи и всего этого была лишена.

Немецкий Кельн... Что мы о нем знаем, кроме того, что собор строился там 500 лет. Ну, еще можно вспомнить Белля и Вальтер Скотта. Но попадаешь туда, начинаешь всматриваться и вдруг вспоминаешь Тацита, Агриппу, которая подавляла здесь восстание легионов, Вара, который вышел из этой Колонии Агриппае в свой злополучный поход. Отец так хорошо все это знал. А рассказать ему о том, что ты видел, уже не суждено.

Безусловно, самым печальным является то, что прошедшие годы вытравили из повседневного обычая знание жизни своих предков. Когда люди начинают к старости интересоваться такими проблемами, часто уже поздно. Именно поэтому я и написал эти воспоминания, предназначив их своей семье. Надеюсь, что кое-что окажется интересным и для более широкого круга людей. Что вышло из этого, судить не мне.

Памяти Н. Н. Романенко

Н. Н. Романенко родился в семье рабочего — 8 октября 1954 г. в г. Омске. Окончил Омский государственный университет в 1981 г. Работал в Омске в различных учреждениях. В 1984 г. переехал в г. Новосибирск. В 1988 г. окончил Новосибирский государственный университет по специальности «История». В 1991-1992 гг. работал в Новосибирске в различных учреждениях. В 1993 г. переехал в г. Омск. В 1994 г. окончил Омский государственный университет по специальности «История». В 1998 г. переехал в г. Омск. В 1999 г. окончил Омский государственный университет по специальности «История». В 2000 г. переехал в г. Омск. В 2001 г. окончил Омский государственный университет по специальности «История».

В 1937-1939 гг. работал в различных учреждениях в г. Омске. В 1940 г. переехал в г. Омск. В 1941 г. окончил Омский государственный университет по специальности «История». В 1942 г. переехал в г. Омск. В 1943 г. окончил Омский государственный университет по специальности «История». В 1944 г. переехал в г. Омск. В 1945 г. окончил Омский государственный университет по специальности «История».

В 1946 г. переехал в г. Омск. В 1947 г. окончил Омский государственный университет по специальности «История». В 1948 г. переехал в г. Омск. В 1949 г. окончил Омский государственный университет по специальности «История».

В 1950 г. переехал в г. Омск. В 1951 г. окончил Омский государственный университет по специальности «История». В 1952 г. переехал в г. Омск. В 1953 г. окончил Омский государственный университет по специальности «История». В 1954 г. переехал в г. Омск. В 1955 г. окончил Омский государственный университет по специальности «История».

В 1956 г. переехал в г. Омск. В 1957 г. окончил Омский государственный университет по специальности «История». В 1958 г. переехал в г. Омск. В 1959 г. окончил Омский государственный университет по специальности «История». В 1960 г. переехал в г. Омск. В 1961 г. окончил Омский государственный университет по специальности «История».

В 1962 г. переехал в г. Омск. В 1963 г. окончил Омский государственный университет по специальности «История». В 1964 г. переехал в г. Омск. В 1965 г. окончил Омский государственный университет по специальности «История».

В 1966 г. переехал в г. Омск. В 1967 г. окончил Омский государственный университет по специальности «История». В 1968 г. переехал в г. Омск. В 1969 г. окончил Омский государственный университет по специальности «История».

В. В. Перельман — советский писатель и журналист. Его творчество связано с советской журналистикой и литературой. Он был участником Великой Отечественной войны, работал в тылу, а также в послевоенный период. Его произведения посвящены жизни и борьбе советского народа.

В. В. Перельман родился 14 октября 1914 года в городе Казань. Он окончил Московский университет. Его творчество связано с советской журналистикой и литературой.

В. В. Перельман работал в различных изданиях, включая «Литературную газету». Он был участником Великой Отечественной войны, работал в тылу, а также в послевоенный период. Его произведения посвящены жизни и борьбе советского народа.

В. В. Перельман работал в различных изданиях, включая «Литературную газету». Он был участником Великой Отечественной войны, работал в тылу, а также в послевоенный период. Его произведения посвящены жизни и борьбе советского народа.

В. В. Перельман работал в различных изданиях, включая «Литературную газету». Он был участником Великой Отечественной войны, работал в тылу, а также в послевоенный период. Его произведения посвящены жизни и борьбе советского народа.

В. В. Перельман — советский писатель и журналист. Его творчество связано с советской журналистикой и литературой. Он был участником Великой Отечественной войны, работал в тылу, а также в послевоенный период. Его произведения посвящены жизни и борьбе советского народа.

В. В. Перельман родился 14 октября 1914 года в городе Казань. Он окончил Московский университет. Его творчество связано с советской журналистикой и литературой.

В. В. Перельман работал в различных изданиях, включая «Литературную газету». Он был участником Великой Отечественной войны, работал в тылу, а также в послевоенный период. Его произведения посвящены жизни и борьбе советского народа.

В. В. Перельман, В. В. Перельман
Литературная газета, 2000, № 2, с. 77—78

* Сведения об аресте Л. Р. Перельмана не соответствуют истине. — Авт.

Анна Григорьевна Григорьева — в блокаду и после*

В блокадном Ленинграде Анна Григорьевна Григорьева была одной из тех, кто не сдавался. Она работала в типографии, печатая листовки и газеты. Несмотря на голод и холод, она продолжала работать, поддерживая дух горожан. В 1942 году она была награждена орденом Отечественной войны I степени. После войны она продолжила работать в типографии, а также занималась общественной деятельностью. В 1944 году она была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Анна Григорьевна Григорьева была одной из тех, кто выстоял в блокаду и после войны.

...В блокаду Анна Григорьевна Григорьева работала в типографии, печатая листовки и газеты. Несмотря на голод и холод, она продолжала работать, поддерживая дух горожан. В 1942 году она была награждена орденом Отечественной войны I степени. После войны она продолжила работать в типографии, а также занималась общественной деятельностью. В 1944 году она была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Анна Григорьевна Григорьева была одной из тех, кто выстоял в блокаду и после войны.

В 1942 году Анна Григорьевна Григорьева работала в типографии, печатая листовки и газеты. Несмотря на голод и холод, она продолжала работать, поддерживая дух горожан. В 1942 году она была награждена орденом Отечественной войны I степени. После войны она продолжила работать в типографии, а также занималась общественной деятельностью. В 1944 году она была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Анна Григорьевна Григорьева была одной из тех, кто выстоял в блокаду и после войны.

В 1944 году Анна Григорьевна Григорьева работала в типографии, печатая листовки и газеты. Несмотря на голод и холод, она продолжала работать, поддерживая дух горожан. В 1944 году она была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Анна Григорьевна Григорьева была одной из тех, кто выстоял в блокаду и после войны.

* (Отрывок из статьи Е. Токаревич, опубликованной в газете «Невское время» 18 января 1996 года, в 53-ю годовщину снятия блокады. Анна Григорьевна была тогда ещё жива, через месяц ей исполнилось 94 года).

Владимир Николаевич Романенко

Семейные предания

Оригинал-макет подготовлен издательством «Норма»

Технический редактор — Н.М. Фофанова

Художник — Ю.Н. Куршева

Компьютерная верстка — Н. М. Барзукова

Корректор — А.О. Брезман

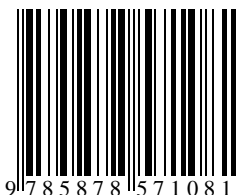
ЛР № 063113 от 15.12.98.

Сдано в набор 10.10. 2005 г. Подписано в печать 10.01.2006 г.

Формат 60Ч84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Гарнитура NewtonС. Усл. п. л. 14,3. Тираж 150 экз. Заказ №

ISBN 5-87857-108-0



Издательство «Норма»

192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, 37

☒ 199406, Санкт-Петербург, а/я 182

E-mail: nor@peterlink.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии ЦСИ

Санкт-Петербург ул. Циолковского, д. 11.